



НЕВА 12

2017

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Саша НЕМИРОВСКИЙ

Стихи • 3

Михаил САВЕЛИЧЕВ

Республика Земшара. *Альтернативно-историческое повествование в отмеренных сроках* • 10

Григорий БЕНЕВИЧ

Стихи • 41

Станислав ШУЛЯК

Европа, черт побери! Мансарда. *Рассказы* • 44

Валерий СКОБЛО

Стихи • 58

Ирина ГОРЮНОВА

Сказки для Фонарщика, Стрелочника
и других взрослых детей • 62

Геннадий МОРОЗОВ

Стихи • 91

Анастасия СКОРИКОВА

Стихи • 95

ПУБЛИЦИСТИКА

Анастасия ГАЧЕВА

Художник, спасающий мир • 98

Игорь ЯКОВЕНКО

Клятва Ганнибала • 122

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Ольга ГЛАЗУНОВА

«Нобелевская лекция» Иосифа Бродского:
монолог или скрытая полемика? • 139

Николай НАБОКОВ

- Главы из книги «Старые друзья и новая музыка».
Перевод с английского и примечания М. А. Ямщикова.
Предисловие и публикация Е. Б. Белодубровского • 148

Александр БАЛОД

- Литературные проторобинзоны • 170

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

- Портрет поэта.** *Альберт Измайлов.* «Прохожий жизни моей...». **Рецензии.** *Геннадий Кацов.* Самый страшный «ночной кошмар» Иосифа Бродского. *Алла Большакова.* Он умер с Библией в руках. *Ирина Чайковская.* Фальшивые ноты — вне нас и внутри. *Игорь Панин.* Родом из Серебряного века. **Книжный остров.** *Публикация Елены Зиновьевой* • 194

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

- Палестинские обители и Россия.
Часть 2 • 224

- Содержание журнала «Нева» за 2017 год • 251

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Компьютерный набор **Л. Жуковой**
Верстка **Д. Зенченко**

Саша НЕМИРОВСКИЙ

ШВЕЙЦАРСКАЯ ОТКРЫТКА

Циферблаты озер
Как текущее время Дали.
Секундная стрелка соборного шпиля под вечностью гор.
Корабли.
Их снастей перебор
У причала
Переходит в тумана простор,
Разрезаемый замком, где плечами
Две башни
И над левой вдали —
«Маттерхорн»
Сквозь альпийские кряжи.

Разговор
На немецком прохожих спотыкается в русский.
Туристы с востока, на швейцарском курорте.
Как будто опять девятнадцатый век.
Только блузка
По моде. Открытые ножки, и на отвороте
Сапожек чуть стёрто.
Да солнце замедлило бег.

Водопады из рек
Сходят в озеро возле отеля.
Здание в стиле прошедшей эпохи.
Бухта. Плёт.
Ледники набегают волной по прозрачной воде.
Силуэт Вильяма Теля —
Памятник у новостройки.
Белый лебедь скользит, и балетную пачкою хвост.
Па-де-де.

И конечно, симфония просится
В нотную запись. Подыграть этой птице-царевне.
Мелодию снега и тему крыла.
В вышине гнутся горы колосьями.
Дует время сквозь щербатые гребни.
А про всё остальное история соврала.

Саша Немировский (Александр Немировский) — поэт, писатель, хай-тех-антрепренер, гражданин мира. Родился в 1963 году в Москве. Считается основоположником поэтического стиля «джаз-поэзия». Автор пяти книг стихов и прозы и многочисленных публикаций в изданиях США, Германии, Финляндии, России. Член Санкт-Петербургского Союза писателей (иностранное отделение).

БОТАНИКА

Калифорния – как ботанический сад.
Весь двор похож на отряд,
Набранный из разных широт.
Тут растёт алыча из вяза, а в рот
Попадает яблоко. Птицы клюют черешню.
Наоборот,
В январе плодоносит вдруг апельсин.
И конечно,
Из известных лесин –
Красное дерево, эвкалипты, сосны.
Но нет осин,
Лиственниц и остального, что не выносит солнца.

Но я прижился. Одеревенение
Происходит почти органически. Ему сопутствуют
Редкие приступы вдохновения,
Но больше помогает его отсутствие.

Только деревья чуть примиряют со временем.
Для секвойи тысяча лет – обычное дело.
Многие много старше.
А мы, кратко живущие, как умеем,
Набиваем свежую память строчками на бумагу.
Иногда раскрашиваем
И так потом оставляем.
Внаглую.
Потому что не можем жить в рамках предела.

Да здесь прорастает все. Лишь бы была вода.
Так человеку удастся какая-нибудь карьера,
Едва найдется работодатель труда,
Тогда все равно, что делать –
долбить ли стену карьера
Или мелом
Писать на доске, повернувшись спиной к классу.
Года
Собираются в плотную массу
И сливаются в конце концов просто в один.

Существуя, плодонося
В этой древесной толпе,
Медленно распускаясь цветком седин,
Иногда хочется мерзнуть в краю осин
И бежать по тайге, ничего дождям не простяя.

ОТРАЖЕНИЕ ПИСЬМА

В эпоху электронной почты
Странно чернильной ручкой прожимать бумагу.
Мысли путаются за почерк.
Слово не заменишь без того, чтобы не зачеркнуть.
Я приветствую тебя из теплой калифорнийской ночи,
Прекратив работу, отвинтив заветную флягу
Скотча
И разбирая прошлое — что там к чему.

Отказы памяти еще не переходят в бессилье тела,
Но время – это количество изменений,
И их не счесть.
Смутно представляя черты лица,
Я чётко помню, ты часто ела
На завтрак яйца,
Почему-то разбивая их с тупого конца.
Я же, когда приходилось, заходил с острого.
Предпочитая рубить ситуацию,
Нежели ее решать.
Потом мы мирились. То есть просто
Я уступал, чтобы снова начать дышать.

Мы громыхали гитарой, запивая звук джином с тоником.
В томике
Любимых стихов залапывали страницы,
Цитируя без повода или предлога,
Когда всё остальное вызывало зевоту.
А теперь разве что стальная рыба «боинга»
Прошумит над крышей, а так в основном птицы,
Берущие высокую чистую ноту
По утрам, пока еще не случилось ничего плохого.

Нас давно разнесло на диаметр шарика.
Шайка
Распалась. Ты выбрала терпеть ревматизм севера.
Я же предпочёл цвета юга, жару и зелень.
Мы остались в слайдах на стареньком
Проекторе в полинявших красках, со сбитым фокусом.

В канители
Лет операционную систему сервера,
Общую для двоих найти, – как остановить движение -
Невозможно. Мы были слишком близки.
Ты обнимаешь незнакомых друзей,
Я, для поднятия тонуса,
Читаю, хожу в музей
И употребляю виски.
Но забывается лишь таблица умножения.

Мне проще писать, чем бояться разочарования встречи.
Непроверенный номер в моем мобильнике останется не нажатым.
Время глушит и притупляет. Ничуть не лечит.
А жаль,
Легче бы не испытывать ненависть и обожание.

СЛЕДЫ

Я научусь читать слова святой земли —
Вот дерево, проросшее сквозь камень.
Котенок, копошащийся в пыли,
Над ним, в велосипедной раме,
Перебирает смуглыми ногами
На бизнес наостренный бедуин.
Так, что рука моя спешит в кармане
Потрогать кошелек.
Иерусалим
Шумит вокруг и равно безразличен
К прохожему или к пророку.
Вниз глядя, с высоты веков — они похожи,
Но кто же
Сумеет посмотреть на это сбоку?

Так неприлично,
Маскируюсь под чужую душу,
Я, прикрываясь то кипой, то шляпой,
Шагаю за молящимся и трушу,
Что не смогу, не подчинюсь порогу,
Перешагну. Что клапан
Времени, впускающий туда,
Уже не выпустит обратно,
Что как бы ни хотелось на попятный,
Уже не смочь.
Людская человечества руда
Так переходит в дух, в молитву и в отвалы прочь.
Так в ней встречаются слова — святые пятна.

В ТЕНИ КАМНЕЙ

В памяти горит свет.
Закат, отражённый от белого камня.
Холмы. Их линия медленно сходит на нет
У горизонта. Город, натянутый на подрамник
Времени. История, резонирующая прямо в кровь.
Да, я уже бывал здесь и господином, и смердом.
Я — частица этих склонённых голов,
Что под открытым небом

Строят берега добра
Размером и ритмом
Своей молитвы.
Паломники. Кошки. Детвора.
Пустынных улиц стоптанные плиты.

Я снова здесь, как раньше, и не так.
Хозяин, заскочивший в гости. Просто
Придавлен памятью. В ней старый лапсердак
Никак
Не подгоняется по росту.
Я к плёсу
Площади у Западной стены
Вдруг выброшен без всякого нажима.
Я — нерождённый сын моей страны —
Иерусалима.

Теперь ведом невидимым лучом
Сквозь трещины за каменную кладку.
Туда, где был и не был я ещё,
К началу, что в сухом остатке,
Не изменилось.
Можно, возвратясь,
Найти свой камень, чтобы, прислонясь,
Почувствовать себя среди народа,
Когда сквозь арку незаложенных ворот
Взгляд видит чётко сущность небосвода,
Как связь времён, а не наоборот.

Как блоки стен надеты на линейку —
Лежат века. Но их не охвачу.
Я город пробегаю по лучу.
За башни, переулком, по ступенькам.
Я здесь молился, жил.
Теперь молчу.

THE 49-er (СОРОКАДЕВЯТНИК)

Золотоискательский городок,
Застроенный офисами хай-тека.
Отрог
Горы. Паркинг.
Электромобиль мордой у перевязи —
Кормится через провод.
Арка.
Старенькая библиотека,
Подающая повод
Вспомнить о книгах как способе связи
С первобытной культурой ушедшего века.

Старатель, не ведающий одиночества,
Ковыряет айфон –
Но переходит к компьютеру,
Когда становится нестерпимо.
На экране, как фон,
Бежит незакрытый чат.
Равнодушный к почерку,
Он стучит пальцами.
Слушать муторно,
Как строчат.

Пилигримы
Из туристов-скитальцев
Чирикают фотки
Викторианских зданий
На фоне вывесок мировых фирм.
Залив. Порт. Высотки.
Боевик-фильм.

Герой. Конечно же, герой-одиночка.
Благородный, непобедимый.
Где-то это уже было.
Сюжет, убедительно
Проходящий через точку
Невозврата
Из азарта
Погони за золотой жилой.

ДОН ХУАН

Я смотрю на девчонок взглядом патриарха.
Вот эта, пожалуй, подойдет моему внуку.
Бёдра, фигура, одежда – чуть-чуть неряха.
Впрочем, это поправимо, я давно набил себе в этом руку.
Мой зайчонок.
Он тоже не ахти какое сокровище –
В таких передрыгах, что лучше бы и не попадать.
А девчонка хороша. Стоящая.
Так и хочется сбросить лет двадцать пять.
Я ведь «еще да».
«Папик» вполне на выданье.
Было же приключение год назад в Ницце?
Тоже точеные ножки. Талия.
Приторно.
Так и не удалось измениться.
Лица.
А сколько их было?
Цифры – утешение для слабого тела.

А, занервничала. Чувствует мой взгляд.
Обернулась. Нет, не видит. Еще бы!
С моим-то рылом
Куда тут в калашный ряд –
Скорей, в чащобу.
Кажись, стоит без дела.
Ан нет, телефон зажат.
Кавалера
Ждёт? Или, может, подруг?
Каблучки высокие, туфельки чуть дрожат,
Как рифмуются.
А вот и он, переходит улицу.
Узнаю походку – ну точно, мой внук!

Михаил САВЕЛИЧЕВ

РЕСПУБЛИКА ЗЕМШАРА

Альтернативно-историческое повествование в отмеренных сроках

Будущие события уже бросают тень на настоящее...

А. Богданов. Красная звезда

УЗЕЛ I. КАНУНЫ

Малиновский. Императорский институт крови

25 октября 1929 года, 00:00

Алексею Николаевичу казалось, что ассистент профессора Малиновского носит искусно сделанную маску, ибо лицо его, хоть и не лишённое приятности, оставалось невозмутимым и неподвижным на всем протяжении сеанса трансфузии. Каждый раз Алексей Николаевич хотел сказать об этом Александру Александровичу, но почему-то смущался под взглядом темных глаз ассистента, которого профессор неизменно называл инженером Мэнни. Без имени, без отчества.

— Церковь? — тем временем переспросил Александр Александрович, продолжая возиться со сложной системой стеклянных и металлических трубок. — Я знаю, она неодобрительно относится к тому, чем занимается институт. И неоднократно имел беседы кое с кем из иерархов, когда создавал донорские пункты в Петрограде и по всем крупным губернским городам... Но я — материалист и прагматик, для меня есть только один критерий: работает — не работает. Вы не будете возражать, что процедуры благотворно сказываются на вашем здоровье?

Манера Малиновского обращаться к нему, избегая положенных этикетом оборотов «Ваше Величество» или «Государь», забавляла Алексея Николаевича. Что поделать — старая закалка человека, посвятившего изрядную часть жизни борьбе с самодержавием.

— Нет, не буду, профессор, — Алексей Николаевич пошевелился в неудобном, жестком кресле, к которому был пристегнут широкими ремнями, чтобы лежащие на подлокотниках руки сохраняли неподвижность. К сгибам локтей тянулись гибкие трубки, а над креслом нависал механизм, словно сошедший с супрематических полотен Кандинского. — И даже обнаруживаю кое-какие побочные эффекты...

Малиновский выпрямился и внимательно посмотрел на Алексея Николаевича.

Михаил Валерьевич Савеличев родился в 1969 году в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальностям «астрономия» и «экономика». Кандидат экономических наук. Пишет с 1995 года. Автор повестей «Возлюби дальнего», «Бродячая труппа Гран-Гиньоль», романов «Иероглиф», «Черный ферзь» и «Красный космос». Удостоен премии «Созвездие Малой Медведицы» за роман «Крик родившихся завтра» (М.: Снежный Ком). Также роман вошел в финал премии «Новые горизонты».

— Что вы имеете в виду? — В голосе прорезалась озабоченность. Впрочем, ассистент все так же с невозмутимой маской продолжал регулировать аппарат переливания крови.

— Ничего серьезного, — попытался качнуть головой Алексей Николаевич, забыв на мгновение, что и она фиксирована металлическим обручем с мягкой подкладкой. — Но мне неотступно кажется, будто время замедляется. Словно в сутках прибавилось несколько часов, а в каждом часе — десяток минут. И раз за разом прибавление заметнее и заметнее...

— О, ничего удивительного, — с видимым облегчением вздохнул Александр Александрович. — Эффект общего оздоровления вашего организма. За годы страдания от гемофилии вы не могли знать — каково это быть полным здоровья и сил.

— Да, наверное, — Алексей Николаевич прикрыл глаза, припоминая времена, когда страшный наследственный недуг изнурял тело. Он был всего лишь ребенком, но словно тяжкий груз возлежал на его плечах, и никакая медицина не могла облегчить страданий... Разве что рукоположения старца... Когда ладони, жилистые, крестьянские, опускались на голову наследника и Распутин начинал что-то пришептывать, будто молясь, Алеша действительно ощущал некоторое облегчение... И Мама ужасно радовалась, замечая на щеках ее Бэби бледные пятна румянца... Но старца убили... — А еще я почти перестал спать, — добавил Алексей Николаевич, — отвлекая себя от печальных воспоминаний.

— Бессонница?

— Нет, не бессонница... Не испытываю потребности... Это даже к лучшему, — Алексей Николаевич улыбнулся. — Особенно сейчас, когда наши отношения с Европой осложняются, правительство требует все новых ассигнований, а Дума... — Алексей Николаевич с некоторым трудом заставил себя замолчать, в очередной раз замечая, как во время регулярных встреч с Малиновским позволяет себе излишнюю... откровенность, что ли? Или это тоже побочный эффект трансфузии? Не случайно говорят: с кровью человеку передаются тонкие вибрации донора, устанавливается своего рода психическая связь.

Профессор уловил запинку Государя, но истолковал по-своему:

— Я не так далек от подобных событий, Алексей Николаевич, и продолжаю интересоваться всем, что происходит в политике. Идеал ученого, запертого в башне из слоновой кости, всего лишь... — тут и сам Малиновский помедлил, и Алексей Николаевич продолжил его мысль:

— Буржуазный идеал? Маркс писал иное? Право, Александр Александрович, с момента образования Европейского Союза Советских Республик марксизм стал не только их официальным учением, но обрел респектабельность во всем мире. Я читал Маркса и его сподвижника Энгельса. А даже кое-что из того, что публикует господин Ленин... Вы ведь его знаете? Он и его партия социал-демократов называют себя этим странным словом... — Алексей Николаевич сделал вид, будто запомнил, хотя перед приездом в институт прочитал подробную аналитическую разработку, положенную ему на стол начальником ГРУ Генштаба.

— Большевики, — сказал Александр Александрович и, помолчав, добавил: — Я тоже входил в ее Центральный комитет. Но мы разошлись во взглядах с Владимиром Ильичом, и я счел занятия наукой кратчайшим и наименее мучительным средством преобразования России.

Инженер Мэнни тем временем отошел к прозрачным баллонам, в которых багровела субстанция специально приготовленной крови, и Государь еще раз поймал себя на зябком чувстве: от движений ассистента профессора веет нездешностью, словно тело не принадлежало ему, являлось костюмом, к тому же пошитым не по

меркам его истинной фигуры. Ощущение усугубляли непропорционально крупная голова и чересчур узкие плечи Мэнни.

Рука инженера опустилась на баллон, и Алексей Николаевич готов был поклясться: багровая субстанция шевельнулась, а в ее толще вспыхнули и погасли крохотные огоньки.

Тем временем Александр Александрович продолжал:

— Пожалуй, я даже благодарен бывшим товарищам по партии за то расхождение во взглядах, которое вернуло меня к научным изысканиям. Наука — вот в чем остро нуждается Россия. Европейские республики проповедуют установление диктатуры пролетариата в мировом масштабе, а я бы выдвинул контрлозунг: «Ученые всех стран, объединяйтесь!» Хотя не факт, что лучшие умы Германии, Франции выберут местом своей работы Россию. Мы слишком отстаем в промышленном развитии от других держав и не можем обеспечить лучшие условия для внедрения научных достижений. Но не стану повторять: на пути прямого заимствования научных и промышленных достижений Европы мы уподобимся быстроногому Ахиллу, который никогда не догонит черепаху. Тот, кто заимствует, обречен на отставание. Необходим другой путь...

— Новая экономическая политика премьер-министра Бухарина зарекомендовала себя как весьма эффективная, особенно в деле улучшения условий жизни крестьянства и рабочих, — несколько суше, чем требовалось, ответил Алексей Николаевич. — За годы после Октябрьской революции удалось многое...

Да, удалось многое. Очистить власть, умерить аппетиты и притязания высших слоев общества, чьи непомерные требования, алчность и жадность привели к катастрофе Февраля семнадцатого, и не случись Октября, кто знает, что стало бы с Россией? В результате ситуация в народном хозяйстве ничем не напоминает послевоенную разруху. Экономическая политика правительства, или, как именует ее премьер Николай Иванович Бухарин, — нэп, дала крестьянству новое дыхание, продолжив те реформы, начало которым положил Столыпин. Да и жизнь рабочих не сравнить с той, которую они имели до Славной революции. Хотя что скрывать? Не без влияния происходящего в ЕССР с его так называемой «диктатурой пролетариата». Не будь столь отрезвляющего примера, разве согласились бы заводчики и фабриканты на восьмичасовой рабочий день, строительство жилья и больниц для фабричных? Но профессор Малиновский прав, прав. Россия отставала от Европы в промышленном развитии, и подобное отставание становилось нетерпимым.

— Вот и все на сегодня, — сказал Александр Александрович, извлекая иглы из сгибов локтей Алексея Николаевича, протирая ваткой вживленные в кожу крошечные серебряные кольца, через которые и совершались процедуры трансфузии.

Государь, освободившись с помощью Мэнни от ремней и головного фиксатора, сделал несколько круговых движений, разминая шею, и посмотрел на часы, в очередной раз поразившись сколь же малое время прошло с тех пор, как он приехал в институт. Впрочем, это даже хорошо.

День 25 октября года 1929-го, от Славной Октябрьской революции двенадцатого, обещал стать весьма насыщенным.

Ленин. Шаг назад, два шага вперед

25 октября 1929 года, 01:00

И погода та самая. Холодные и сырые ночи. С неба не то снег, не то дождь. С Невы сырость. Пронизывающий ветер. Над Петроградом тяжелый туман. Только

костров, которые тогда жгли у мостов и Смольного, нет. Как и отрядов вдрызг революционных матросов и красногвардейцев. Хотя если присмотреться, кажется, будто вновь видишь в акватории грозные силуэты крейсеров, бросивших там якоря в результате многоходовой операции спецов Генерального штаба под прикрытием якобы самостоятельности главы Балтревсовета матроса Дыбенко...

И сон тот же. Будто все случилось, и случилось именно так, как планировалось. Вот он в Смольном, перед залом, переполненным членами Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Его фигура — воплощение силы и уверенности. Наклонившись вперед, расставив шире локти, одна рука в кармане брюк, стиснута в кулак, другая опирается на трибуну:

— Товарищи, революция, о необходимости которой говорили большевики, свершилась! Мы приступаем к социалистическому строительству!

А потом — назначение членов нового правительства. Декрет о земле. Декрет о мире.

Но это лишь сон: скоротечный, мучительный, возвещающий наступление той самой даты — 25 октября очередного года. Какого? Тысяча девятьсот двадцать девятого, от Славной Октябрьской революции двенадцатый. Должен был случиться переворот, а случилась революция, поворот на сто восемьдесят градусов, от февральской катастрофы политических болтунов и импотентов к реставрации монархии в ущербно конституционном изводе.

Нет, больше не уснуть... Спи, спи, Наденька, я поработаю. Хлеб и горчица есть? Очень хорошо. Отрежем ломоть, намажем горчицы, а сверху соли — прочищает мозги не хуже кофе! Хотя ясность мысли и так необычайная, спасибо заклтому товарищу Малиновскому. Если бы после выстрела безумной Каплан его не повезли в Институт крови, ибо он тогда, на грани сознания, вспомнил о том, как переливанием Александр спас Машу, сестру, от смертельной болезни... Не стоять ему сейчас над своим столом, не смотреть на табличку Гастева с правилами НОТ, что висела постоянным напоминанием. Да и этого свежееотпечатанного в типографии Сытина тома не было бы. «Развитие капитализма в России. Том 2. Критика новой экономической политики».

А ведь кто мог подумать тогда, в далеком семнадцатом, как все обернется? Бухарин! Как он его потом назвал? Когда находился в Горках после трансфузии и думал, что все кончено, потому что без него передерутся, перессорятся, раздерут партию на фракции и уклоны. И пришлось выдать из себя дурацкое письмо к съезду, где охарактеризовать Бухарчика любимцем партии, ни черта не понимающим в марксизме. И тем оттолкнул его к меньшевикам, в Думу, а потом «любимец» в премьеры пролез со своим нэпом.

Но все равно — неплохо, неплохо получилось! Архиважно. Как и программная статья, которую предстоит написать и чье название выведено на листе бумаги. «Шаг назад, два шага вперед». Чертовски, чертовски продуманный план! Он чувствует — время! Всей могучей интуицией, которую и не выразишь словами. Как в 1915 году, когда в статье «Две тактики социал-демократии в демократической революции» он писал о необходимости вооруженного восстания и преобразовании войны империалистической в гражданскую. И когда в «Апрельских тезисах» провозглашал курс на социалистическую революцию. Наперекор всем соглашателям, ничего не понимающим в тактике политического маневрирования.

Однако самые тяжелые времена наступили после октября семнадцатого, после Славной революции, в период всевластия Военного комитета. Товарищи по партии, распаленные его же статьями, рвались в бой, лезли на рожон, ввязывались в обреченный Кронштадтский мятеж, не понимая: темп сбит, момент упущен и лучшая тактика — выжидание, и еще раз выжидание.

Да, в октябре 1917-го у них должно было получиться, их поддерживала тайная, но могучая сила высших офицеров Генерального штаба, которым надоели болтуны Временного правительства. И был назначен день, вот этот день, что и сейчас — какова ирония! — отмечен в календарях как красный, неприсутственный, 25 октября, и все в Петрограде знали: большевики возьмут власть, возьмут! И стояли под парами «Аврора» и «Самсон», и все было готово к управлению восстанием. Офицеры Генштаба с вечера 24-го контролировали телефоны, телеграф и вокзалы, да и кто еще мог их контролировать? Не матросню пьяную сажать на телефонную станцию! А что красногвардейцы вообще понимали в спецсвязи?! Потому и необходим был как воздух такой союзник... Но что-то случилось... Что-то пошло не так... Они тогда испугались. Все как один! На попятную. И никто потом толком ничего не мог объяснить. Страхом парализовало. Медвежья болезнь поразила. Даже его... Паралич воли. И монархическая фракция заговорщиков взяла верх, убедив остальных сделать ставку на цесаревича Алексея, реставрировать монархию, ограничив ее властью Военного комитета. И вместо Октябрьского переворота — Славная Октябрьская революция!

И сколько раз с тех, наверное, худших дней в жизни ему бросали в лицо его же слова: «Промедление смерти подобно»? Но он продолжал стоять на своем. Нещадно эксплуатировал свой непререкаемый авторитет, когда надо — лавировал, в одиночку шел против большинства, рискуя потерять все, но выстоял, выстоял! Интригами, которым и Макиавелли позавидует, добился, что спустя долгие двенадцать лет власть готова упасть ему в руки. Им в руки! Тем, кого списали со счетов, держали за маргиналов, шельмовали, чей голос не звучал с трибун Думы ни разу за эти годы!

Его привычка — перед написанием важной статьи ходить по комнате и бормотать под нос основные тезисы. Не разбудить Наденьку... Что, пора? Мысль оформилась? Да, вот ключевая: «Социал-демократия в лице большевиков признает все средства борьбы, лишь бы они соответствовали наличным силам партии и давали возможность добиваться наибольших результатов, достижимых при данных условиях». И ничто так не раздражает, как чистоплюйские замечания о необходимости порядочности и честности в политике! Но подобного писать, конечно же, не следует. Это пусть Малиновский со своими научными соборами носится. Собор! Научный! Надо такое удумать! Собрать ученых в одном месте, обеспечить наилучшие условия и дать полную свободу творчества... Социализм-утопизм, по которому еще Маркс хорошо оттапывался в критике Фурье и иже с ним. А откуда уши торчат? С той странной книжонки — «Красной звезды». Забавное чтение, забавное, сам как ценитель хорошей беллетристики могу признать... но вредное! Архивредное! Неужели только я вижу его замах на ревизию марксизма? Сначала с эмпириомонизмом, затем марсианами и их инженерной утопией. Замахнулся... осмелился на то, что дозволено только ему, потому что он, Ленин, первым понял: Маркс в том виде, в каком излагал дедушка Плеханов, никуда не годился! Ревизия учения необходима, но тонкая, глубокая, скрытая. Кто тогда и сейчас Маркса в подлиннике читал? Малиновский. Малиновский читал. И тоже понял. Понял раньше его. И сразу засучил рукава. А потому требовалось убрать его из партии. Пусть занимается наукой, беллетристикой, но к партии — ни-ни!

Вспоминать смешно, как на прогулке в лесу, сразу после съезда, они сцепились в пылу дискуссии, чуть палками друг друга не отдубасили. Права Наденька, что корит его за излишнюю эмоциональность да «горячкой» называет.

Что?! Всего пять минут прошло?! Не может быть! Нет, правильно... все же в одном Малиновском должен быть благодарен — за спасение после роковых выстрелов

лов. В него действительно другую кровь влили. А с ней — энергию, какой раньше не ощущал. Он-то всегда спал чертовски мало, а теперь достаточно в кресле десятков минут подремать и подняться бодрым и энергичным. Есть, есть в переливании крови потенциал. Если к власти придем... нет, не если! Когда к власти придем, институт особо поддержать надо. Глядишь, Малиновский и бессмертие обеспечит, не то, поповское, с дурацкой райской жизнью, а настоящее, на земле, материальное бессмертие.

Но сейчас — статья! Уже готовая, во всех деталях. Нужно только сесть, аккуратно записать на приготовленных листах, и сегодня же — в печать!

Бухарин. Посол Европейского Союза Советских Республик

25 октября 1929 года, 02:00 — 03:00

Больше всего Николай Иванович мечтал выспаться. Или хоть как-то добиться прояснения в голове, отяжелевшей от какой по счету бессонной ночи, для чего, он знал по собственному опыту, всего-то и нужно — подремать минут двадцать здесь, за столом, или на кожаном диване за ширмой. И попросить исполнительного Андрюшу Бурмакова разбудить его. Но нет. Не имелось у него лишних минут. Как только Государю удастся сохранять столь удивительную работоспособность? Иногда кажется, что Алексей Николаевич вообще не спит, ибо любит назначать ночные совещания, а то просто позвонить и поинтересоваться ситуацией в ЕССР, Великобритании, где полыхала Вторая война Красной и Белой розы, уточнить график поставок зерна в Европу в обмен на технику... Да мало ли на что председатель правительства обязан дать немедленный исчерпывающий ответ!

Андрюша осторожно кашлянул, и Николай Иванович открыл глаза. Неужто задремал?! Перед ним дымился начищенный до зеркального блеска кофейник, стояла чашечка китайского фарфора, молочник, сахар, наколотый именно так, как он любит, — мелко.

— Последняя сводка из МИДа, — Андрюша пристроил сбоку кожаную папку с потертыми углами, выбитым золотом двуглавым орлом и витиеватой надписью «Председатель Правительства Российской империи Н. И. Бухарин». — И еще звонил господин посол Бюлов, просил принять безотлагательно, Николай Иванович.

Бухарин невольно посмотрел на свежеподписанный документ — постановление правительства об увеличении квот сельскохозяйственным кооперативам на поставку зерна в Европейский Союз. Осторожно взял чашечку с крепчайшим кофе, глотнул и попросил:

— Андрюша, своими словами, пожалуйста, — у напитка не оказалось ни вкуса, ни бодрости. — Ты ведь прочитал?

— Да, Николай Иванович, и подготовил выжимку... — он полез в свою папку, но председатель рукой махнул: продолжай, мол, своими словами.

Андрюша Бурмаков, самородок из деревни Старые Громыки Могилевской губернии, излагал, как всегда, сжато и толково. А ведь двадцать лет парню!

Ситуация в политических верхах Европейского Союза Советских Республик остается неустойчивой. Два крыла диктатуры пролетариата (диктатуры! пролетариата! — Бухарин до сих пор нервно морщился, слыша вполне официальное самоназвание политического режима Советской Европы) — «ястребы» и «голуби» — продолжали фракционную борьбу. Цель у тех и других одна — мировая революция, но

первые предлагали достичь ее через войну, а вторые — так называемой «мягкой силой», то есть через подрыв внутренних устоев капиталистических и тем паче монархических государств.

— Дальше... дальше... дальше... — Николай Иванович обрывал Андрюшу, когда тот углублялся в детали, важна общая картина.

— Стратегии «голубей» дан полный ход в делах Британской империи, — продолжал Бурмаков. — При внешнем нейтралитете роль Европы в разжигании Второй войны Красной и Белой розы неоспорима. Наш посол в Лондоне докладывает... хм... — Андрюша кашлянул, и Бухарин тут же открыл глаза, механически отхлебнул кофе. Опять что-то чрезвычайное.

— Как там у Литвинова? После провозглашения независимости Индии трудно представить, что английские дела могут пойти еще хуже...

— Ходят устойчивые слухи, будто Эдуард Пятый готов отречься от престола. Формальный повод — вступление в морганатический брак с некоей Уоллес Симпсон, американкой, которую подозревают в связях с европейской разведкой. Если отречение произойдет, да еще на фоне крупных поражений Белой розы в Северной Ирландии...

— Трон займет... — Николай Иванович прищелкнул пальцами.

— Герцог Альберт Георг Йоркский, — сказал Бурмаков. — Но, по информации Литвинова, имеются серьезные сомнения, что он примет трон. Возможно, и его правление окажется весьма скоротечным.

Трон британской монархии шатался. Гражданская война и чехарда в престолонаследии — это ли не кратчайший путь к гибели? Вслед за Британией наступит черед... наступит черед главной силы на континенте, которая может противостоять ЕССР, — Российской империи. И здесь нельзя утверждать, будто трон устойчив, как никогда. Государю двадцать пять лет. Он молод, неопытен, не женат и не имеет престолонаследника. А в отношении России «голуби» и «ястребы» ЕССР будут действовать в полном согласии друг с другом. Неужели война у порога? Боже, что за времена! Могли они, российские социал-демократы образца тысяча девятьсот десятого или даже тринадцатого, вообразить войну с европейскими коммунистами?! Но те поддержали патриотический угар Великой войны, а затем обратили войну империалистическую в войну гражданскую и смели монархов и капиталистов, а заодно и границы, разделявшие Европу, учредив Европейские Соединенные Штаты, позже — Европейский Союз Советских Республик. Оказалось, пассаж Маркса об особой враждебности русских делу коммунизма — отнюдь не случайность, а глубочайшая убежденность европейцев в исконной отсталости азиатской по сути России.

— Тебе не в Московский университет на экономиста поступать, Андрей Андреевич, — вздохнул от тяжелых дум председатель правительства. — Тебе на дипломата учиться надо.

— Николай Иванович, — почти жалобно сказал Андрюша, тоном доказывая, что не оставил мечты стать великим экономом.

— Подпишу тебе рекомендацию в Дипломатический корпус, — сказал Бухарин. — Не следует самородками разбрасываться.

Зазвонил внутренний телефон, Андрюша поднял трубку.

— Посол ЕССР ожидает приема, Николай Иванович.

— Пригласи, — Николай Иванович бросил взгляд на подписанное постановление о квотах. Если не можем воевать, придется умиротворять. Он открыл лежащую по соседству папку с еще одним постановлением, ждущим подписи, — налоговые послабления предприятиям тяжелой и военной промышленности, поколебался, захлопнул и протянул ее Бурмакову. — На доработку. В казне мышь повесится,

а они от налогов просят освободить. Пусть изыщут иные источники. В таком виде не подпишу.

Когда вошел посол, Николай Иванович изобразил на лице искреннее добролюбие, выбежал из-за огромного стола, протянул руку. Хватка клешни товарища Бюлова была железной.

— Спешу вас порадовать, товарищ посол, — торопливо сказал Бухарин, — долгожданное постановление о расширении квот мною подписано. Надеюсь, это снимет последние барьеры на наши поставки хлеба в Европу в обмен на вашу великолепную сельхозтехнику.

— Техника в обмен на продовольствие, — посол тоже расплылся в широкой улыбке, но глаза его — льдинки. — Знаете, Николай Иванович, как у нас шутят? Мол, наш герб — скрещенные серп и молот — символ союза европейского пролетариата и русского крестьянства. Европа не может без России, без ее богатейших аграрных и сырьевых ресурсов... Вы и ваше правительство, товарищ Бухарин, проводите весьма дальновидную политику добрососедства с Европейским Союзом. Вопрос о концессиях...

— Он будет вскоре решен, — заверил посла Бухарин. — Мне удалось убедить Государя, что без европейских инвестиций нам не расширить сырьевой сектор.

— Да-да, а также без наших инженеров, специалистов, техники, — усмехнулся посол. — Но нас особо беспокоит судьба концессии по урановым месторождениям в Средней Азии. Впрочем, — прервал он себя, — я хотел сообщить нечто, что касается непосредственно вас, Николай Иванович. Так сказать, вполне надежные сведения из весьма конфиденциального, но информированного источника.

— О чем вы говорите? — насторожился Бухарин.

— О предстоящей отставке вашего правительства, господин премьер-министр. Как мне удалось узнать, вашим монархом принято твердое решение по данному вопросу.

Бухарин вернулся за стол, опустил в кресло, стиснул кулаки.

— Кто? — только и спросил он.

Но посол его прекрасно понял.

— Две кандидатуры рассматриваются на ваше место, милейший Николай Иванович. Господин Ульянов-Ленин и... — посол помедлил, словно примериваясь, как лучше нанести coup de grâce, — господин Малиновский.

Богданов. Хмурые тучи на границе

25 октября 1929 года, 04:00

Игорь Иванович ежился от холода. От пронизывающего балтийского ветра не спасали ни кожаная куртка, ни кожаные штаны, ни плотно облегающая голову авиаторская шапка. А то ли будет на высоте! Он посмотрел на укрытый маскировочной сетью аппарат. В последние дни активность разведывательных полетов европейских «рам» резко возросла, приходилось принимать меры предосторожности.

Нащупав в кармане портсигар, Игорь Иванович хотел его достать, но в гул близкого моря вплелся посторонний звук. Затем со стороны дороги, точнее, выбитой в песке колеи появился огонек, затем на вертодромное поле выскочила узкая приземистая тень. Сикорский невольно опустил руку на кобуру, хотя прекрасно понимал: если гость миновал внешний периметр охраны, то обладает необходимыми полномочиями. Его окатил слепящий свет фары, Игорь Иванович помахал, и перед ним остановился, урча и взрыкивая, мотоцикл.

— Игорь Иванович, — сказал слезший с огромной машины человек, стянул с головы шлем с очками-консервами, — пришлось ждать, когда будет готово оборудова-

ние, — манера говорить у приехавшего была странной, отметил Сикорский. Ни приветствий, ни извинений за задержку, сразу к делу. Впрочем, его это устраивало, не до церемоний. Тем временем с заднего сиденья мотоцикла слез маленький человек и принялся возиться с громоздким ящиком, кое-как уместившимся в коляске.

— Приветствую, Александр Александрович. Ваш батюшка позвонил два часа назад, это оказалось... весьма неожиданно.

— Но турель вы установили? — спросил Богданов. — Чертеж конструкции я направил факсимильной связью.

Сикорский посмотрел на горбатый силуэт под маскировочной сетью.

— Да, установили.

— Нэтти, — позвал Богданов спутника, который, несмотря на хрупкое телосложение, неожиданно легко вытащил ящик из коляски и поставил на пожухлую траву. — Займитесь установкой аппарата. А я, — он вновь повернулся к Сикорскому, — хочу поговорить с пилотом. Он здесь?

— В медсанчасти, — Игорь Иванович показал в сторону приземистых зданий на краю вертодрома. — Почувствовал себя плохо. Слабость, температура, тошнота... Фельдшер говорит — простудился, наверное...

— Пойдемте, — Богданов решительно зашагал в указанную сторону. Сикорский еле поспевал за ним, поражаясь, насколько же сын походил на отца. С Малиновским они несколько раз встречались во время обустройства аэрограда в Выборге, где теперь сосредоточились российские бюро по проектированию и строительству воздушных аппаратов и где собирались экспериментальные машины, включая скоростные разведчики и вертолеты его, Сикорского, конструкции. Теперь же, разглядывая Александра Александровича со спины, Игорь Иванович не мог отделаться от ощущения, что перед ним не сын, но сам пэр.

Дежурный фельдшер поначалу отказался пустить их, объясняя, что состояние пациента резко ухудшилось, пришлось сделать укол.

— Но он ведь в сознании? — нетерпеливо спросил Богданов, отстранив фельдшера, который пытался загородить им проход, держа в руках белоснежный халат, словно ширму. — Мне на пару вопросов.

Они переступили порог палаты, где пустовали все кровати, кроме одной. Летчик действительно выглядел плохо: почти слившееся по белизне с подушкой лицо, лишь под глазами и вокруг рта — темные тени, крупные капли пота, тяжелое дыхание. Словно ощутив появление визитеров, он открыл глаза и повернул к ним крупную голову. Шевельнулся, будто пытаясь встать.

— Лежите, лежите, — предупреждая вскинул руку Богданов. — Я хочу услышать, что вы наблюдали вчера во время разведывательного полета... Валерий Иванович, да?

— Да, — сказал летчик. — Подробно изложил в рапорте... и еще фотографии... Вспышка... очень яркая вспышка... будто солнце... а затем ударная волна... самолет чуть не сорвался... но я удержал... Хороший самолет... выдюжил...

— Это вы великолепный летчик, Валерий Иванович, — сказал Сикорский.

— А произошло в районе Пенемюнде? — уточнил Богданов.

Игорь Иванович уловил в его тоне нетерпение. Он готов дать голову на отсечение, что гость не имел ни капли сочувствия к заболевшему летчику.

— Так точно, — вместо летчика ответил Сикорский. — Аэроразведка велась с помощью технических средств, была поставлена задача как можно ближе подобраться к испытательному полигону. Точнее, к тому, что мы таковым считали. И, как можно судить, не ошиблись.

— Значит, есть фотографии? — резко повернулся к нему Богданов, рука его сжимала плечо летчика, и, судя по всему, настолько крепко, что тот не выдержал, издал стон. — Почему не доложили про фотографии? Покажите их!

Богданов рассматривал отпечатки даже теперь, когда вертолет набрал высоту и скорость. Сгустились предрассветные сумерки, в которых глаза слепнут сильнее, чем в кромешной тьме. Александр Александрович подсвечивал фонариком. Игорь Иванович крепко держал рычаги и ощущал себя как при первом полете на этажерке. Чтобы максимально облегчить машину, с нее демонтировали почти всю обшивку, что делало вертолет похожим на первые аэропланы. Ветер сифонил из отверстий, сквозь гул винтов слышался рев беснующегося моря.

— Вертолет — исконно русское изобретение! — прокричал Сикорский Богданову, не выдержав переполнявшего его восторга. — Он особенно соответствует русской душе!

Ветер рвал из рук Александра Александровича фотоснимки, которые аналитики РИЦа признали испорченными, ибо на них отпечатался странный дымный гриб. Впрочем, Чкалов утверждал, будто именно такой гриб он наблюдал после вспышки, когда уводил машину на аэродром, но что это такое — никто объяснить не мог.

«Республика Земшара родилась, — непонятно сказал Богданов там, на земле, заполучив испорченные фотографии. Сказал не Сикорскому, а своему спутнику и так же непонятно добавил: — Вот зачем им концессия на урановые рудники». Его спутник Нэтти — что за чудное имя? — безмолвно кивнул и потянул Богданова за собой — то ли показать, как он пристроил громоздкий ящик в хвосте вертолета, то ли сказать нечто наедине.

— Уже близко, — услышал Игорь Иванович голос Богданова. — Через десять минут выйдем в расчетную точку.

Он завозился, выбираясь из сиденья, скрылся позади, устраиваясь на сделанном наспех стульчике перед ящиком с раструбом, делавшим его похожим на неуклюжий киноаппарат.

Сквозь сумрак проявились огни. Сначала немного, затем все больше и больше, постепенно сливаясь в тусклое зарево, в котором горбатились смутные тени. Игорю Ивановичу показалось, что это походило на анилиновый завод, на котором он бывал во время поездки в Германию.

Но он не успел ничего спросить Богданова — к далеким строениям вдруг протянулась идеально прямая огненная нить, и Сикорский не сразу понял, что источник ее — аппарат, закрепленный в хвосте вертолета. Мгновение нить сохраняла неподвижность, словно чего-то дожидаясь, а когда строения озарились мощной вспышкой, заметалась среди клубов огня и дыма, вызывая все новые и новые взрывы, гул которых перекрыл шум моря и ветра.

Игорь Иванович крепче вцепился в рычаги и повел вертолет вдоль береговой линии.

УЗЕЛ II. СМЕНА ВЕХ

Княжна Ольга Николаевна. Заговорщики из Генерального штаба

25 октября 1929 года, 08:00

Накануне приснился сон, о котором я со смехом рассказала брату. В далеком 1910-м баронесса Меендорф повстречала на улице Ялты беспризорного пуделя, выкрашенного в ярко-красный цвет. Будучи председателем комитета охраны животных, она потратила полдня, пытаясь поймать несчастное (по ее мнению) создание, дабы отмыть добела, а заодно выяснить — кто владелец, допустивший столь ужасающее издевательство над псом. Однако Сискела даже не улыбнулся, лишь странно

сказал, что красный пудель до сих пор бегаёт по России. (И, кажется, не обратил внимания на прозвище — анаграмму от Алексис, которым я его назвала.)

При высочайшем дворе если что заводилось, так то и оставалось со времен Екатерины Великой до нашего времени. А именно подъем великих княжен не ранее восьми часов утра. Даже теперь, когда Алексей работает ночи напролет, я не смогла уговорить прислугу будить меня хотя бы на час раньше, ибо сама не нахожу для этого волевых сил, увы. Встав, я направляюсь к стоящему на столике аппарату по забору крови и укладываю руку в приспособление. Никто не помогает, я сама справляюсь, хотя и не понимаю — что внутри него происходит. Нет ощущения укола, словно поцелуй в сгиб локтя. И колба наполняется кровью. То, что я это делаю, отнюдь не одобрение опытов господина Малиновского. Хотя отдаю отчет — в свое время болезнь Алексея оказала почти губительное воздействие на империю. Будто гемофилия охватила всю страну и привела к страшному 1917-му.

Нет, мой утренний ритуал — знак благодарности, своего рода ежедневная дань, которую я способна и обязана принести, дабы научные опыты Александра Александровича продолжались. И по поводу стационарных и передвижных станций забора крови у желающих, что столь распространились не только в столице, но, кажется, и по всей стране, я ничего не говорю брату, хотя порой гложет жуткая мысль: «А не назовет ли кто из-за этого Алексея „Кровавым“, как пристало столь жуткое прозвище к нашему бедному Папа?» Да и отец Федор все чаще и чаще в беседах и наставлениях поднимает вопрос о донорстве, намекая на обеспокоенность церкви столь странными научными изысканиями.

Впрочем, я ощущаю — причина их страха глубже — и в какой-то мере разделяю его, опасаясь превращения господина Малиновского во второго Распутина, чьих способностей облегчать страдания Алексея нельзя было отрицать, отчего Мама столь к нему благоволила. И не воспользуется ли господин Малиновский своими научными методами по улучшению состояния здоровья Государя, дабы оказывать на Сисскела влияние, какое оказывал «наш чудесный друг», став причиной трагической цепи событий, чуть не уничтоживших династию? Когда я напрямую поинтересовалась у М. Т. о Малиновском, он то ли в шутку, то ли всерьез заметил: о господине Малиновском ходит столько слухов, вплоть до того, будто он летал на Марс, где нашел древнюю цивилизацию, наподобие той, что описал граф Алексей Толстой в романе «Аэлита» (роман я потом нашла и прочитала), а также будто Александра Александровича зачастую видят одновременно в нескольких местах, разделенных между собой изрядным расстоянием.

Впрочем, по странной прихоти Александр Александрович оказал воздействие и на мою собственную судьбу, уговорив взять патронаж над столь пестуемым им движением «Пролеткульт», но опять следует признать: в нем трудно заподозрить иное, кроме стремления ликвидировать массовую безграмотность в стране и дать шанс каждому рабочему испытать радость творчества. Вот и сейчас стол в кабинете завален журналами, брошюрами, книгами Пролеткульта, с которыми следует разобраться, однако камердинер сообщает: Алексей Николаевич ждет меня.

Как всегда, он работает в кабинете Папа — небольшого размера, в одно окно. Покойная меблировка с тех времен: кресла темной кожи, диван, письменный стол с идеально выровненными ящичками, другой стол загроможден книгами, которые Сисскела штудирует, книжный шкаф. Застаю его в любимой позе отца — стоя, тогда как гость свободно расположился в кресле. Оба курят, ибо отец тоже начинал с этого: встав из-за стола, предлагая располагаться удобнее и курить, сам закуривая папиросу. Сисскела тонок и хрупок, как статуэтка Фаберже. Михаил Николаевич массивнее. Увидев меня, он вскакивает, склоняет голову: «С позволения Вашего

Императорского Высочества...», хотя прекрасно знает: я не терплю подобного обращения.

«Вы что со мной так разговариваете? С ума сошли?»

«И давно, Ольга Николаевна».

Государь наблюдает за нами с тщетно скрываемой улыбкой. Несомненно, он в курсе. Тридцатишестилетний генерал Генштаба, самый, пожалуй, блестящий и одаренный, М. Т. отнюдь не выглядит морганатической кандидатурой, особенно в наши либеральные времена. Но на подобные темы я с Сискелой не говорю. Пока.

Когда любезности позади, генерал Тухачевский продолжает ровно с того места, на котором прервался:

«Либеральная власть в России — мертвая власть. Или власть, устремленная к смерти. Николай Иванович дьявольски неустойчив в политике. Он — не лидер, не самостоятельный игрок. Ему обязательно нужно к кому-то прилипнуть».

И только спустя некоторое время я понимаю, что столь непозволительно Михаил Николаевич говорит о премьер-министре. Однако Алексей не выказывает ни возмущения, ни раздражения. Словно следуя той полудетской клятве, которую неоднократно повторял, будучи мальчиком: «Если я стану царем, никто не посмеет солгать мне. Я наведу порядок в этой стране». Генерала Тухачевского невозможно обвинить даже в малейшей лжи.

«Политика умиротворения сегодня приказала долго жить».

«Что вы имеете в виду?» Мне позволительно задать вопрос, тем более я приглашена Государем.

«Европейским Союзом успешно испытано взрывное устройство нового типа. Очень мощное взрывное устройство, построенное на совершенно иных физических принципах. По тем данным, которые удалось получить разведке, один такой заряд способен уничтожить крупный город».

«Это ужасно! Вы уверены, Михаил Николаевич?» — невольно всплескиваю руками.

«Увы, Ольга Николаевна, наши разведывательные данные абсолютно точны. Более того, новая война, которую так желают разжечь европейские социалисты, получила кодовое название „мировая атомная революция“. Как только у ЕССР будет достаточно таких бомб, они развяжут всемирную бойню за освобождение пролетариата. Мнимое освобождение, конечно же».

Сигнал окончания аудиенции Алексей тоже воспринял от отца — Государь подходит к окну и становится спиной к посетителю. Мы с Михаилом Николаевичем поднимаемся, но когда я готова выйти за ним следом, Алексей просит остаться, а затем еще долго ходит по комнате, вымеряя широким шагом. А я в который раз поражаюсь — насколько же он внешне становится все больше похожим на Папа. Его губы беззвучно шевелятся, но охваченная воспоминаниями, я готова вложить в них то, что услышала в последний раз от Папа, когда он прощался с нами, прежде чем сесть в бывший императорский поезд, с элегантных темно-синих вагонов которого сбили императорские вензеля: «Господи, спаси и умири Россию!» Ах, если бы он не отправился в паломничество в Ипатьевский монастырь! Если бы он был Государем, а не просто гражданином Романовым, которому не полагался поезд-двойник, чтобы обеспечить безопасность проезда в Кострому по стране, где не угасли очаги смуты! Тогда бы тело его не отпели в церкви Троицы Ипатьевского монастыря перед иконой Федоровской Богородицы, чудодействия которой не хватило уберечь жизнь Папа...

Алексей говорит, а я молча слушаю, ибо он не терпит когда его прерывают.

Военная комиссия требует исполнения пункта секретного Меморандума от 1917-го, подписанного сначала регентом, а затем и Алексеем при вступлении на пре-

стол. Только теперь они требуют от государя вернуть себе, а следовательно — им, и даже больше — им, всю полноту власти, распустив Думу и отправив в отставку правительство. Предстоящая война, в неизбежности которой комиссия не сомневается, требует сосредоточения всех сил государства. И самодержавие для этого подходит лучше всего. Более того, вслед за отзывом Манифеста о даровании конституционных свобод они настаивают на передаче права сформировать правительство большевикам, назначив премьером Ленина-Ульянова, так как только у большевиков имеется реальная программа перевода экономики на мобилизационные рельсы. Кроме того, марксистские убеждения Ленина должны несколько усыпить политические круги ЕССР, подав ложный сигнал о том, будто мы всерьез готовы следовать социалистической доктрине. Как они выразились: «Неважно какого цвета кошка, главное — чтобы она ловила мышей».

И когда он умолкает, я позволяю себе два вопроса, на которые получаю ответы. «Они» — Генеральный штаб и Михаил Николаевич в частности. Нет, отказался, сославшись на то, что имеет иную кандидатуру на должность премьера, раз Военную комиссию перестал устраивать Николай Иванович.

Ах, будь жив Папа, он бы обязательно подсказал... И я уверена — Сискела думает о том же. Вот только его взгляд... Словно сквозь знакомые и теплые голубые глаза проглядывает некто чужой и холодный.

Яхта «Штандарт». Бунт тектотона

25 октября 1929 года, 11:00

Запуск первого российского боевого тектотона был приурочен к славной дате восшествия на престол Его Императорского Величества Алексея Николаевича. Строго говоря, это не были ходовые испытания, тем паче проверка боевой мощи «сухопутного броненосца», как называли эти машины, чьи предки — танки — родились на полях Великой войны. Первоначальным планом торжеств предусматривался спуск тектотона со стапелей Судостроительного завода, где машина должна была отсалютовать Государю и присутствующим гостям холостым залпом из грудных и плечевых орудий, а затем своим ходом отправиться из Петрограда на испытательный полигон по предварительно перекрытым проспектам и улицам, тем самым воочию демонстрируя жителям и гостям столицы мощь русского оружия.

Но подобному сценарию протокольной канцелярии дворца воспротивилась Служба безопасности, а потому после долгих согласований было решено доставить тектотона к месту испытаний — на полигон в районе финских шхер — на палубе баржи и в сопровождении крейсера «Авроры», героя победы в Цусимском сражении, и новейшего крейсера «Самсон», красоты и гордости Балтфлота.

К тому времени, когда тектотона кранами сгружали на многоосную транспортную платформу, чтобы перевезти на место активации, погода испортилась окончательно. Низкие тучи скрыли солнце, по стальному морю прокатывались высокие валы, тучи соленых брызг, срываемых с их верхушек, вносили свою лепту в мерзкую смесь дождя и снега.

Даже сейчас, после двух десятилетий со времени спуска на воду, яхта «Штандарт» оставалась красивейшим судном российского флота. Глубокая модернизация улучшила ее ходовые качества, а по предложению Малиновского и с горячего согласия начальника Службы безопасности Держинского к предстоящим испытаниям тектотона яхту оснастили дополнительными средствами защиты. Теперь на носу

и корме «Штандарта» горбились странные аппараты, упрятанные под промасленный брезент. Береженого Бог бережет.

Таинственные аппараты привлекли особо пристальное внимание бывшего Его Императорского Величества Вильгельма, который, поддерживаемый под локоток молодой женой Герминой Рейсс-Грейцской, переходил от одного устройства к другому, стучал по брезенту тросточкой и по-немецки пытался выведать у матросов и офицеров их назначение. Тем временем среди экипажа распространился слух, будто испытываемый тектотон, получивший имя «Тилли-Вилли», назван так в честь «старого немецкого дяди», как, подражая Государю, все на яхте за глаза именовали слегка выжившего из ума Вильгельма.

Выстрел носового орудия «Авроры» возвестил начало испытаний, и находившиеся в рубке яхты прильнули к окулярам биноклей, разглядывая сквозь завесу дождя и снега происходившее на полигоне.

Поначалу ничего, кроме плоских скал, поросших деревьями, не наблюдалось. Напряжение достигло апогея, но вот, словно по мановению волшебной палочки, над лесом возникла огромная человекоподобная тень, и вздох облегчения вырвался у присутствующих. Кто-то даже захлопал, но суеверные члены госприемки аплодисментов не поддержали — не говори «гоп». Алексей Николаевич также ничем не продемонстрировал своих чувств, всматриваясь в первого отечественного тектотона, который после ходовых испытаний заступит на охрану западных рубежей империи и качественно повысит боевую мощь российской армии.

Тем временем дверь в рубку распахнулась, и внутрь шагнул разгоряченный Вильгельм, в рукав которому вцепилась несчастная Гермина, безуспешно пытаясь умерить восторг ветхого супруга. От возбуждения старый немецкий дядя перешел на ломаный русский:

— Это есть великий победа! Есть победа немецкий оружия! Немецкий дух доказал свое, я-я, превосходство! Тилли-Вилли! О, это есть шутка в мою честь, господа! Я есть буду хороший броненосец!

Алексей Николаевич понял, что бывший кайзер вообразил, будто присутствует на испытаниях немецкого тектотона, и распорядился устроить старика поудобнее и поднести ему кружку горячего грога. Сам же вышел из рубки и энергичной походкой заправского моряка, которому и качка нипочем, направился к собравшимся на носу яхты офицерам, среди которых находился и Малиновский со своим неизменным ассистентом Мэнни.

Александр Александрович о чем-то переговаривался с худощавым, походившим на рыцаря печального образа Дзержинским. Рядом с ними, крепко вцепившись в лер, стоял Тухачевский, чей черный плащ рвал неистовый ветер, делая его похожим на расправившего крылья мрачного демона. Малиновскому пришлось возвысить голос, чтобы перекрыть шум ветра и грохот волн, утюжащих скалистый берег и шхеры:

— Все перспективные образцы существуют в единственном экземпляре! У нас нет необходимых мощностей запустить их в серию, да еще с использованием только отечественных комплектующих...

Дзержинский что-то ответил, но порыв ветра отнес слова, и Алексей Николаевич ничего не расслышал. Тухачевский первый заметил приближение Государя. Он шагнул навстречу, подхватил его под локоть, помогая преодолеть очередное столкновение яхты со стальным балтийским валом, от чего палубу окутало облако брызг.

— Не лучшая погода для испытаний, господа, — сказал Алексей Николаевич. Яхта сблизилась с берегом, демонстрируя все мастерство капитана и команды — невыверенный поворот руля, и «Штандарт» мог сесть на мель, как случилось в этих же местах много-много лет назад и чему Государь, тогда еще мальчишка, являлся свидетелем.

— Условия максимально приближены к боевым, — ответил Михаил Николаевич. — По программе испытаний тектотон должен потопить баржу у второго пирса, — он протянул руку, указывая на выступающую в море полосу, у самого края которого поднималась и опускалась на волнах неповоротливая посудина.

— Орудиями? — осведомился Дзержинский.

— Феликс Эдмундович, вы сами категорически запретили загрузить в тектотон хоть что-то взрывчатое, — усмехнулся Тухачевский. — Стрельба, конечно, будет, но холостыми. А дальше ему, точнее, экипажу тектотона придется действовать в буквальном смысле руками.

— Вижу его! — воскликнул Малиновский. — Он движется не по пирсу!

Тухачевским посмотрел в бинокль:

— Ну, конечно же, передвигается по дну, благо глубина позволяет...

Он не успел закончить. Ослепительная вспышка. Оглушительный грохот, перебивший шум ветра и волн. Свист. И — взрыв! По правому борту яхты взметнулась огненная колонна, жаркая волна хлестнула по стоящим на носу людям. Алексей Николаевич не успел пригнуться, и упругий кулак взрывной волны опрокинул его на палубу. Взревел тягучий, надрывный сигнал тревоги.

Когда все четверо ввалились на мостик, стало очевидно: тектотон вышел из повиновения и расстреливал откуда-то имеющийся у него боезапас по «Штандарту», не отвлекаясь на другие корабли в акватории. От попадания миловали Бог да умелые действия капитана вкупе со слаженностью команды.

Малиновский, оказавшись внутри рубки, кинулся к смонтированному еще перед самым выходом в море щиту управления таинственными аппаратами, отчаянно сохраняя равновесие, поскольку яхта рыскала, стараясь не дать канонирам тектотона прицелиться. К грохоту взрывов, вою ветра и реву волн добавилась странная вибрация, пронизавшая корпус судна, а затем главные калибры взбунтовавшейся машины смолкли.

— Что за... — пробормотал Тухачевский, увидев, как от стоящих на палубе яхты громоздких аппаратов, с которых сдернули брезент, расплзается бледное сияние и в нем тают нос, левый и правый борта «Штандарта», словно кто-то проходится по яхте огромной стирательной резинкой.

— Что происходит?! — не сказал, не крикнул, а каркнул Государь. — Что это?! Ради Бога...

— Синематографическая маскировка, — Малиновский посмотрел на Алексея Николаевича и страшно ослабил. — Пускай попробует нас увидеть!

И тут из низких туч вынырнул вертолет, чуть ли не камнем упал на тектотона, который, шагая по дну, погрузился в свинцовые воды до берцовых сочленений. Сидящий позади пилота человек обеими руками вцепился в нечто похожее на небольшую пушку с раздутым казенником, из дула потянулся яркий луч, а на ближайшей скале возник кружок света, который стянулся в ослепительную точку и задымился. Дымная полоса прошла поперек бронированной груди тектотона. Машина качнулась, как-то странно распухла, из-под зашевелившихся, будто живые, бронированных плит брызнули лучи света, и Тухачевский понял: внутри тектотона сдетонировал боезапас. Машина с оглушительным грохотом обрушилась спиной в море. Голова тектотона вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части.

Опустив бинокль, Тухачевский задумчиво потер подбородок. Он готов был поклясться — в вертолете находился человек, как две капли воды похожий на Малиновского.

И словно заключительный аккорд безумия — на кресле вскинулся было задремавший Вильгельм и с неожиданной мощью заорал:

— Ура! Ура! Да здравствует победа немецкого оружия! Я же говорил, что буду отличным оружием! На Петроград! На Петроград!

Плачущая Гермина Рейсс-Грейцкая безуспешно пыталась успокоить окончательно выжившего из ума старика.

Научный монастырь

25 октября 1929 года, 15:00

«Цесаревич» — еще одно чудо господина Сикорского — был создан специально для официальных перелетов августейших персон и сочетал представительскую роскошь с последними достижениями авиастроения. Огромный шестимоторный самолет легко взмыл в небеса, и под широко раскинутыми крыльями открылись замысловатые регулярности научного града, большая часть домов которого возводилась по проектам известнейших конструктивистов Объединения современных архитекторов.

Сидевший напротив Государя Александр Александрович тоже прильнул к иллюминатору, держа в руках папку с прошениями о предоставлении российского подданства. Алексей Николаевич готов был их подписать, несмотря на то, что каждый подобный указ вызывал ноту протеста со стороны ЕССР и российский посол вызывался в европейский МИД для выслушивания официального возражения. Однако такая политика приносила вполне зримые плоды, в чем Государь мог убедиться, когда ходил по институтам и лабораториям Научносорбска — удивительного града науки, в котором жили и творили сотни первоклассных европейских и российских ученых, где учились тысячи талантливых юношей и девушек со всей России вне зависимости от сословного и имущественного положения. Именно там создавалось то, что Малиновский называл им же придуманным термином — «научно-техническая революция».

— Я напоминаю себе царя Додона, который все же собрался и посетил град на острове Буяне, — сказал Алексей Николаевич, когда «Цесаревич» нырнул в облака и земля исчезла из виду. — Благодарю еще раз, Александр Александрович, что уговорили меня там побывать. После того, что случилось с тектотомом... — Государь помрачнел и замолчал. Даже сейчас у него перехватывало горло. Не от пережитого страха, когда сделался мишенью вышедшей из повиновения машины, а от почти детской обиды, словно собственными руками пришлось сломать любимую игрушку. — То, что мне продемонстрировали в качестве... пер-спек-тивных раз-ра-боток... — Государь осторожно, точно пробуя на вкус, повторил слова, столь часто произносимые во время их переходов из одного института в другой, из одной лаборатории в другую. — Это впечатляет и вселяет оптимизм.

Александр Александрович молчал и смотрел на Алексея Николаевича. Его взгляд и выражение лица беспокоили Государя, он вдруг ощутил себя учеником, словно его милейший учитель Жильяр обнаружил, что цесаревич недостаточно глубоко усвоил урок. Малиновский пододвинул к нему папку, и, скрывая неловкость, Государь принялся просматривать бумаги, которые предстояло подписать.

— Господа Эйнштейн, Тесла, Гёдель, Фрейд, Крон, — Алексей Николаевич вновь посмотрел на Малиновского. — Кто они, Александр Александрович?

— Лучшие умы европейской науки, — сказал Малиновский. — Физики, математики, конструкторы, философы... Но им не нашлось места в новом дивном мире, который строит пролетариат Европы. Северо-Американские Соединенные Штаты, куда некоторые хотели выехать, отказались их принять... из дипломатических соображений, не желая осложнений.

— Понимаю, — кивнул Государь, — и не смею осуждать. Участие североамериканского экспедиционного корпуса в Войне Красной и Белой розы уже поставило их на грань конфликта с Европой.

— Как только вы подпишете указы, корабль, на котором эти люди в настоящий момент... прозябают, будет выпущен из Марселя и направится в Петроград. Пароход мудрецов, — усмехнулся Александр Александрович.

— В наших традициях привлекать на службу России лучшие умы Европы, хотя и своими отнюдь не бедны, ими надо рачительно распоряжаться, — Алексей Николаевич извлек из кармана пакет, который ему презентовали в одной из лабораторий. Внутри обнаружилась модель самолета. — Мне объясняли... как тут устроить?

— Вот, — Малиновский потянулся и перевел рычажок. Сквозь решетчатый корпус модели было видно, как внутри перевернулась крошечная капсула, заполненная чем-то блестящим, модель шевельнулась, и самолетик взмыл над столом, повиснув над ним, будто на невидимых ниточках. — Минус-материя, которая отталкивается веществом, составляющим Солнечную систему.

Государь, замороженный, точно ребенок, провел вокруг повисшей в воздухе модели рукой, удостоверившись, что здесь нет никакого фокуса.

— Капсула с таким веществом установлена в корпусе «Цесаревича», — сказал Малиновский. — Это обеспечивает экономичность расхода топлива и рекордную дальность полета.

— Одно это обеспечит нам военное превосходство над любым противником! — воскликнул Алексей Николаевич. — Их энтузиазм... каждого — от ученого до студента... Как они говорят? Понедельник начинается в воскресенье?

— Завтра начинается сегодня, — улыбнулся Малиновский. Государь, как никогда, походил на мальчишку, получившего в подарок долгожданную игрушку. — Поэтому они почти и не спят. Дело не только в изобретениях, Алексей Николаевич. Главное, я хотел вам показать новую систему организации труда, которую удалось создать в Научносовборске на основе идей Пролеткульта и тектологии.

— Признаться, я удивился, когда увидел спящих в самых неподходящих местах и в неподходящее время людей.

— Они практикуют прерывистый сон, — улыбнулся Александр Александрович. — Достаточно с равной периодичностью засыпать всего лишь минут на двадцать, и этим вы освобождаетесь от необходимости регулярного восьмичасового сна.

— И спортивные снаряды у конторок, — Алексея Николаевича особенно поразило вид седовласого профессора в академической ермолке и голого по пояс, играючи тягающего пудовую гирию, тогда как на лабораторном столе по его же указаниям учениками совершался какой-то химический опыт.

— Я не приемлю европейскую модель индустриального развития. Именно в данном вопросе мы категорически разошлись с Лениным. Нем необходимы собственные методы.

Взгляд Государя стал холодным, остранным:

— Вы состояли в партии большевиков, Александр Александрович?

— Более того, входил в ее Центральный комитет, — усмехнулся Малиновский. — Но мы еще до войны идейно размежевались с Лениным. Я занялся тем, что считал более насущным, — разработкой методов формирования новой культуры. Ортодоксальные марксисты, говоря о классовой борьбе, о рождении пролетариата, не замечают главного — возникновение на новом витке истории небывалого синтетического типа сотрудничества, которое порождает особый, коллективистский тип мышления. Пока мы даже не в силах вообразить — во что разовьется подобный тип мышления, можем только угадывать. Например, передачу на расстоянии психической

энергии мысли от одного человека к другому, без необходимости речи, а значит, без утайки, без лжи. Но главное — изменение сознания изменяет и модель объективной реальности, которую это сознание воспринимает! В результате отпадает необходимость социальных революций, которые, несмотря на благие намерения, несут народам хаос и страдания.

— Это не так просто сделать, — покачал головой Государь, взял висящий в воздухе самолетик, прижал его к отделанной сукном крышке стола.

Малиновский горячо продолжал:

— Общественное сознание формируется в соответствии с опытом. В коллективном труде возникает модель производственной связи, которая, в свою очередь, становится основой осмысления связи фактов в опыте. В Научносовборске мы прежде всего ставим задачу организовать новые модели труда, которые лягут в основу новой науки. Этой «Ахиллесовой» науке предстоит догнать «черепаху» мирового и европейского прогресса и обогнать его вопреки апории Зенона. Если Ленин считает необходимым сформировать пролетариат из вчерашних крестьян, которые в последние годы получили доступ к систематическому образованию, то мы говорим о необходимости поставить за станки не просто грамотных рабочих — вчерашних крестьян, а рабочих — творцов, рабочих — поэтов, рабочих — инженеров. А до той поры все подобные игрушки, изобретения, — Александр Александрович указал на самолетик, — не впрок, штучное производство, которое невозможно воспроизвести на конвейере.

— Я бы назвал вас утопистом, — сказал Алексей Николаевич.

— Я не утопист, я строю будущее в мысли и тем создаю предпосылки для материализации этого будущего.

— Тогда почему вы неоднократно отказывались от предложения занять пост председателя правительства? У вас появилось бы гораздо больше возможностей реализовать идеи тектологии и научных монастырей! Николай Иванович неоднократно отказывал в увеличении финансирования науки, ссылаясь на приоритетность расходов по аграрному сектору и социальным программам. Но встав во главе...

— Еще раз вынужден отказаться, Алексей Николаевич, — сказал Малиновский.

Государь нахмурился, шелкнул рычажком, который опрокинул крошечную капсулу внутри модельки, и самолетик опустился на стол, больше не делая попыток взмыть в воздух.

Покушение на миражи

25 октября 1929 года, 18:00

Известие о вотуме недоверия Государственной думой VII созыва правительству и внесенном на подпись Государя высочайшего указа об отставке ныне действующего премьер-министра Н. И. Бухарина пришло в разгар наиболее ожесточенных споров по проекту манифеста, который предполагалось дать в ближайший номер «Правды».

В тесной, прокуренной комнатке редакции, где их осталось четверо — сам Владимир Ильич, Сталин, до сих пор щеголявший в полувоенном френче и высоких хромовых сапогах, Каменев и Зиновьев, одетые с иголки, точно явились сюда с думской конференции, — было жарко не столько от спертого воздуха, сколько от разгоряченной вьедливости участников, взвешивающих на точнейших политических весах каждое слово, каждую фразу.

«Всякий раз, когда встает тревожный вопрос о судьбах завоеваний Славной Октябрьской революции 1917-го, вернувшей страну в лоно обновленной монархии, взоры обращаются на Европу, где после социалистического переворота чреды славных революций нет и нет. Когда же наш взор обращается внутрь страны, мы видим, что рабочий класс хоть и получил существенные социальные прибитки: восьмичасовой рабочий день, достойную заработную плату, гарантированную систему страхования и отпусков, всеобщую ликвидацию неграмотности, обязательное начальное образование, снятие сословных ограничений на обучение в университетах („Надо ли так подробно перечислять? Не слишком ли много реверансов в адрес Бухарина?“ — спросил Коба, на что Каменев ответил: „Надо, ибо в этом заслуга не только и не столько правительства“), тем не менее мы видим — нэп превратился в новое орудие эксплуатации пролетариата! Нам неоднократно говорили: новая экономическая политика необходима для того, чтобы пройти от сохи до трактора наиболее мягким и безболезненным путем. Однако механизация сельского хозяйства осуществляется не через расширение производства аграрных машин отечественной промышленностью, а, наоборот, за счет их все более массовых закупок у добрых „Кейзов“ за морем-океаном. Очевидно, что подобная „новая экономическая политика“ ставит жирный крест на развитии передовой российской индустрии».

— А главное — на расширении самого передового класса — класса индустриальных рабочих, — постучал Коба по исписанным листкам манифеста.

И тут зазвонил телефон. Сталин взял трубку, выслушал, достал из кармана галифе портсигар и принялся разминать любимые «Герцоговина Флор».

— Правительству вынесен вотум недоверия. Скоро будет подписан указ об отставке Бухарина.

Владимир Ильич поднялся со стула, выпрямился, глубже засунув руки в карманы брюк. Зиновьев и Каменев переглянулись. Началось!

— Ничего не готово, — торопливо сказал Каменев. — Мы не готовы... не рассчитывали...

— Так мы будем брать власть или нет? — В словах Кобы внезапно прорезался резкий акцент, что выдало его волнение. — Есть партия, готовая взять на себя ответственность?

— Есть такая партия! — Ленин сгреб гранки мертворожденного манифеста, скомкал и бросил в ведро. — Коба, перешлите статью «Шаг назад, два шага вперед» в типографию для немедленного набора и публикации. Больше спорить не имеет смысла. Время манифестов прошло. Промедление смерти подобно.

— Я... я против! — Зиновьев сухо кашлянул. — Это может оказаться провокацией! Ничего точно не известно... — но его слова прервала хлопнувшая дверь, и в комнату шагнул человек в серой шинели. На папаше таял мокрый снег. Он осмотрел присутствующих, рука словно невзначай лежала на кобуре, выцепил взглядом Ленина и глухо сказал:

— Товарищ Ульянов, приказано сопроводить вас.

Ничем не выдав удивления столь оперативной работой людей, от которых теперь зависело многое, но отнюдь не все, иначе не явился бы сюда их посланник, Владимир Ильич накинул пальто, шарф, поискал и подобрал с пола спланировавший с вешалки котелок.

— Товарищ Сталин, позаботьтесь обо всем... остальном, — сказал на прощание, кивнул побледневшим Зиновьеву и Каменеву.

Они так и продолжали стоять, дожидаясь, когда в свою очередь соберется и уйдет в типографию Коба, не удостоив их словечком. Затем Каменев шевельнулся, трясушей рукой полез в карман, достал листок.

— Как чувствовал... как чувствовал, места всю ночь не находил... Сочинял. Вот посмотри.

Зиновьев принял листок, развернул и прочитал:

— Не только я и Зиновьев... — сбился, но продолжил: — Но и ряд товарищей-практиков находят, что взять на себя ношу сформировать правительство в настоящий момент, при данном соотношении сил, независимо и за считанные месяцы до неминуемого объявления войны со стороны ЕССР, где давно пришел к власти братский наш европейский пролетариат, недопустимый и гибельный для партии шаг. Ставить все на карту формирования правительства — значит совершить шаг отчаяния. Наша партия слишком слаба, чтобы допускать подобные промахи, — он завершил читать, поправил очки и сказал: — Звони Горькому, опубликуем в его газете. Сегодня же. Сейчас.

Отсюда до дома на Воскресенской набережной можно легко и удобно проехать на автомобиле. Выйдя из подъезда на пронизывающий ветер с Невы, Владимир Ильич осмотрелся, никакой машины не увидел и решил, что они пройдут весь путь пешком. Однако сопровождающий, жестом показав ждать, вывел из-за дровяного сарая нечто громоздкое, двухколесное, в чем Ильич с некоторым изумлением и беспокоемством признал мотоцикл. Коляски не оказалось, поэтому, опять повинувшись жесту молчаливого офицера, Ленин сел позади и крепко ухватился за его портупею.

Мотор взревел, мотоцикл рванул с места и, заложив крутой вираж, так что пассажир невольно вскрикнул, нырнул под низкий свод прохода, который вел в лабиринт внутренних дворов.

«Диалектическая спираль истории в действии», — невольно и с иронией подумал Владимир Ильич, стараясь скукожиться, втянуть голову в плечи, укрываясь от пронизывающего ветра. В 1917-м было почти так же: в сопровождении офицера связи, приданного ему генералами-заговорщиками, он шел через Петроград к Зимнему дворцу, которому предстояло стать центром большевистского переворота. Их тогда несколько раз останавливали патрули, но у офицера имелся, судя по всему, такой мандат, что бдительные юнкера только каблуками щелкали да честь отдавали.

И вот. Опять. Одно отличие — на этот раз все должно получиться. Потому что на этот раз все будет иначе.

Мотоцикл мчался по бесконечной анфиладе внутренних дворов и двориков, больше похожих на глубокие колодцы, куда не заглядывает солнце и свет скудно сочится из редко и скверно освещенных окон. Иногда машина выныривала из задворков Петрограда на улицу или широкий проспект, но лишь затем, чтобы вновь нырнуть в сумрачный мир задников городской театральной сцены, в скопище ненужных реквизитов и декораций, с помощью которых когда-то творили увлекавшие людей иллюзии.

Затем тьму прорезала яркая вспышка, косой узкий луч скользнул по асфальту рядом с мотоциклом, которому пришлось сбросить скорость, петляя по замысловатой анфиладе дворов-колодцев. Ударил горячая упругая волна, пытаясь опрокинуть его, и Ленин отчаянно цеплялся за водителя, который всеми силами пытался удерживать опасно завихлявшую машину. Луч сместился ближе, в воздухе затрепало, и, бросив взгляд вверх, Ильич увидел, как вспыхивают и превращаются в крошечные огни птицы, попавшие под удар светового бича.

Но тут Ленина словно молотом ударили в грудную клетку, он вскрикнул от пронзившей боли и, взмахнув руками, опрокинулся с мотоцикла на землю. Несколько раз перекувырнулся, время замедлилось, и Владимир Ильич успел рассмотреть, прежде чем лишился чувств, как луч резанул по водителю и мотоциклу, превратив их в пылающий факел.

УЗЕЛ Ш. ИЗ-ПОД ГЛЫБ

Прогрессоры

Из узлов предыдущих, 1908

К тому времени, когда Алексей Толстой опубликовал «Аэлиту», Александр Александрович уже как пятнадцать лет вернулся из путешествия на Марс. Отчет о полете он опубликовал под видом фантастического романа «Красная звезда», а также дописал продолжение — «Инженер Мэнни», первую в мире историческую работу о марсианской цивилизации, написанную землянином по итогам изучения марсианских хроник в одной из крупнейших библиотек Красной планеты.

Все началось в 1908 году, когда он лежал в чужой комнатке и мучительно умирал от предательского выстрела, сожалея единственно о том, что не сможет предупредить товарищей о проникшем в их ряды предателе. Явление у смертного одра инженера Мэнни, с которым Александр Александрович имел весьма непродолжительное и поверхностное знакомство, он воспринял то ли как сон, то ли как предсмертный бред, причем скорее даже второе, ибо Мэнни в одно из своих появлений вдруг расстегнул ворот рубахи и снял лицо — искусно сделанную маску, под которой скрывалась истинная внешность пришельца с Марса. Его глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Зрачки расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение почти страшным. Верхняя часть головы настолько широка, насколько это неизбежно для помещения таких глаз; напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, сравнительно мала. Все вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй, уродства, но не карикатуры.

Мэнни предлагал простой выбор: умереть от заражения крови или отправиться вместе с ним на Марс, дабы на месте ознакомиться с жизнью более развитой цивилизации. Лишь марсиане, как потом понял Малиновский, могут предлагать подобную альтернативу, ибо их этика полагала неотъемлемым правом каждого разумного существа добровольно уйти из жизни. Александр Александрович, естественно, избрал жизнь и межпланетный полет, не подозревая, в какой водоворот событий ввергнет его столь фантастическое предприятие. На борту этеронефа Мэнни подключил умирающего к аппарату и очистил его кровь, чем добился скорейшего излечения Малиновского, а затем, после экскурсии по кораблю, так объяснил цель своего инкогнито на Земле:

— Мою профессию, род занятий на вашем языке можно назвать как сверхорганизация либо прогрессизм, прогрессорство, если угоден подобный неологизм. Суть ее — в мягком направлении развития более отсталой цивилизации до уровня, когда мы сможем открыто с вами сотрудничать. Для того чтобы производимые воздействия являлись максимально эффективными, нам необходимо советоваться с представителями земной цивилизации. И мой выбор пал на вас.

То, что рассказал во время перелета с Земли на Марс Мэнни, в конечном счете оказалось не полной правдой. О весьма важных аспектах марсианской цивилизации и причинах ее глубокого интереса к человечеству Мэнни тогда умолчал, и Малиновский узнал о них гораздо позже от Нэтти, во время пребывания на Марсе ставшей его возлюбленной.

Марсиане оказались вовсе не марсианами, а пришельцами из еще более далекого мира, звезды, рассмотреть которую с Земли невозможно даже в самые мощные

телескопы. Их корабль в длительном полете к какой-то неведомой цели, о которой Нэтти умолчала, потерпел катастрофу и вынужденно сделал остановку в Солнечной системе, а местом временного пребывания звездные странники выбрали Марс, поскольку планета не обладала разумной жизнью, а ее условия оказались близки к условиям родного мира пришельцев. Однако ремонт межзвездного этеронефа требовал столь сложные детали и узлы, которые было невозможно произвести собственными силами. Тогда взор звездных странников обратился к Земле и человечеству. Увы, уровень социального и научного развития людей не позволяли пришельцам прямо попросить о помощи. Можно легко представить, какой взрыв страха, недоверия, злобы вызовет появление на Земле представителей цивилизации, давно достигшей высот коммунизма. Поэтому был выбран окольный, но, как считали звездные странники, единственно возможный способ — выделить единственную страну и передать ей инопланетные научные достижения под видом открытий и изобретений ее собственных ученых и инженеров. Тем самым техническое развитие избранного народа возрастет до уровня, который позволит изготовить все необходимое для починки звездного этеронефа.

К сожалению, к тому времени, когда инженер Мэнни появился у смертного одра Александра Александровича, положение звездных странников усугубилось выходом из строя аппаратов синтеза пищи, что поставило «марсиан» на грань голодного вымирания и подстегнуло их действовать энергичнее и в конечном счете менее скрытно и более грубо. Основой для их пищи, по утверждению Мэнни, могла послужить некая субстанция, добываемая из человеческой крови, ибо ее состав близок к составу крови пришельцев.

Звездные странники колебались в выборе между двумя странами, которые могли стать восприимчивыми инопланетных технологий и, не подозревая об истинной причине своего научного и промышленного процветания, производственной площадкой починки межзвездного этеронефа и источником пропитания пришельцев.

Россия или Европа.

Европа или Россия.

Нэтти

25 октября 1929 года, 18:00—19:00

Малиновский оторвался от записей и посмотрел на мигающую сигнальную лампочку. Впрочем, в ней давно не имелось нужды — он физически ощущал прибытие каждого этеронефа. Будто кровь быстрее бежала по жилам, бурлила от невероятного прилива энергии, и Александр Александрович в очередной раз задавался вопросом, на который не получил ответа ни от Мэнни, ни от Нэтти: что влили в него пришельцы, не только излечившее, но и превратившее его кровь в живительную субстанцию, основу препаратов, которые он вводил Алексею Николаевичу и многим другим людям? Даже Ленину, когда на того совершили покушение, и Надежда чуть ли не на коленях умоляла спасти Ильича во имя старой дружбы, от которой давно ничего не осталось...

Станным было то, что прибытие этеронефа сегодня, да и в ближайшие недели не ожидалось. Груз баллонов с кровью отправился на Марс только вчера. Кто или что это могло быть? Александр Александрович поколебался — беспокоить Мэнни или нет, потом решил сам подняться по витой лесенке, скрытой за раздвижными книжными полками в кабинете. Запасной ход, лишь для экстренных случаев. И когда Малиновский, подгоняемый переполнявшей его энергией, легко одолел

сотню ступенек и шагнул в обширное помещение, на всех схемах Института крови обозначенное как «Ботаническая лаборатория», для чего и предусматривался стеклянный раздвижной купол, смолкло жужжание механизмов, возвращающих полупрозрачные панели в исходное состояние, а в центре покоился этеронеф, похожий на сплюснутое у основания яйцо. Пандус выдвинут, но изнутри никто не появился.

Александр Александрович снял с крюка аварийный светильник, подошел к этеронефу, и луч света выхватил лежащую ничком фигурку. Малиновский бросился к ней, подхватил за плечи, перевернул.

Нэтти!

Он с трудом поднял ее на руки — для миниатюрной женщины Нэтти оказалась невероятно тяжелой, чему Малиновский поразился, подумав, что сегодня первый раз, когда держит пришельца на руках. Он понес ее к грузовому лифту.

— Не успеешь, — ясный голос, никак не соответствующий истерзанному телу.

От неожиданности Малиновский запнулся, крепче прижал Нэтти. Мозг лихорадочно рассчитывал: вниз, к аппаратам по переливанию крови. Несколько минут. Еще минуты — перенастройка на физиологию и дозы пришельцев, благо это просто, так как Мэнни регулярно впрыскивал себе препарат... черт, препарат! Транспорт с кровью ушел на Марс! Свежего забора донорской крови еще не поступило, остался только консервированный НЗ, чья эффективность заведомо ниже.

В лаборатории он уложил Нэтти, расстегнул рукав и обнажил тонкую руку — еще тоньше, чем у Мэнни, даже не верится, что в ней уместаются кость и мышцы. Нашел блестящую штуковину, вживленную в сгиб локтя, куда вставляется игла для переливания крови. И лишь теперь понял: с телом Нэтти происходит нечто дотоле им не виданное, словно из некогда надутого до упругости шарика вышло изрядное количество воздуха, отчего тот одряб, сморщился. Конечно, он помнил ее кожу, упругие мышцы, фигуру, которую так легко принять за мужскую, отчего он и впал в заблуждение во время их первого полета на Марс, принимая Нэтти за хрупко сложенного юношу.

— Нет! Шалишь! — Александр Александрович принялся снимать пиджак и рубашку. Свежая кровь есть, много свежей крови, как раз достаточно, чтобы...

— Они договорились, — опять же неестественно ясно и четко прозвучали слова Нэтти. Губы не шевелились... Мыслеречь. — Решение принято в пользу Европы. Поддержка будет оказана ей. Резидентам дано распоряжение полностью передать радирующие и ракетные технологии ведущим европейским ученым.

«Ты бредишь!» — хотелось выкрикнуть ему, тем сильнее и отчаяннее, что слова Нэтти подтверждали его сомнения в честности игры, которую затеяли звездные пришельцы с человечеством и в которую вовлекли его, соблазнив благородной целью спасения их цивилизации.

— Мы всегда так действовали, — продолжила мыслеречь Нэтти. — Выбирали одну, только одну цивилизацию и передавали ей часть своих знаний, технологий, разыгрывая из себя богов, и помогали ей стать единственной, уничтожив в войнах соперников... Это очень важно для наших систем управления развитием — субъект воздействия должен быть единственным... Но все заканчивалось катастрофами... Всегда заканчивалось гибелью... Атлантида, Му, Гиперборея, Египет... множество иных величайших цивилизаций, о которых не осталось и следа... Нельзя управлять чужой историей... Но мы вновь и вновь пытаемся это делать... У нас появилась надежда, когда земной ученый Маркс открыл законы развития человеческого общества, а ты разработал тектологию...

— Ты бредишь! — прервал ее Александр Александрович. — При чем тут Маркс?! При чем тут тектология?! Ваши знания... они не сопоставимы с нашими! Сейчас, ми-

лая, подожди, подожди, — в цилиндры закачивалась его кровь. Много крови. Голова кружилась, в глазах мельтешили черные пятна, но он не поворачивал рычажок. Еще... еще чуть-чуть...

— Нет никаких знаний, — сказала Нэтти. Или это бред? Теперь его собственный?! Александр Александрович щелкнул рычажком. Аппарат приготовления донорской жидкости загудел. — Мы тысячи лет ничего не можем придумать, ничего не можем изобрести. Все, чем мы располагаем, взято, украдено у вас... у человечества... Как мы взяли у вас технологию социальных революций, чтобы направить вашу историю в нужном... нужном нам... — паузы мыслеречи становились чаще, состояние Нэтти ухудшалось.

Малиновский, шатаясь от кровопотери, вернулся к ней, потянул провод и вставил штуцер в разъем на сгибе локтя Нэтти.

— Все будет хорошо, все будет хорошо... — он притронулся к ее плечу и чуть не вскрикнул от ужаса: плоть окончательно утратила упругость, став желеобразной.

— Как и твоя тектология... Мэнни должен был изучить... понять... но это оказалось сложным... слишком сложным для нас... мы всего лишь хотим... хотим... жить... жить всегда... бессмертия... как ваши боги...

Мыслеречь оборвалась. Будто вырвали провод из передатчика. Огненная игла пронзила грудь Нэтти. Малиновский резко оглянулся. В дверях стоял инженер Мэнни собственной персоной. Нелепый и несуразный в человеческой маске, которую напялил в великой спешке, от чего лицо неестественно перекосилось, пошло складками. В руке Мэнни сжимал нечто похожее на пистолет с чересчур длинным и раздутым стволом.

Губы Мэнни шевельнулись, но ничего членораздельного не сорвалось с его уст. Шипение. Жутковатое, как шипение разъяренной кобры.

Малиновский, сжимавший запястье Нэтти, вдруг ощутил, что дряблая плоть окончательно раскисливается, оплывает, становится вязкой, стекает между его пальцев. Александр Александрович отскочил от Нэтти, с телом которой происходил чудовищный метаморфоз. Плоть колыхалась, будто нечто пыталось вырваться изнутри, затем вспухла чудовищным волдырем и лопнула, разбросав тучу брызг.

Из ошметок разорванной в клочья оболочки поднялось то, что в ней всегда пряталось.

Звездный пришелец предстал в истинном обличье.

Странная, отвратительная внешность. Треугольный рот с выступающей верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка под клинообразной нижней губой, непрерывное подергивание рта, щупальца, как у Горгоны, огромные пристальные глаза — все это выглядело омерзительным до тошноты. Маслянистая темная кожа напоминала скользкую поверхность гриба. Чудовище дергалось, стараясь приподняться на щупальцах, шумно дышало и шипело в ответ на шипение, испускаемое Мэнни.

А затем чудовище прыгнуло и обрушилось на инженера.

Дом на набережной

25 октября 1929 года, 18:00

Штаб операции, куда Михаил Николаевич направился после аудиенции у Государя, располагался на Воскресенской набережной, 28, на втором этаже, занимаемом контрразведкой Петроградского военного округа.

Очень удобное место для руководства восстанием, подумал Тухачевский. И тут же себя поправил — смены власти. Ибо на то он и здесь, чтобы не допустить восстания и даже самого мелкого волнения. В свое время Владимир Иванович Верховский даже предлагал засекретить персональный состав Военной комиссии, которой предстояло править страной от имени самодержца. Пусть молодой царь тешится сакральным званием Отца отечества, а настоящими будут другие Отцы, Неизвестные Отцы. Однако столь экстравагантную идею все-таки отставили.

Операция шла по утвержденному плану: спецгруппы брали под контроль почтамт, телеграф, телефон, радио- и телепередающие станции, вокзалы и аэродромы. Важно обеспечить непрерывность работы всех коммуникаций, связующих Петроград с внешним миром, чтобы гражданская публика ничего не заметила, разве самые наблюдательные могли обратить внимание, что место симпатичных телеграфисток заняли коротко стриженные молодцы с военной выправкой. И если роспуск Думы, смена правительства и реставрация (номинальная) самодержавия, при котором основные рычаги власти будут, конечно же, не у молодого Алексея Николаевича и даже не у возмнивших о себе невесть что большевиках, а у незаметной невооруженным политическим взором Военной комиссии с неопределенным составом и расплывчатым статусом, так вот, если все задуманное пройдет как по нотам, то через короткое время нужда в чрезвычайных мерах исчезнет.

Осторожный стук в дверь, и перед Тухачевским легло донесение. Долгожданное и одно из важнейших. Спецназ под командованием Железняк проник в Таврический дворец. Дума взята под контроль, все руководство партийных фракций и комитетов задержано.

Михаил Николаевич кивнул, положил донесение в основательно разбухшую папку. Достал из портсигара с монограммой «О. Н. Р.» папиросу.

Даже в самые напряженные периоды, узлы времени, когда на узком промежутке часов и минут сходятся сотни и даже тысячи событий, выпадают мгновения абсолютного спокойствия, будто глаз урагана, когда можно позволить себе выпить чаю с лимоном из высокого стакана в серебряном подстаканнике и еще раз взглянуть на то, что делалось, с философской бесстрастностью.

Он встал из-за стола, с наслаждением потянулся, прошел к окну и присел на подоконник, отодвинув одинокий цветочный горшок с засохшим цветком. То ли какой-то тайный знак, то ли напрочь забыли поливать несчастное растение. Страхнул пепел в горшок, не хотелось возвращаться к столу за пепельницей.

Когда это началось лично для него? Можно точно сказать — в 1925 году, когда в составе группы проверяющих от Генерального штаба они выезжали на Дальний Восток. Там, на КВЖД, он волей случая встретился и разговорился со скромным путейским инженером товарищем Устряловым, чьи идеи пали на благотворную почву и в конце концов привели к сегодняшней смене вех. В начале было слово. И слово, по-устряловски, звучало как «самодержавие».

— Методами капиталистического хозяйства, даже в обличье новой экономической политики, в атмосфере коммунистической Европы сильной России не сделать. Необходимо принять «социалистические» меры хозяйственного возрождения. А для этого неизбежен отказ от конституционной монархии и возвращение к самодержавию. Требуется влить в самодержавие новую кровь, сделать его, не побоюсь этого слова, большевистским самодержавием, — говорил Устрялов, когда они сначала сидели у него дома, а затем Тухачевский предложил перебраться в литерный поезд Военной комиссии да еще пригласить на беседу генерал-полковника Верховского.

— И не надо бояться большевизма, — говорил Устрялов, нисколько не смущаясь золотопогонной аудиторией. — Допустим тот невероятный случай, что в октябре

семнадцатого вместо Славной революции в ходе переворота власть получили бы Ленин и его партия, — тут Верховский странно хмыкнул, и лишь позже Тухачевский понял: генерала поразила пронизательность гостя, впрочем, такова Россия — пророки отечества рядятся в неподходящие одежды самых заурядных персонажей, например, инженеров-путейцев, — так вот, рано или поздно большевики всей логикой истории должны были бы продолжить державное развитие страны. Идеал мировой революции годится для космополитичной Европы, для нас любой большевизм в конечном счете обращается в самодержавие.

— Я знаком с экономической программой Ленина, — ответил Устрялову Верховский, чем изрядно озадачил Тухачевского, не подозревавшего в начальнике столь разносторонних интересов. — Он предлагает то, что мы, военные, называем мобилизационной экономикой или даже — экономикой военного коммунизма, если пользоваться марксистскими терминами. В семнадцатом, когда крестьяне отказались продавать хлеб по фиксированным государством ценам и возникла угроза голодных бунтов в Петрограде, царь и правительство все равно не решились изъять хлеб по продразверстке, что и привело к февральской катастрофе. Почему вы считаете, что экономический рывок может получиться у большевиков, если гипотетически допустить вручение им права сформировать правительство и проводить политику ускоренной индустриализации?

— Сегодняшний крестьянин уже не тот, — Устрялов отвечал быстро и уверенно, тем самым показывая и доказывая тщательность проработки своих идей. — Он разбогател, разжирел на «ножницах цен», на нэпе, на сплошной механизации сельского хозяйства, на импортных поставках тракторов и экспорте своей продукции в индустриальную Европу. Его детей возят в школы, их самих обучают грамоте летучие отряды Пролеткульта, их семьи пользуют земские врачи, а жены рожают в восприимных покоях. Нет, такой фермер больше не возьмется за вилы. Как не взялся за ружье европейский буржуа, когда пролетарская революция скovyрнула его с тела истории.

Но как только потом, много позже понял Михаил Николаевич: самое главное в его жизни оказалось сказано не в литерном поезде, а когда он вызвался проводить Устрялова домой. В голове странным рефреном крутились сказанные Верховским слова: «Мы вновь вступили в период российской истории, когда армия и флот, ее единственные союзники, играют самую активную роль в обеспечении политической стабильности. Это повтор эпохи дворцовых переворотов, но, как говорят марксисты, на более высоком витке исторической спирали». Устрялов задержался на пороге дома, внимательно посмотрел на Михаила Николаевича и сказал то, что могло предназначаться только ему — самому молодому генералу российской армии:

— Идет диктатор, Михаил Николаевич, идет, не звеня шпорами, не гремя саблей, идет не с Дона, Кубани или Китая. Он идет «голубиной походкой», «неслышной поступью». Он рождается вне всяких «заговоров», он зреет в сердцах и недрах сознания...

Звонок телефона заставил Михаила Николаевича оторваться от воспоминаний, посмотреть на стол, где теснились аппараты различных форм и цветов, определить тот, что осмелился нарушить тишину, а затем, почти нервно сунув окурочок в горшок, стремительным шагом дойти до источника звонка и сорвать трубку, вжав внезапно вспотевшей ладонью в ухо.

Телефон экстренных сообщений.

Значит, где-то и что-то пошло не так, как планировалось. Понимание того, что в операциях подобной скрытности и масштаба всегда что-то идет не так, как планировалось, отнюдь не успокаивало.

— Тухачевский.

— Покушение на объект А. Сопровождающий ликвидирован, сам объект в тяжелом состоянии. Убийцу задержать не удалось.

Вот черт! Черт!

Звонивший продолжал холодным тоном, без тени волнения, будто автомат:

— Использовался ручной гиперболоид повышенной мощности.

— Подождите, — на другом конце провода послушно умолкли. — Везите Ленина... то есть объект А в Институт крови. Институт под нашим контролем?

— Нет. Он не внесен в список первоочередных объектов.

Тухачевский прикусил губу. Еще один громадный прокол. А ведь списки неоднократно выверялись! Институт следовало включить туда как объект стратегического значения! Не секрет, что именно там Алексей Николаевич излечился от гемофилии. Кто контролирует институт, тот контролирует... все! Опять невольно вспомнилось любимое выражение Кобы: «Переворот — это вам не лобию кушать». Не лобию.

— Немедленно группу захвата в институт. Пусть Дзержинский и Сталин дадут самых лучших, — от волнения Тухачевский перешел на открытую речь. — К тому времени, как доставят туда Ленина, институт должен быть нашим. Малиновского арестовать. Он знает, что делать. И он должен сделать, — Михаил Николаевич бросил трубку, не дожидаясь ответа.

Час великого перелома

25 октября 1929 года, 23:00

Никогда не думал, что заключительный акт драмы будет проходить именно так. Диалектика истории гораздо на гримасы. И вряд ли молодой человек в полувоенной форме с единственным серебряным Георгием на груди понимает хоть что-нибудь. Прости, брат Саша... Мы пошли другим путем и победили. Неважно, как получить власть, политические последствия этого акта проявятся позже. Архиважно не выпустить власть из рук. Никогда. Хватит! Хватит, господа трусливые оппортунисты, говно нации, тискающие за спиной товарищей подметные письма в паршивых газетенках побитых молью «буревестников революции», хех-де, они не согласны брать власть, которая сама падает им в руки перезрелым плодом. А эта золотая молодежь из Таврического! Унаследовала депутатские места, должности и даже фракции от своих папенок! Считали себя неприкасаемыми, вечными и требовали ответственного правительства. Долго копали яму, в которую сами и попали со своим ответственным правительством. Пришел товарищ Железняк, и нет Думы. Слиняла сраная демократия за какой-то час. Час великого перелома...

— Простите... Алексей Николаевич?

— Я слышал, Владимир Ильич, с вами сегодня приключилась какая-то неурядица? — Государь смотрел ледяными прозрачными глазами.

— Меня... — запнулся, ибо хотелось бросить этому гемофилическому выродку правду, — на меня совершили покушение и убили. Да, дьявол вас всех заберет, убили! — Потому что он архиточно знает, что это была она — смерть. Как тогда, в двадцать втором, когда он умер в первый раз. Загнулся в проклятой коляске, с немим ужасом наблюдая, как из тела утекают последние капли физических, а главное — умственных сил... Если бы не Малиновский. И теперь оказалось, что Александр, близкий враг и заклятый друг, вечный соперник, которого еле-еле удалось отстранить от

партийных дел, подарил ему нечто больше, чем намеревался... Ленин жил, Ленин жив, Ленин живет всех живых!

— Государь, господина Ленина атаковала группа мятежников, — Тухачевский. — Офицер сопровождения погиб, но своей жизнью спас Владимира Ильича.

Государь вновь взял текст Высочайшего указа о назначении В. И. Ленина премьер-министром Временного правительства, чьи сроки и полномочия расширились чрезвычайно в связи с особым периодом управления страной, когда отзвывался Манифест о даровании конституционных свобод, распускалась Государственная дума и возвращался режим самодержавия. Предстояло подписать еще несколько Высочайших указов, которые превращали Россию в то, чем она являлась при отце — православной самодержавной монархией. Но этот — первый. И самый трудный. Рука не поднималась утвердить его.

Алексей медлил, хотя и видел, как нарастало волнение присутствующих в комнате.

— Кого вы планируете представить на главные посты в правительстве?

— Министр экономики и индустриализации — товарищ Сталин, военный министр — товарищ Троцкий, министр внутренних дел — товарищ Дзержинский, министр народного просвещения — товарищ Луначарский, — быстро сказал Ленин. Четко, со слегка ревербирующей «р», что создавало ложное ощущение, будто он картавит.

Алексей Николаевич кивнул, точнее, мотнул головой, словно в приступе мучительной боли. Товарищи... Вот в чем сила этого невзрачного лысого человека — у него имелись товарищи. Он же, Государь, самодержец, хозяин земли Русской, как записал Папа в опросном листе переписи населения, один. Не считать же товарищами выстроившихся напротив генералов! И ему мучительно захотелось вновь оказаться мальчишкой в могилевской ставке вместе с Папа и вновь выкинуть ту дурацкую шутку, когда напялил одному из генералов на голову половинку арбуза вместо фуражки. Он даже примерился — кого удостоить подобной шалостью? Начало Великой войны вспомнилось не случайно. Именно к ней апеллировали генералы, напоминая о задержке начала мобилизации из-за нерешительности Папа, приведшей к гибели армии генерала Самсонова в болотах Восточной Пруссии. Призыв большевиков во власть являлся новой, а главное — своевременной мобилизацией в преддверии грядущей войны, обещавшей стать еще более кровавой и беспощадной.

Алексей сегодня прикрепил к кителю единственную боевую награду, полученную не за престолонаследование, а за храбрость, проявленную во время посещения 12 октября 1915 года раненых в районе станции Клеван, где они с Папа попали под обстрел вражеской артиллерии, но не покинули лежавших там солдат и офицеров.

Отец, отец... как тебя не хватает! Я помню, по утрам становился с игрушечной винтовкой у входа в салон на пост, при твоём появлении брал на караул, застыл в позе часового, пока ты пил чай, охраняя покой и жизнь Государя. Охранял... да не сохранил... Почему отпустил тебя в Кострому?! Где поджидали мятежники во главе с дьявольским Юровским, положившим жизнь ради того, чтобы стать цареубийцей...

Порой кажется, что Папа тоже страдал гемофилией... гемофилией души — избыточной ранимостью от происходящего в России и неспособностью самостоятельно остановить душевное кровотечение. Ее называли нерешительностью те, кто не знал тебя так, как знал я. На самом деле то была невозможность сделать даже малейшее движение без боли, которую причиняла душевная гематома. Ты искал спасения в Боге... может, впервые я это понял, когда мы молились перед Иверской Богородицей и ты стоял молча, с серьезным лицом, словно слился с простым народом в единое целое, словно в последний раз ощущал пульс России... А чувствую ли я биение народной жизни? Или мне, хоть и верующему, но привыкшему больше полагаться на науку, технику, экономику, навсегда закрыт небесный источник силы и поддержки?

В последние годы правления отца многократно возросло число канонизируемых святых, будто Папа, в предчувствии близкой гибели, спешил мобилизовать небесную рать святых радетелей земли Русской.

Как возможно в одном народе ужиться столь разным группам людей?! В это верится еще меньше, когда вспоминаешь приезд в Москву накануне Великой войны, переполненные площади и улицы, а они — Папа, Мама, сестры — пешком идут в Кремль, и ему, хоть и смертельно обиженному тем, что приходится передвигаться не собственными ногами, а на руках матроса-опекуна, льстит восторженное внимание толпы, и звонят все церковные колокола Первопрестольной, и тысячеголосым хором льется гимн «Боже, царя храни!».

Понадобилось три года войны и лишений, чтобы народность, православие слиняли, обветшали, а самодержавие пошатнулось и почти рухнуло. Что грозит России, народу, самодержавию, вере теперь, когда на нее вот-вот двинутся объединенные полчища «просвещенной» Европы?! И неужто нет иного лекарства, нежели передать часть власти этому лысому человеку, который в канун трагического августа 1914-го заявил, будто для революции война в России была бы лучшим благом, но ему не верится, что Франц Иосиф и Вильгельм окажут большевикам такую услугу.

Оказали.

Ленину не откажешь в прозорливости — чуть-чуть, и он бы вырвал власть из рук февралистских мятежников. И не только у него, Государя, имеются личные счета к большевикам, таковые есть у стоящего перед ним человека, ибо самодержавие повесило его старшего брата Александра Ульянова! И может, всю жизнь этим человеком двигали не идейные устремления, но жажда мести, лишь прикрытая ризами Марковского учения? И если так, не вручает ли он, косвенный соучастник семейной трагедии, этому человеку власть и возможность довести историю своей мести до последней точки?!

Горькое лекарство или яд? Смерть или выздоровление?! Что они такое?!

Наблюдая за нарочито медленным движением руки Алексея Николаевича, выводящего под высочайшим указом подпись, Михаил Николаевич облегченно вздохнул. Теперь-то все и начинается. Очень большая игра, которую затеял и намерен довести до победного финала он, и только он. Как пророчествовал Устрялов? Про диктатора? Пророчествовал, не ведая, что укреплял Михаила Николаевича в решимости взять. Власть, которую не наследуют, не получают, а берут, а точнее, вырывают из рук, как только и происходит в веке двадцатом. Алексей слаб здоровьем, а теперь, когда Институт крови находится под личным контролем Михаила Николаевича, всякое может случиться. Как уже случилось с несчастным Малиновским, решившим поставить над собой опасный научный эксперимент, никого об этом не предупредив. И тогда на престол придется взойти Ольге Николаевне, продолжая традиции великих российских императриц, а рядом с ней будет находиться он — самый молодой, блестящий генерал Михаил Николаевич Тухачевский. Который железной рукой и штыками верной гвардии сметет прочь этих бандитов большевиков, а заодно и старперов Генерального штаба. Он останется один, как и полагается истинному диктатору. Верховный правитель всея Руси!

В последний момент рука Государя чуть дрогнула, оставив на плотной гербовой бумаге капельку чернил, похожую на почерневшую кровь. Алексей Николаевич отложил оранжевый «Паркер», поднялся, увидел, как к нему двинулся Ленин, протягивая руку, дабы принять папку с указом, но Государь оставил ее лежать на столе, а сам подошел к окну и встал спиной ко всем.

Близилась полночь.

ЭПИЛОГ. ГИПЕРБОЛОИД РЕВОЛЮЦИИ

Малиновский. Значит, твоих рук дело?

Богданов. Если имеешь в виду бунт тектотона, уничтожение радирующего центра в Пенемюнде, покушение на Ленина, то — да. Моих.

М. Зачем?!

Б. Чтобы изменить будущее.

М. Я, наверное, сошел с ума... или это предсмертные видения... Словно смотрюсь в зеркало.

Б. Ты — в какой-то степени я, я — в какой-то степени ты. Помнишь, древние греки делили время на хронос и кайрос? Так вот, ты — это я в потоке хроноса. А я — это ты в потоке кайроса.

М. Путешествие во времени? Как у Герберта Уэллса?

Б. Да, позаимствовал идею. И даже форму кайронефа сделал похожей на мотоцикл. Так удобнее передвигаться и в кайросе, и в пространстве. Но путешествовать в потоке времени можно лишь от одной узловой точки к другой. Это сгущения событий, критических для будущего. И здесь проблема. Изменяя события узла, можно изменить последующий ход истории, но в сгустке ее нервических волокон приходится оперировать не скальпелем, а ножом, ибо нет времени на тщательную подготовку.

М. Убивать?

Б. В том числе. Или уничтожать. Прижигать опасные язвы, грозящие погубить существо человеческой истории. Я сжег целый город на Балтийском побережье Германии, тем самым оттянув начало мировой атомной пролетарской революции, а может — и вовсе уничтожив данную ветвь истории. Я перенаправил психопоток от выжившего из ума отставного кайзера на экипаж тектотона, покушением на Государя подтолкнув отставку правительства Бухарина, ради изменения вектора развития России. Я убил Ленина, чтобы премьером назначили тебя.

М. Это невозможно! Я бы все равно отказался! Алексей Николаевич неоднократно предлагал мне пост...

Б. В этом вся беда. Ты... то есть я... мы всегда уступали Ленину. Отказывались от борьбы с ним. Сразу и безоговорочно признали его лидером — сначала партии, потом — революции, а теперь вот и страны... Увы, я могу менять события, но не получается изменить самого себя...

М. Но Мэнни...

Б. Разве ты не понял?

М. Что?

Б. Нет никаких марсиан! И звездных пришельцев нет. Впрочем, я преувеличиваю собственную прозорливость...

М. Постой... о чем ты говоришь?! Я ведь видел... летал...

Б. Да, конечно. В твоем варианте кайроса — они звездные пришельцы, которые тайно направляют развитие человечества ради того, чтобы заимствовать его научные идеи, а заодно пить нашу кровь, обеспечивая себе бессмертие. Но я видел другие варианты, где место тайных правителей или, если угодно, гегельянство, — мирового духа занимала древняя раса рептилий, которая скрывается под землей, где в огромных полостях выстроены колоссальные города. Иногда это адепты чудовищных культов давно забытых богов, а иногда и сами боги, что поднялись из пучин океана, дабы вернуть себе власть над людьми... Как думаешь, какой из этих вариантов — истинный?

М. Хочешь сказать — никакой?

Б. Если в кровь проникают вредоносные микротела, их атакуют белые тельца. Если кто-то проникает в поток кайроса, время порождает феномены, компенсируя вносимые чужеродным агентом изменения в предопределенность событий.

М. Ты должен прекратить это! Ты понимаешь, чем грозит подобное вмешательство?

Б. Да, понимаю... Заражением крови человеческой истории... но будущее, каким я его видел... вижу... оно ужаснее! Еще одна мировая война, гораздо более жестокая и кровавая, которая уничтожит человеческую цивилизацию... Понимаешь? И все, что могу, — гиперболоидом выжечь в узлах кайроса события, которые ведут к фатальному концу истории. Да, действую грубо, наобум, не понимая механики кайроса, но остановиться не вправе... Пстой! Что ты делаешь?!

М. Инъекцию яда. Не станет меня, перестанешь существовать и ты. Ты так и не понял, что своими действиями вызываешь столь пугающий тебя конец цивилизации... Ты... то есть я — сошел с ума... надо все исправить... все... Ты — яд, а не панацея...

Комментарий: На этом звукозапись обрывается. Экспертиза подтверждает первоначальный вывод: диалог ведут не два человека, а один. Таким образом, имеется весомое доказательство шизофренического расщепления сознания А. А. Малиновского, произошедшее, вполне возможно, в результате его необдуманных опытов с переливанием крови ради продления собственной жизни. Содержание записи следует трактовать как предсмертный бред, но возможно, что имеется некое рациональное зерно. Исходя из этого, рекомендуется еще раз тщательно проверить возможность прямого или косвенного участия А. А. Малиновского в деле покушения на председателя правительства РСФСР В. И. Ленина.

Григорий БЕНЕВИЧ

* * *

«С Праздником», — говорю знакомому я жрецу
из часовни блаженной Ксении.
И он отвечает, как подобает лицу
священному: «с Праздником вас, с Успением!»

Там, где мы встретились, где встречаемся с ним
регулярно — в гражданской купальне, на умовении,
человек предстает человеку совсем нагим,
то есть как мать родила — обреченным смерти и тлению.

Но, как ни странно, здесь-то глаза, лицо
скорее увидишь, глубину *беспредельности*
вне, так сказать, религий и вне жрецов,
а человека — каждого по отдельности.

* * *

надев
двубортное пальто
(с чьего плеча? —
кого-то из умерших),
без опасенья выйти на мороз.

зима ядреная
по оба борта!
но «красин» мой прекрасен —
не затрет
его зимы
челюскинскими льдами!

КАЛЕНДАРНОЕ

Зимний Максим.
Черный декабрь в России
черный же сменяет
январо-февраль.

Григорий Беневич родился в 1956 году в Ленинграде. Культуролог, философ, поэт. Доцент Русской христианской гуманитарной академии. В советский период публиковался в самиздатских журналах «Обводный канал», «Часы», «Предлог», в последние годы публикует стихи и статьи в журналах «Нева», «НЛО», «Звезда», «Волга», «Интерпоэзия», «Плавучий мост», «Этажи», «Чайка» и других.

Янус двуликий.
Страна прирастает Сибирью.
Ну, а с Европой у нас —
«другая мораль».

Впрочем, какая мораль там, в Европе? —
двойная!
То, что позволено им,
не позволено нам.
Наша ж мораль —
как порука сильна круговая,
да и живем мы по двум
сразу календарям,

по византийскому
и по петровскому то есть.
И не замучит нас их
государственный стыд.
Ведь запасное есть время у нас,
чтобы совесть
выбелить так,
как нас учит в псалме
царь Давид.
3 февраля (21 января) 2015 г.

* * *

Отложив догматы все и книги,
Эвридики вызывая тень,
на подвижной лестнице религий
я займу последнюю ступень.

К магии сойду и анимизму,
стану камнем, деревом, цветком,
откажусь от христианской жизни,
будто с ней я вовсе не знаком.

И в Господень день Преображенья
не на гору чудную взойду,
но сойду вослед любимой тени —
может, отыщу ее в аду.

Преображение 2015 г.

* * *

Сегодня приснилось, что мама пошла,
взяла и пошла, лишь слегка опираясь
на трость. Я запомнил, что я удивляюсь
тому, как она это сделать смогла.

Пошла и без помощи чьей-то, сама!
А то, что мне это приснилось, — не понял.
Но только я радостью переполнен
был, тотчас же выбросило из сна.

О ДУШЕ

Флоренции не удалось купить
Певца Лауры, предпочел тирана
Он и архиепископа Милана,
Который дал ему спокойно жить,

Не привлекая ко преподаванию,
Не предлагая кафедру... Певец,
Он предпочел, чтобы святой отец
Его кормил, а не купцов собрание

Флоренция, твоих, народу «жирных»,
Которым друг его «Декамерон»
Составил, он не дал себя в полон
И жить остался для занятий мирных

И воспитанья собственной души
На подвигах героев древних...
Поди попробуй в купле повседневной
Свою живую песнь не задуши.

КЛАДБИЩЕ

Кладбище советской культуры
По дороге на Щучье — еврейские имена
Вперемежку с русскими — литературы
И других искусств... Но если бы не одна

Могила с железным крестом, то нечего говорить бы,
Не то что любимая, — дело не в том,
Но судьба и эпоха целая, видимо,
Лежит под этим крестом.

До сих пор мы хороним эту эпоху. Вон вырыты
Свежие могилы. А дальше? Братва
Комарово скупит, а интеллигенция вымрет
Или уедет, и придет татарва

Новая — с позвонками крещеными
Бог весть где, но хотящая под крестом
В землю лечь, как Ахматова. Меж культурой и зоной
Нет границы и не было
в мире том.

РАССКАЗЫ

ЕВРОПА, ЧЕРТ ПОБЕРИ!

Дух, дух!.. Дух града сего переимчивый, дух града извратный, дух умножающий! Если что-то град сей переймет, так извратит, исказит тотчас же, так тотчас же приумножит! Чужое налипает на нем, как ракушки! Он уж и сам сделался будто огромной ракушкой, обросшей другими ракушками. Мало в граде осталось первоначального, полон он постороннего, полон он приносного.

Был я в разных городах Европы и дивился порою тому, как там бережно собирают обыкновенный мусор, с какою скрупулезностью тамошние обыватели сортируют свои отходы, излишества: бумагу отдельно, пластик отдельно, отдельно пищевые остатки, и даже стекло, предназначенное на выброс, подразделяют на светлое и темное. По пять-шесть разнообразных контейнеров стоит во дворах цивилизованных европейцев; и ведь не дай бог выкинуть что-то не туда!

Вот и до нас это дошло, вот и до нас докатилось. Может, и хорошо, может, и из нас что-то получится!..

Если, конечно, град сей не переиначит! Если, конечно, человек наш не извратит.

Лениво мои мысли текли, когда на скамье я сидел под несмелым апрельским солнцем за стадионом «Петровским», по Ждановской набережной далее. Косые тени раскинулись по асфальту, досадные, будто пролежни. Мимо неслись автомобили, я же был в сквере, несколько в глубине его. И наблюдал я огромный зеленый «контейнер для темного стекла», с люками с плотными шторками. Люки были похожи на иллюминаторы и размещены несколько высоковатого; низкорослому, пожалуй, и не дотянуться.

Выходят со стадиона, пьют пиво, много пьют пива, для того и контейнер.

Этот же не со стадиона, этот просто бродяжка.

Но тоже пил пиво.

Вида дураковатого, сам весь белесый, в белой, но замызганной курточке, волосы светлые, небритый, а тут еще и солнце высвечивает. Все, на что попадает.

Идет и бормочет. То ли песню, то ли стихи. То ли просто матерится с беззлостью. Дурачок, что с него взять!

А еще курточка на груди у бродяжки полураспахнута, из-под курточки кошка высунулась. Белая. Носик розовый.

Сижу, смотрю на бродяжку. Есть за что зацепиться глазу. Уму, пожалуй, и нет.

— Кисонька, кисонька, а вот мы тебе и молочка-молочочка! — бормочет белесый человечек.

Тут он вынул кошку из-за пазухи, слюняво поцеловал в носик, будто попрощался, и — р-раз! — сунул ее точнехонько в «иллюминатор». А сам стоит, отхлебнул пива и хохотком заливается. Весело.

Станислав Иванович Шуляк — прозаик, драматург. Автор девяти романов, в том числе «Кастрация» и «Лука» («Амфора», 2003). Призер фестиваля короткой драмы «One Night Stand» (Москва, 1–2 апреля 2005 года). Публикации в «Литературной газете», «Ex libris НГ», в газете «Петербург экспресс», журнале «Нева».

Что тут произошло! Должно быть, в контейнере были бутылки битые, и кошка распоролла себе лапку о стекло, не иначе. Она завывала, гулко, низко, истошно. Ужас, видать, объял ее темную душу кошачью. Ведь есть же душа у кошки, не может не быть души! Все живое душою наделено. Кто-то давным-давно распорядился о том, и вот с тех пор так оно и делается, по предписанному, по предназначенному, по заведенному.

Я похолодел. Живое существо — и этак с ним обойтись! Что за подлая в том безжалостность, что за гадкое здесь сумасшествие! Я выхватил телефон из кармана.

— Ждановская набережная!.. За стадионом! В сквере!.. — приглушенно крикнул я в трубку. — Срочно! Глумление над живым существом!

— Над каким именно? — был лишь вопрос.

— Над кошкой! Над кошкой! — крикнул еще я. — Разве это имеет значение? Надо спасать! Она в контейнере со стеклом, она кричит! А вокруг люди ходят! Иностранцы и дети! И старики! Что будут про нас говорить — представляете? А контейнер закрыт! Как будто бы полон драгоценностей! Вы видели у нас контейнеры, полные драгоценностей? — спросил я.

— Выезжаем!

— Скорее! Он уходит! Злоумышленник! Я постараюсь задержать! Он, может, и сумасшедший, но тут уж вы сами должны разобраться! Я в этом не компетентен! — крикнул я.

— Через три минуты. Машина будет.

Дурачок допил пиво и, разулыбавшись, сунул бутылку вслед за кошкой. Четверолапая взвизгнула и загудела с глухой обреченностью. Я был на ногах, я был в ярости.

— Эй! — крикнул тогда.

У дурачка выскользнула изо рта несанкционированная слюна. Он собирался уж уходить, но остановился.

— Это ведь кошка? — с угрозой спросил я.

— Шапку носил-носил, а потом тепло стало, шапку снял, а она калачиком свернулась, пушистая вся, и к щеке ластится, — быстро и бессмысленно ответил бродяжка.

— И она кричит! — сказал я с угрозой даже большей. — Ты слышишь?

— Шапки не кричат — только шепчут, когда гладишь, и еще муркают жалостно.

— Она тебе муркала, муркала, а ты как с ней обошелся?

— Пойду я, дядя, пора мне, — обреченно сказал дурачок.

— Нет, ты не пойдешь! — крикнул я. — Что это станется, если все, сотворивши бесчинства, будут просто себе уходить, как будто их ничего не касается?!

— А я пойду, молочка попью, тепленького: горлу маотно. Простуженный я. Мама у меня...

— Стой! — крикнул еще я.

— Стою я, а стоять не хочется, и ножки притомились, и в груди стеснение!.. Пусти, дядя!

— Ты дурака из себя не строй! — сказал я еще. Уже менее уверенно. Ибо кто же он, как не дурак! Да-да, он — безжалостный дурак! Мир полон дураков, иные из них и безжалостны.

— И голова без шапочки пристыла — домой надо!

— Сейчас-сейчас, будет тебе — «домой»!

— Домой, домой надо!..

И тут вдруг — о, чудо! О, прогресс! — увидел я две полицейские машины. Они неслись в нашу сторону, с мигалками, с сиренами. Я на мгновение возгордился и этим городом, и этим миром, и этим порядком: никогда не видал я прежде такой отзывчивости, такого радения, такой стремительности. Неужто и вправду страна сия начинает выздоравливать?

— Сюда, сюда! — замахал рукой я.

Полицейская машина остановилась, за нею вторая.

— Здесь опасный дурак! Вот он! — крикнул я. — Здесь истязание и беззаконие! Там контейнер, и в нем кошка!

Полицейские разделились. Часть из них бросилась к указанному мной контейнеру, другая — к указанному мной дураку.

Я взирал то на контейнер, то на бродяжку. Последний же явно взволновался.

— Стоять! Стоять! — кричали ему.

И тут же повалили на асфальт лицом вниз. Люблю в служивых людях это такое рвение.

С кошкой вышла картина не в пример умильная. Контейнер вскрыли, кошку приманили, и вот один молодой полицейский на руках понес ее в нашу сторону.

Лапки у животины и впрямь были окровавленными.

— Твоя работа? — решительно спросили у дурака.

— Его! — уверенно подтвердил я.

— Шапочку, шапочку с головы сдуло! Без шапочки голове холодно, — слюняво забормотал дурак, кивая головой.

Бродяжку потащили к машине, сзади шествовал полицейский с раненой кошечкой. Голову дурака пригнули, чтобы он не зашибся, в машину заталкиваемый. Я тоже понемногу пошел себе следом — ведь мои показания могли бы еще и потребоваться.

Но тут все переменялось. И дурака в машину не затолкали, и справедливость не восторжествовала. Как мне уже изрядно мерещилось. Переменялось же от усердия одного подлого старика, на скамейке сидящего. Я его прежде, признаться, даже не замечал. Может, прежде и не было никакого старика на скамейке.

— Стойте! — вскричал вдруг сей залежалый раритет. — Это все не так! Вы ошиблись!

— Что такое? — вскинулись полицейские.

— Сей гражданин нарочито ввел вас в заблуждение! — молвил ехидно старик, указывая на меня своим крючковатым перстом.

— Говорите! — велел главный из полицейских.

— У того-то, что вы в машину сажаете, — приосанился старец, — дух простой, беспричинный — сами ж видеть должны, это человек без зла и ответа...

Тут дурака перестали в машину заталкивать и даже подвели к нам ближе.

— Этот к святотатствам несколько не склонен, об том даже предполагать-то не следует!.. В отличие, скажем, от этого! — тут старичок повернулся ко мне с некоторою даже свирепостью. — А вы на него зато взгляните попристальней! — добавил еще сей неизжитый увалень. — Вы его дух рассмотрите!

Полицейские стали послушно рассматривать меня (не знаю уж, какой они во мне увидели дух).

— Видите? Видите в нем норов искажительный, лживый? — возбужденно молвил старик. — Вы на простого парнишу подумали? Да нет, он шел, кошечку нес, гладил ее да целовал. А тут появился этот... ворог... выхватил у парниши из рук животину и злобно ее в контейнер швырнул. С битым стеклом!

— А зачем же он нам позвонил? — усомнился справедливости ради один полицейский.

— Из подлости! — недвусмысленно старик отвечал. — Из клеветы да напраслины.

Впервые в жизни я видел сего старика. Что уж такого я мог ему сделать, чем мог обидеть его, что он теперь так беззастенчиво лгал на меня?! Ничего, ничего! Быть может, разве что только прежде его не заметить! Не в этом ли скрывалась обида? Но в чем же здесь таковая — ведь всех стариков невозможно заметить, не стоит даже пытаться! Старик же, старик лгал на меня, старик супротив меня подличал.

— Что? — вскричал я. — И я вынужден все это выслушивать!

— Твое животное? — спросили у дурака.
— Шапочка пушистая, мягкая, ой спасибо, спасибо! — забормотал тот, и ему вернули кошку.
— Он ее в контейнер сунул? — спросили еще у дурака, показывая на меня.
— Он такой... такой... взял у меня и сам сунул!
Блаженный гнул свою фантастическую линию с подсказки лжеца.
— Подтверждаете? — спросили у старика.
— Я еще и с вами поеду, чтоб правдивые показания дать! — горделиво молвил тот.
— Истязания, клевета, оговор, ложный вызов, — гудели полицейские.
Меня повалили лицом на асфальт. Я хрипел и вырывался.
— Соппротивление, неповиновение, криминальный умысел...
Меня подняли и потащили к машине. Боюсь, что изо рта моего тут стали вырываться некоторые неправильные слова вместе с брызгающей слюной.
— Охальник, охальник! — пояснял шествующий за нами старик с некоторой удовлетворенностью. — Теперь вы осознали все его умыслы?

Непокорное и охальное, быть может, и впрямь исторгалось из меня. Голову мою пригнули, когда меня вталкивали в машину на место, прежде предназначенное для дурака.

Я обернулся. Старик и дурак с кошкой в руках подходили к другой машине. У меня еще мелькала надежда оправдаться, поразить всех блеском собственной нерассудительности, своими гремучими умыслами, саркастическими частями речи и членами предложения. Парадигмами да артикуляциями.

Но тут машина тронулась с места, набрала ход, навстречу нам понеслись столбы да ограды, поребрики и рекламные тумбы, человеки и голуби и всевозможная иная пернатая шушера, перекрестки и автомобили, атмосфера и балюстрады, рестораны, аптеки и сизая водная гладь. И надежда, надежда рассеялась, будто она была дымом, будто и не было ее никогда. Хорошо жить без надежды, человекам и следует жить без нее.

И град сей тоже без надежды! Однако же дух его лжив и извратен, криводушен и промозгл, каверзен, заносчив, злонравен. Захочешь восхититься градом сим и — не сумеешь! Захочешь удивиться и — претерпишь неудачу! Зато содрогнешься им, ошеломишься им, отшатнешься от него, извергнешься из оного. И человеки со словами их мизерными в граде том двоедушны, запальчивы, казуистичны, плотоядны. А других в нем, кажется, и нет вовсе!

Дух, дух!.. Дух града сего!..

МАНСАРДА

Я так и был настроен сегодня на что-то гадкое и безобразное. Сам не знаю отчего. С утра уже чувствовал, что душа в день сей непременно возмутится миром и человеком, отторгнет, оттолкнет оных, изобретет какие-то новые способы поношения их. В моих же предчувствиях есть, должно быть, что-то докультурное, первобытное. Я люблю иногда угадывать в себе сверхъестественное, атавистическое, подспудное, невыношенное.

Я заметил ее неподалеку от себя, когда собирался перебежать через Московский проспект, в сотне метров от Сенной площади. Она смотрела на меня, но тут же отвела глаза, когда увидела, что я обратил на нее внимание. Знаю ли я ее? Уверен, что нет. Она меня знает? Черт, если теперь раздумывать об этом, можно угодить под машину.

Я побежал через проезжую часть, транспорт как раз приостановился, и я успел оглянуться. Она, эта дамочка лет тридцати, в светлом плащике, упорно не смотрела в мою сторону, но вдруг, покрутив головой вправо-влево, небольшими, детскими шажочками побежала за мной следом.

На другой стороне проспекта я хотел было положить конец всяким загадкам. Но эта дамочка, тоже перебежав вполне успешно, застыла возле витрины магазина, что-то там якобы разглядывая. Какова сыщица! Не подкопаешься! Черт побери, я бы вывел ее на чистую воду, но у меня — работа, у меня — интервью.

Дверь хлопнула, я стал подниматься по лестнице. Лестница была широка, на этажных площадках можно кататься на велосипеде. Тут дверь внизу снова хлопнула. Почему-то я этому даже не удивился. И мне не надо было оглядываться, чтобы узнать, кто поднимается позади меня. Разумеется, та самая дамочка — кто же еще?!

Я остановился, вытащил телефон и сделал вид, будто отыскиваю что-то в нем или собираюсь позвонить. Скосив глаза, я увидел, что и дамочка в точности повторила мой маневр. Она не хотела обгонять меня. Она хотела идти за мной следом. Смешная, нелепая игра!

— Вы преследуете меня? — спросил я.

— С чего это вдруг? — удивилась та. — Обычно мужчины преследуют женщин.

— Ну, так идите! — сказал я. — Вы же идете куда-то?

Это вышло грубо. Да и глупо, разумеется.

— Нет уж, теперь только после вас, — ответила она вполне хладнокровно. — Откуда мне знать, кто вы такой!..

Я оставил возню с телефоном, снова зашагал по лестнице. И дамочка за мной следом. Теперь уж не таясь. Шла себе спокойно тремя ступеньками позади меня.

Третий этаж здесь — последний жилой этаж, но еще была небольшая деревянная лестница, ведущая выше. Я поднялся по этой лестнице, поискал кнопку звонка — не нашел и тогда застучал кулаком в железную дверь мансарды.

Дамочка постояла у основания этой приставной лестницы, потом стала медленно подниматься.

— Вы тоже сюда? — спросил я с некоторым ожесточением.

— Почему бы и нет? — ответила дамочка.

— Здесь — мастерская, здесь работает художник, у меня — встреча, деловая, я заранее договорился... — я стукнул еще несколько раз в дверь.

Дверь раскрылась. На пороге стоял бородатый и пузатый дядька лет шестидесяти, растрепанный и с выпученными глазами.

Художники! Ничего в них нет особенного, а повидал я их немало. Пьяницы, лоботрясы, недалекие люди, никогда ничего в жизни не сделавшие полезного, не считая писания своих картинок, но уж это за полезное я посчитать никак не могу. Даже самые знаменитые из них. Эти ничуть не лучше. Ну да ладно, это я так просто, с досады! Это я к слову!.. Дядька, стоявший передо мной, явно был с изрядного похмелья. Он шумно и плотоядно сопел и смотрел неприязненно.

— Художник Волатов? — спросил я. Что поделаешь: я — гость, мне и вести разговор.

Тот посмотрел на дамочку за моей спиной, потом на меня.

— Кто? — спросил он.

— Фамилия моя — Макаров, я на радио работаю.

— Имя как?

— Андрей, — несколько замялся я.

— Мне другое называли, — отрезал пучеглазый дядька, собираясь захлопнуть дверь прямо передо мной.

— Пойдите, — сказал я. — Вам звонила моя начальница, сначала действительно должны были прислать другого журналиста, Пигольцева Лешу, но он заболел, у него пошла кровь носом, даже «скорую» пришлось вызвать, и вот тогда отправили меня. Я ничуть не хуже, у меня есть опыт, я разбираюсь в живописи...

— Начальницу звать как?

— Тамара.

— А фамилия?

— Гневис.

— На радио работает?

— Да, моя начальница.

— Эта с тобой, что ли? — спросил он про дамочку.

— Я сама по себе, — тут же отвечала дамочка, приосанившись. — Почему я непременно должна быть с кем-то?

— И что теперь? — спросил художник с какою-то, кажется, озадаченностью.

— Да ничего! — сказал я. — Я пришел ради интервью, которое мне поручили сделать. И я его сделаю. Поскольку я — профессионал.

— А эта? — снова спросил тот.

— Знаете, просто невежливо — держать людей на пороге! — возмутилась вдруг дамочка. Она оттолкнула меня и, прошмыгнув под рукой дядьки, которой тот упирался в косяк, скользнула в мастерскую.

Мне, пожалуй, следовало бы поблагодарить ее за настырность. Потому что художник после такого вторжения впустил наконец и меня.

Мансарда, приспособленная под художественную мастерскую, была огромна, просторна, светла. Потолки под четыре метра. Окна выходили на крыши соседних домов. Но что-то в помещении мне все же показалось необычным, необъяснимым.

Не дожидаясь приглашения, я сбросил с себя куртку, достал диктофон. Здесь, похоже, вообще не следует ожидать ничьих приглашений.

Дамочка же, высмотрев скамью неподалеку, поспешила разместиться на той. Художник шагнул за дамочкой.

— Я здесь посижу, — сказала женщина.

— А вот сидеть здесь просто так не надо, — возражал пучеглазый дядька с некоторыми, пожалуй, грозowymi раскатами в голосе.

— Чего уж там! — примирительно возразила она. — Меня, между прочим, Олечкой зовут.

— А я — Игорек, — машинально отвечал дядька. — Но здесь просто так не сидят. Здесь люди работают.

— Работают, — кивнул головой и я.

— Работают, — прыснула дамочка. — И где же ваша работа?

— Сейчас будет, — сухо сказал я. — Игорек, начнем.

Художник оставил Олечку и переместился в мою сторону. Я преспокойно уселся за огромный самодельный стол, заставленный грязными стаканами, пепельницей с окурками, коим явно не давала покоя слава Эвереста; были еще там блюдо с печеньем, линейки, книги, бутылки с пивом, семечки, сухарики, рыбные очистки, некоторый художественный инструмент: кисти, карандаши, скальпели, массивная деревянная киянка и еще много-много всего в таком же духе.

— Что, начнем? — спросил он. Налил себе полный стакан пива и выпил размашисто.

Я открыл рот, чтоб ответить.

— А у меня никогда интервью не брали, — ввернула Олечка.

— В другой раз, — сказал я, не оборачиваясь в ее сторону.

— Может, тоже пива хотите? — спросил художник и сделал приглашающий жест.

Я взял другую бутылку и отпил прямо из горла.

— Игорек, — твердо сказал я, — понимаю: была трудная ночь, но сейчас уже день, надо работать, соберись, золотой! Давай поработаем!

— Давайте, — кивнул головой тот и стал грызть семечки.

Я включил диктофон.

— Вырубите эту мандулу, — неприязненно говорил художник.

— Игорек, — ласково сказал я, — я работаю на радио. На радио положено звучать. Музыка, человеческий голос, шумы — это все радио, и я все это записываю. Убери, пожалуйста, семечки, родной мой, семечки будут слышны.

Тот послушно отложил семечки и машинально потянулся за сухарем. Но наткнулся на мой твердый взгляд.

— Что, сухари тоже нельзя?

— Нельзя, — сказал я.

— Один, — попросил он.

— Один можно, — согласился я.

Я посидел, подождал, пока он догрызет сухарь.

Впрочем, я не молчал, отнюдь нет.

— Игорек, — говорил я, — это ведь не мне надо, это надо тебе, это у тебя открывается выставка через два дня — не у меня. Это тебе надо, чтобы о ней знали горожане. Мне-то ровным счетом плевать, придет народ на твою выставку или нет. Я лично на нее идти не собираюсь.

— На выставку? — насторожился вдруг Игорек.

— На выставку, — подтвердил я. — Ведь у тебя же открывается выставка через два дня?

— У меня?

— Нет, у Рембрандта. Конечно, у тебя, у кого ж еще?

— А, ну тогда конечно, — ответил тот и налил себе стакан пива.

— Ой, а я тоже пиво люблю, — сказала Олечка.

— Возьми бутылку, только тихо, и не мешай нам, — распорядился я.

Та схватила бутылку, опасаясь, должно быть, чтобы я не передумал, и убежала на свое место возле стены.

— Я только еще сухариков возьму! — тут же спохватилась она.

— Ладно, — тяжело вздохнул художник. — Врубайте свою мандулу.

— А я и не выключал ее.

— Как? — испугался тот. — Значит, все записалось? И семечки, и сухарь, и пиво?

— Абсолютно все! — подтвердил я. — «Мандуле» все равно, что писать.

— И ты там записалась! — крикнул художник Олечке. — Со своими сухариками. Поняла? Дура!

— Ой! Я ж не знала! Я не нарочно!

— Ладно, — сжалился я над обоими. — Я потом смонтирую как надо. Отрежу все лишнее.

— Слушайте!.. — встрепнулся художник. — А у меня уже брали интервью, прошлой весной, кажется. Из газеты приходили, у меня даже вырезка была, но потом я ее кофе залил — пришлось выкинуть.

— Игорек, — терпеливо сказал я, — это было год назад. Я не знаю, кто у тебя брал интервью. Если ты хочешь, чтобы я сейчас встал и ушел, я встану и уйду, и тогда на твою выставку может никто и не прийти. Напрасно ты думаешь, что твоя выставка — такое грандиозное событие, что журналисты выстроятся к тебе в очередь. Если бы не моя начальница, я бы даже не знал о твоём существовании. Да и то, мне кажется, ее решение сделать про тебя короткий сюжет было продиктовано какими-то личными мотивами, мне неизвестными.

— Выставка? — спросил художник.

— Так, — сказал я. — Может, мне дать тебе пощечину? Чтобы прочистить мозги.

— Дайте, пожалуйста, — кивнул головой мой собеседник.

Я осмотрелся вокруг. Мансарда была на моей стороне. Сам воздух казался мне здесь двоедушным, и все же ни стены, ни пол, ни воздух, ни окна не стали бы меня осуждать, что бы я теперь ни вытворил с этим чертовым Игорьком. Подлый, подлый Игорек!.. Но прав я, он не прав, это я знал точно.

Я размахнулся и залепил ему пощечину.

— Теперь понял? — сказал я.

— Можно еще одну? — попросил тот.

Я закатил ему еще пощечину.

Он встряхнул головой и сказал:

— Хорошо!.. Так что там у вас за вопросы?

— Неужели просветление настало? — закатил я глаза. — Наконец-то!

— Я бы ему еще сильнее врезала, — снова встряла Олечка. — Он же просто издевается.

— Так! — гаркнул художник.

— Тишина в студии! — повысил я голос. — Три, два, один, поехали! Я сижу в мастерской известного художника Игоря Волатова, я познакомился с ним только сегодня, но вот я зову его уже просто Игорьком, хотя он старше меня лет на двадцать пять, а то и на все тридцать, настолько он прост, человечен, естественен. У Игорька через два дня открывается выставка в одном из крупнейших выставочных залов города, и это-то стало поводом для нашей сегодняшней беседы. Игорек, откуда мой первый вопрос: что для художника выставка?

— Выставка?

— Выставка.

— Выставка — это... ну как... можно, я еще пива? Стаканчик...

— Ой, ну дурак какой-то! — воскликнула Олечка и в сердцах шлепнула себя ладонями по коленкам. — Его по радио передают, а он про пиво долдонит!

— Последняя реплика принадлежит поклоннице художника Волатова, юной леди, каковую зовут Ольга, — невозмутимо продолжил я.

— Да ну, какая я поклонница? — отмахнулась дамочка. — Я его и вижу-то в первый раз.

— Не поклонница — так чего приперлась? — огрызнулся художник. — И еще обзывается!..

— Не приперлась, а пришла. И вообще я только по паспорту Ольга, а так все называют меня Олечкой.

— Внимание! — сказал я легированным голосом. — Продолжаем. Выставка — ведь не просто возможность показать свои работы последнего времени, это всегда — взаимный энергетический обмен творца с простыми людьми, его зрителями и слушателями, это возможность непосредственного контакта, это возможность услышать, объяснить, быть услышанным, увиденным. Так?

— Что?

— Я спрашиваю: это так?

— А, ну да, наверное.

— Исчерпывающий ответ. Вообще же мне оттого так легко общаться с Игорьком Волатовым, что я и сам в юности любил рисовать, кое-что даже получалось, но вот художником я не стал, а стал журналистом. Игорек же не стал журналистом или кем-то еще, а стал художником. Но миры художественного творчества с тех самых, с юношеских лет мне по-прежнему близки. И вот мой следующий вопрос: Игорек, что ты хочешь сказать зрителю своими картинами?

Тот не ответил, налил себе стакан пива и быстро-быстро выпил его, шумно и жадно глотая.

— Картинами? — только тогда переспросил он.

— Да, картинами. Давай мы сейчас подойдем к какой-нибудь из них и посмотрим, а ты нам расскажешь, что там изображено.

Я осмотрелся. Я не увидел ни одной картины. Ни на стенах, ни на стеллажах — нигде. Может, есть еще какое-то помещение, где, собственно, и хранятся картины, — подумал я. Я только теперь сообразил, чем меня удивила здешняя обстановка, — отсутствием хоть одного холста или картона, к которым прикасалась рука художника.

— Игорек, — сказал я.

— Да?

— Где у тебя хранятся картины? Не может быть, чтобы все они были отвезены на выставку? Должно же остаться что-то, и, я думаю, должно остаться немало.

— Картин немало?

— Картин, мы же говорим о картинах, не правда ли?

— О картинах.

— И где они?

— Выкинул.

— Выкинул картины?

— Выкинул, на что они? Нет, ну не сам, конечно. Жена-подлюка! Всё вынесла, порезала, попалила.

— Все картины?

— Все-все до единой!

— Жена? Твоя жена?

— А то чья? Ваша, что ли?

— Но это ж беда, трагедия! Катастрофа!

— Конечно, трагедия! Столько лет работы, а тут раз — и все! Оглянуться не успел — а уж и нет ничего больше! Вот два дня отойти никак не могу.

— Но почему, почему?

— Это уж тебе лучше знать — почему!..

— Как это мне?

— Так тебе! А то сидит тут, вопросиками сыплет. Молоденький да хорошенький!.. Мерзавец этакий!.. А ведь это — святой человек!

— Кто — святой человек? — отчего-то с ужасом спросил я.

— То есть как это кто? — удивленно развел руками художник. — Жена моя.

— Жена? Так она ж только что подлюкой была! Она ж картины разрезала и попалила!..

— Это от горя! — твердо говорил Волатов. — От униженного духа человеческого да от переживания.

— Игорек... — растерянно сказал я.

Я потянулся к диктофону, желая его выключить. Черт с ним, с интервью, оно решительно не получалось.

— Не трожь мандулу! — заорал художник. — Пусть пишет!

Я испуганно отдернул руку и стал привставать.

— А ну — сидеть! — крикнул еще он.

Я плюхнулся на место.

— Я сейчас сам возьму у вас интервью! — отчетливо сказал художник.

— Игорек, Игорек! — испуганно захлопотала Олечка.

Я хотел было встать, отстраниться, сказать что-то моему собеседнику, объяснить, но ничего не успел, все происходило будто в замедленной съемке, но я и сам

был рабом этой же «съемки»; Волатов неторопливо взял киянку, и прежде чем он ударил меня ею по темени, у меня зазвенело в ушах, пошла носом кровь, замелькало перед глазами, я ощущал себя как будто бы я был под водой, на большой глубине, и у меня уже нет ни сил, ни воздуха, чтобы вынырнуть оттуда.

Я не помню, чтобы я терял сознание. Но очнулся сидящим на скамье, там, где прежде сидела Олечка, руки у меня были связаны сзади (скотчем, сразу сообразил я), голова почти не болела, болела спина. Кажется, там была даже кровь, я упирался позвоночником во что-то острое, в гвоздь или крюк в стене.

— Пива, — глухо сказал я.

Волатова я увидел не сразу, он ходил весь растрепанный, и рубаха была раздернута на нем едва ли не до пупа. Может, мы с ним дрались? Нет, этого я не помнил.

— Налей ему, — велел он Олечке.

Та беспрекословно бросилась выполнять указание художника.

Я махнул несколько глотков с жадностью, больше же пить не мог.

Грудь моя была в бурой запекшейся крови, увидел я.

Волатов подступил ко мне с диктофоном, который он засовывал мне едва ли не в рот.

— Сам будешь рассказывать или вопросы задавать наводящие? — грозно спросил он.

— Послушайте... — слабо сказал я.

— Мандула тебя слушает, — ответил тот. — Ей все рассказывай!

— Не надо так близко держать, — попросил я. — Звук выйдет некачественный.

— Некачественный? — вздохнул он и отвел диктофон подальше. — Нам нужен качественный. Ну, что — вспомнил?

— Что вспомнил?

— Белоостров, например.

— Белоостров?

Размахнувшись, он ударил меня в скулу. Я взвыл. Но не от удара, гвоздь (или крюк) сзади впился мне в спину, именно он вызывал мои страдания. Олечка, стоявшая позади Волатова, вздрогнула, как будто ударили ее.

— Дождь, Белоостров, третьего дня... — настаивал художник. — Сильный такой дождь!

— Да, третьего дня был дождь, — припомнил я. — С утра и до ночи.

— И синий «пежо»!..

— Синий «пежо»?

Он снова ударил меня.

— Не бей его, Игорек, не надо, — тихо попросила Олечка.

— Белоостров, шоссе, дождь, синий «пежо» и ты за рулем, вспомнил?

— Дождь, да, дождь! Но не Белоостров — дом.

— Третьего дня? Где ты был третьего дня?

— Дома. Был дома, смотрел на дождь.

— Почему дома — не на работе?

— Болел, был болен!.. Хотел пойти, но потом...

— Кровь пошла носом?

— Пошла.

Волатов ударил меня сильнее прежнего. Я глухо застонал. Я приподнял руки за спиной и ухватился за торчащий из стены гвоздь. При следующем ударе художника тот мог бы проткнуть кожу и мышцы и пробить мне, положим, легкое. Я ощутил гвоздь, у того была сбита шляпка, и еще был заусенец, очень острый, именно он рассадил мне спину в кровь.

— Дождь, шоссе, ты за рулем, и на обочине — она, хрупкая, слабая, беззащитная, промокшая. Я сказал ей, чтобы она шла на автобус, но тогда надо было возвращаться километр под дождем, и она решила ловить машину. Ты проехал мимо, но потом остановился, сдал назад, предложил сесть. Вспомнил?

— Да-да, — зажмурившись, говорил я. — Беззащитная, промокшая, да.

— Во что была одета?

— Не помню. Кажется, плащ. Или — легкая куртка. У меня плохая память.

— Ну, конечно, ведь люди для тебя — мусор! Ведь так? Какая разница, во что они одеты?!

— Да, я не люблю людей, не люблю! Не могу их любить!

— Несомненно, ведь ты за рулем своего «пежо», а кругом дождь, а ты работаешь на радио, и поэтому ты считаешь себя королем жизни, ты можешь врываться в чужие судьбы и ломать их.

— У меня нет никакого «пежо».

— А дождь был?

— Дождь был.

Художник задумался.

— Тем хуже! Значит, «пежо» не твой. Ты — циничный охотник, ты подготовился заранее, ты взял чужую машину, ты искал, кого бы подвезти, такую вот чистую, доверчивую, юную женщину. Чтобы потом воспользоваться ею. И ты воспользовался! Так?

— Не знаю, не помню! Был дождь, я сидел дома.

Я боялся, что он меня снова ударит. Я обдирал скотч о заусенец, я хотел вовсе его разодрать.

— Так? — крикнул художник.

— Я вспоминаю, я пытаюсь вспомнить!.. — забормотал я.

— Игорек, ну зачем, зачем ты его мучаешь! — вступилась вдруг Олечка. — Что он тебе сделал?

— Она села рядом, и это была ее ошибка. Это ты ей велел сесть рядом? Говори! Говори! Чтоб мандула слышала!..

— На заднем сиденье...

— Что?

— Были коробки.

— Что в коробках?

— Ничего.

— Значит, коробки были пустыми, но она-то, бедняжка, этого не знала. Это ты подстроил заранее. Подлец, подлец!.. И она вынуждена была сесть рядом с тобой.

— Рядом со мной.

Скотч, кажется, начал поддаваться. Только бы художник не бил меня снова.

— Вы поехали...

— Поехали...

— Ты был говорлив, ты всегда говорлив!..

— Говорлив.

— Это-то ты умеешь! Профессионал! Ты включил музыку, в машине было тепло и сухо, ты положил ей руку на колено. Она попросила тебя убрать руку. Попросила?

— Попросила.

— Ты убрал руку?

— Убрал.

— О, да, ты убрал руку, ты не был слишком нагл, ты решил не торопиться. Ты все равно был уверен в своей победе. Ты был уверен?

- Был.
- Ты говорил, что работаешь на радио, и даже назвал волну. Назвал?
- Назвал.
- Вот. Это было неосторожно. Но ты всегда слишком уверен в собственной безнаказанности. Ты даже имя свое назвал. Ты назвал свое имя?
- Назвал.
- Какое?
- Не помню, не помню, забыл!..
- Конечно, не помнишь. Ведь ты его выдумал. Ты назвал не своим именем. Именем своего коллеги или приятеля. Ты свернул с шоссе на глухую дорогу. Там машин практически не бывает. «Куда мы едем?» — спросила тебя несчастная женщина. Что ты ей ответил, ну?
- «Так, просто едем!..» — ответил я.
- «Здесь объезд, впереди ведутся работы», — ответил ты.
- Да, я так ответил.
- Потом ты остановил машину... далеко от шоссе.
- Остановил.
- О, ты, конечно, не применял силу. Ты выше заурядного насилия, заламывания рук, разрывания одежды. Ты был мягок, но настойчив, очень настойчив. У бедняжки просто не было выбора: если б ты ее выкинул из машины, она пропала бы в таком глухом месте. И ты... ты... подлец... добился своего, ты ею воспользовался, мою женой, мою красавицей, моей единственной радостью!.. Так? Так? Говори! — страшно вскричал тот.
- Мандулу, — прошептал я. От скотча оставались уже лохмотья, чувствовал я.
- Что?
- Поднесите поближе. Я хочу сказать прямо в микрофон.
- Он подошел совсем близко, он склонился надо мной.
- Ну!..
- Сейчас-сейчас!.. — я набрал полную грудь воздуха и сказал тихо, но отчетливо: — Я не был третьего дня в Белоострове, я никогда не видел вашей жены!
- Тут я рывком освободил руки, стена мне мешала размахнуться, и я размахнулся, как смог, и изо всей силы ударил художника в лицо, в переносицу. Кровь хлынула у него из носа, я вскочил и еще раз ударил его сбоку, Олечка аж подпрыгнула на месте от неожиданной моей атаки, но, кажется, она была на моей стороне, и мансарда же... мансарда... да, она, наверное, тоже радовалась освобождению от многомесячной, многолетней тирании волатовского сумасшествия (а здесь было сумасшествие, я в этом не сомневался). И мансарда была за меня. Художник стал валиться от моих ударов. Быть может, оттого, что он был все-таки изрядно пьян, но я не дал ему упасть. Я схватил его за рубашку и развернул, я хотел усадить его на свое место и скрутить. Может, тоже связать руки скотчем. Но совершенно забыл про гвоздь в стене. Я толкнул его на скамью, он буквально рухнул на стену, напоролся на гвоздь, вдруг коротко ойкнул, захрипел и застыл. Диктофон упал на пол. Через несколько мгновений изо рта его потекла кровь. Крови было немного. Голова художника опустилась.
- Ты убил его, — прошептала испуганная Олечка. Она стояла у меня за спиной.
- Я замер.
- Ты видела, он был сумасшедший, он хотел убить меня, ты подтвердишь, если что, — сказал я.
- Да, — сказала она. — Видела.
- Что-то надо делать, надо что-то с ним делать!..

Я подобрал диктофон. На столе лежали мой бумажник, мой телефон, очки.

— Я позвоню, — сказал я.

Я быстро отыскал номер Тамары. Она долго не снимала звонок, я стоял, я нервничал.

— Тамара! — наконец крикнул я. — Скажи, только честно, зачем ты меня отравила к этому твоему Волатову? Он, что, тебе или мне — кум, сват, брат? Ведь он невменяемый!..

— Лешка, я же Андрюху Макарова послала, ты все-таки сам поехал? — ответила Тамара. — Тебе уже лучше?

— Это не Лешка, это — Андрюха. А Игорек твой набросился на меня, я тут чуть кони не двинул по твоей милости.

— Так, Пигольцев, — несколько суше сказала Тамара. — Во-первых, я на радио тридцать лет работаю, и делать из меня дуру, которая не отличит твой голос от Андрюхиного, не надо. Во-вторых, Игорька я знаю с пятнадцати лет, и он даже муху не способен обидеть.

— Я не Пигольцев! Я — Макаров, Макаров!.. — крикнул я. — Он был пьян, Волатов твой, он набросился на меня, обвиняя, что я изнасиловал его жену. Я теперь весь в крови, он меня чуть не прикончил!..

— Леша, жена Волатова умерла десять лет назад, и с тех пор у него не то что жены, но даже и женщины, думаю, не было. Все, извини, у меня совещание. После поговорим!

— Последний вопрос! — крикнул я.

— Ну, — сказала Тамара.

— Я был третьего дня в Белоострове?

— Забыл, что ли? В Белоостров как раз Андрюха Макаров ездил, не ты! Отличный материал оттуда привез, кстати. Завтра в эфир пойдет! Все, пока!

Я стоял неподвижно. Я не знал, что сказать или подумать. Мансарда, эта проклятая мансарда подобрала меня под себя, она изогнула меня, перевернула, перекорежила, поставила на другие рельсы. Мне уж никогда не выйти отсюда непереиначенным, непереплавленным, непоработанным.

Олечка прижалась ко мне сзади.

— Лешенька, — сказала она, — ты правда меня не помнишь?

Я медленно обернулся.

— Я на два курса младше была, потом вообще университет бросила. А ты вот теперь знаменитость!.. И еще вечер новогодний, помнишь? Мы целовались!.. Как же было замечательно!.. Я ведь любила тебя. Я, это — я, Олечка Заикина! Теперь вот — Волатова. Лешенька!..

— Заикина? Волатова? — растерянно спросил я. — А что ж про тебя тогда Тамара не знает?

— Тамара — моя тетка родная, мы скрывали от нее, мы от всех скрывали, никто не знал. А Игорек еще как выпьет, так тоже начинает: кто ты такая, мол? Я знать, мол, тебя не знаю! Так вот и жили! Но вообще-то он, как говорится, боготворил меня. Пылинки сдувал. Последняя любовь Пикассо.

— А картины его, значит, ты попала? —

— Да сам он. Всё во двор вынес, на куски порезал, сложил аккуратно да и пожег. Потом сидел, плакал, а я его утешала. Что с человеком делается? Старость, наверное.

Тут захрипел Волатов, мы с Олечкой разом обратились в его сторону. Он заерзал на скамье и вдруг с коротким стоном сдернулся с гвоздя, на который он и впрямь напоролся изрядно. Скамья была в крови, густой, почти черной. Волатов стал на карачки и медленно пополз в нашу сторону.

- Пива дайте, сволочи!.. — болезненно сказал он.
- Дай ему пива, Лешенька, — велела женщина.
- Я налил полный стакан пива и понес Волатову.
- Погоди! — строго сказала Олечка.
- Я застыл на месте, двух шагов не дойдя до художника. Олечка подошла к нам обоим.
- Игорек, ты понимаешь, что ты вел себя как жалкая чушка? — сказала она.
- Понимаю, — шепнул художник.
- А ты понимаешь, что я не стану жить с жалкой чушкой, а стану жить только с сильным мужчиной, а ты не сильный мужчина, а жалкая чушка, а сильный мужчина — Лешенька, ты понимаешь?
- Понимаю, — снова шепнул тот.
- Точно понимаешь?
- Точно.
- Тогда скажи: гав!
- Гав, — сказал художник.
- Еще, — сказала Олечка.
- Гав-гав! — сказал художник.
- Дай ему пива, — позволила Олечка.
- Пиво Волатов выпил с жадностью. После бросил стакан на пол.
- Вот, Лешенька, теперь ты — художник, — сказала Олечка, снова прижимаясь ко мне. — Ты любил рисовать раньше, вот и рисуй. Рисуй себе спокойно — не думай ни о чем! Живем мы здесь тихо, скромно, никого у нас, почитай, не бывает. Ты будешь картины писать, много-много картин, и мы станем говорить, что это картины художника Волатова. А я тебя любить буду!.. Я ведь такая верная, ты даже не знаешь, какой я верной могу быть, Лешенька, Лешенька!
- А со мной что сделаете? — глухо спросил художник. — На куски порежете?
- А ты работать вместо Лешеньки пойдешь. Скажем, что он заболел, кровь у него носом идет, вот ты его и замещаешь. Ты хоть и дурачок, но ты справишься! Ты уж умеешь брать интервью. Понял, что ль?
- Гав, — сказал Волатов.
- Ты-то, Лешенька, как? Ты-то согласен?
- С чем?
- Художником быть. Возьмешь меня в свои самые-самые верные жены? Свою милую-милую Олечку!.. Мы будем всегда вместе, и нам будет хорошо-хорошо! Как в тот вечер, когда мы с тобой целовались, Ведь так, Лешенька, так? Ты возьмишь меня, Лешенька?
- Гав, — сказал я.
- И выключил диктофон.

Валерий СКОБЛО

* * *

Безначального Хаоса слуги —
ЖКС, Бриарей, Эфиальт —
Все кругом раскопали в округе.
Чем мешал еще крепкий асфальт?

Как хозяин их, дики и грубы,
Чей слышали грязный навет?
Извлекли проржавевшие трубы,
Сотни лет не выдавшие свет.

Отключили и воду из крана,
И тепло... Ты возьми с них отчет!
Все копают они неустанно —
Видно, Тартар родимый влечет.

* * *

Я в жарком мареве стоял, потупив очи,
На пике мирозданья... самом дне,
У Западной стены... Восточной нет и прочих,
Не ощущая Бога в вышине.

Я был растерян. Рассуждая здраво,
Тут не решишь: вершина или дно.
О чем просил?.. Оставим это, право.
Не на вербальном уровне. Смешно.

Валерий Скобло — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил матмех ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Сборники стихов «Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле», «За тайной печатью». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Финляндия, Эстония и др.) литературной периодике. Основные публикации последних лет в журналах «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литературная газета», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Сибирские огни», «Слово\Word», «Урал» и многих других. Стихи для детей — в журнале «Костер» и «Чиж и Еж», переводы — в журналах «Таллинн» и «Иные берега». Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (2013 и 2016), дипломант литературной премии им. А. А. Ахматовой (2015). Живет в Санкт-Петербурге.

Не знал, где я и сколько мне осталось...
Дохнуло ветерком — и что он смог принести:
Любовь, и милосердие, и жалость...
Как будто бы Он в этом мире есть.

* * *

Из семидесяти лет богоборческой дьявольской власти
Сорок я ухватил — натурально, мон шер, повезло.
Монпансье я вкусил, и «помадку», и прочие сласти.
Алый галстук на шею вязал пионерским узлом.

Утром слушал, как встану, по радио вечную «Зорьку».
Удивлялся, что в школе не так, как в газете, порой.
Если дома ругали за редкую, в общем-то, двойку,
Думал: Родину предал... мне место в могиле сырой.

Я от «Ленинских искр» так балдел, октябренок читая,
«Пионерскую правду» в сортир отнести б не посмел.
Я за негров Америки и за рабочих Китая
Просто душу отдал... если б верил в нее и имел.

Но — уж что хорошо — пусть и было на свете всех краше,
Не мечтаю вернуть и не ставлю детишкам в пример.
Провались оно пропадом, детство счастливое наше.
Вот что значит — свезло, привалило мне счастье, мон шер.

ОТРЫВОК ИЗ ДРЕВНЕЙ РУКОПИСИ

...Срединный путь пройдет среди земель
Людей плешивых и собакоглавых.
Он в этой части несколько недель
Займет в местах, где левых нет и правых.

Затем увидишь, как Аллах акбар
И Шамбалу в сияющей лазури,
Всю медную, как тульский самовар,
Махатм, снующих взад-вперед, до дури.

Ты проклянешь сто раз срединный путь:
Все чуждо... все не кажется знакомым.
А встретишь Одиссея, не забудь
Спросить про спор Афины с Посейдоном.

Потом узришь неимоверный свет,
Увидишь горних ангелов в эфире.

...Но непонятно, кто во что одет,
И не Платон поведает о пире.

* * *

С возрастом — это обычно... я уже так привык —
Вслушиваешься в речь, это вроде такой отмычки,
Поскольку понял: Человек — это его язык,
А не характер, склонности, внешность или привычки.

Все обороты словесные больше мне говорят,
Чем созерцанье субъекта в развитии плавном.
Если внимательно вслушаться... если поставить в ряд...
Просто уверен, что не ошибаюсь я в главном.

Так надоело настойчиво вглядываться в себя
Или других — все равно, мне-то, по крайней мере,
Что перестал навсегда я, память свою теребя,
Переживать снова ошибки свои... потери.

Кто-то, кто кажется, прожил многие тысячи лет,
Мной узнаваемый в каждом обличье новом,
Один из тех нескольких, слушающих мой полубред,
Рядом стоит. Не умею назвать его словом.

Некто, отрабатывающий на мне приемы ушу,
Разнообразящий жизнь мою, скрытый под маской...
Этот. Тот, кому интересно то, что я напишу,
Снова толкает под руку,
Но никогда не унижает подсказкой.

* * *

Долго живу, и совсем не проходит сплин
И ощущение, что жил и живу убого.
Я сочиняю, как древний степной акын,
Лишь, о чем вижу, но вижу совсем немного.

Только об этом замшелом, земном пою.
А о небесном — ни зрения нет, ни слуха.
Я позабыл бы про горькую жизнь свою,
Но о другом не умею. Пробовал... глухо.

Ну, не дано. И о чем говорить? Прости.
Все же раскаянья нету во мне и страха.
Все, что обрел я, так и сжимаю в горсти —
Горсточку праха земного... ветхого праха.

...ЧТОБ Я ТЕПЕРЬ ИХ ПРЕДАЛ?!

Слезами залит весь мир безбрежный... —
Как точно! — вот именно что слезами.
И сколько страждущих с напором прежним
С погибельной темы бы не слезали.

С ног отринем прах старого мира —
Мы с детства все помнили это... знали.
Про гром святой мести, царя-вампира,
Про злого деспота в роскошном зале.

Мы кровью купим детишек счастье,
Пусть злобно шевелится враг во мраке...
Мсть супостатам! Порвать их на части!
Пускай подохнут они, как собаки!

Что называется: смерть тиранам!
И шагом железным по всем дорогам
Несут легионы бойцов по странам
Мир хижинам и погибель чертогам!

...А ведь когда-то, во время оно,
Была же во всем этом капля правды...
И вторя словам моим, в такт синхронно
Мне слушатель шепчет: «О, как же прав ты,

Настанет царство добра и света,
Когда мы восстанем с тобой из плена...»
Изменилась сильно с тех пор планета —
Как же осталась она неизменна!

Не больше нынче земли и воли,
Людей из мрамора, людей из стали...
Но все ж различинцы не для того ли
Сто пар башмаков своих истоптали?

Ирина ГОРЮНОВА

СКАЗКИ
ДЛЯ ФОНАРЩИКА,
СТРЕЛОЧНИКА
И ДРУГИХ
ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ

Может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь — как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво.

*Антуан Де Сент-Экзюпери.
Маленький принц*

Фонарщик

Когда Фонарщик зажигал свой фонарь, мир становился ярче и прекраснее, словно в тот миг рождалась новая маленькая вселенная или загоралась звезда. А когда он его гасил — вселенная или звезда засыпали до утра или до новой жизни. Мы же не будем говорить о том, что они умирали. И кто знает, как оно происходило на самом деле, если мы не были этими вселенными и звездами?!

Шло время. Планета Фонарщика крутилась все быстрее и быстрее, ему все чаще и чаще приходилось зажигать и гасить свой фонарь, и прекрасное волшебство превратилось в рутинное, выматывающее и раздражающее занятие. Но Фонарщик не мог ничего изменить, он был верен своим традициям, принципам, в конце концов, своему слову, которое сам себе когда-то дал! Разве можно предать самого себя? Немыслимо!

Когда-то Фонарщика посетил Маленький Принц, давший ему безумный совет: постоянно идти вперед, чтобы не гасить фонарь. Мальчишка! Что он понимал! К тому же если оставаться все время на солнце, то запросто можно получить солнечный

Ирина Горюнова — поэт, прозаик, драматург, критик. Окончила ВЛК при Литературном институте им. А. М. Горького. Печаталась в журналах «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Крещатик», «Литературная учеба», «День и ночь» и других, автор многих книг. Живет и работает в Москве.

удар и солнечные ожоги! А как мечтательно он смотрел на восходы и закаты солнца! Глупый романтик! Если бы он знал, как они осточертели Фонарщику за все эти годы!

Кто-то из путешественников потом рассказывал Фонарщику о том, что Маленький Принц посещал Землю и что-то на ней искал и то ли нашел, то ли нет, то ли вернулся на свою планету, то ли умер — Фонарщик не помнил, потому что страдал кратковременной амнезией, а может быть, ничем не страдал, а просто умело приговаривался. Более того, иногда ему снилось, что он сам и есть Маленький Принц, только очень разочарованный в жизни, в людях и в розах, и есть шанс, что в змеях и в лисах тоже... Со змеями в принципе все как-то проще и понятнее, а вот с лисами, тем более желающими, чтобы их приручили, такая морока! Сначала они об этом грезят и клянутся наслаждаться своей несвободой, а потом начинают тебя боготворить, страдать от зависимости и плакаться об этом всем, кто попадаетея им на пути... Разве это не глупо и не бессмысленно? Еще как! После нахлынувших подобных мыслей Фонарщик вздыхал, пожимал плечами и раздраженно гасил фонарь.

Но как-то раз он на минутку забылся, заснул, и ему пригрезился странный сон. В нем он встретил Ее, ту, от которой не мог отвести глаз, ту, к которой стремилось его сердце. Она рассказывала ему сказки, дарила солнечных зайчиков, морскую пену, поцелуи ветра, поцелуи цветов... Он слушал и не хотел просыпаться, потому что знал: стоит ему это сделать, как она исчезнет, ведь ему придется погасить фонарь. Она отдавала ему свои часы и дни, свою силу и радовалась тому, что его фонарь горит, тому, что на свете появилась новая вселенная. Фонарщик испытывал неведомые доселе чувства, но в то же время томил страх: он боялся изменить своим принципам и выглядеть перед собой пустышкой, тем, кто не заслуживает доверия...

У этой сказки нет одного конца, потому что у каждого Фонарщика всегда есть выбор: позволить жить новой вселенной или остаться человеком слова, проснуться и потушить фонарь, чтобы потом зажечь его снова... Неважно зачем, просто потому, что так положено...

А еще можно послушать Ее сказки, прежде чем сделать этот выбор. И послушать свое сердце... Потому что долг, традиции, принципы не нужны, если нет главного — любви.

Стрелочник

Жил да был Стрелочник. Где данный господин жил и был, он не знал и сам, поскольку единственное, что его интересовало, — переводить стрелки. Это было его любимым занятием. Он переводил стрелки на железнодорожных путях, переводил стрелки в часах и просто переводил стрелки там, когда и где ему это удавалось.

Он отправлял в разных направлениях поезда и пассажиров, ехавших в его вагонах, отправлял к определенному времени людей в те места, куда им было надо или даже совсем не надо попасть, отправлял кого-то куда-то и с кем-то решать какие-то вопросы, хотя и сам не знал, зачем он это делает. Может быть, в этом было его призвание, предназначение, или каприз его природы, или что-то еще, до поры скрытое от разума.

Когда-то давно Стрелочник был как все люди. Родился в любящей семье у папы с мамой, потом ходил в школу, учился, первый-второй-третий раз влюбился, но как-то в целом ему не слишком везло. Родители его считали, что мальчик рожден для того, чтобы стать им в старости утешением, поддержкой и опорой, поэтому обращались с ним весьма строго и редко были им довольны.

Первые стрелки он начал переводить именно тогда. Стремился пораньше уйти в школу и избежать нудных нотаций или, наоборот, решал попозже вернуться домой... Потом, когда приходилось объясняться с предками и доказывать им, что оценка в школьном аттестате или порванная одежда не его вина, а учителя Ивана Петровича или хулигана Кольки... В железнодорожный институт ему все же пришлось поступить, потому что так хотел отец, а до этого (потому что так хотела мать) Стрелочник окончил музыкальную школу по классу скрипки.

Первый раз он взбунтовался в период своей первой сильной влюбленности. Тогда даже перевелся на вечернее отделение, пошел работать и снял квартиру, чтобы родители прекратили постоянно вмешиваться в его жизнь. Увы, первая любовь развеялась, равно как и вторая, третья... Честно говоря, любимые женщины причиняли ему только боль. Стрелочник страдал, ревновал, прощал, унижался, но в итоге Они уходили, а Он оставался один, с разбитым сердцем.

Родители старели, требовали заботы, и Стрелочник не мог им в этом отказать, поэтому на какое-то время смирился, а после их смерти с методично разумным подходом выбрал себе жену, в чем-то похожую на мать, и устроился работать стрелочником на железнодорожный вокзал. Он приобрел привычку разговаривать сам с собой и часто бурчал себе под нос: «Едут куда-то, едут, а зачем едут? От себя не убежишь, нет на земле места, где ты перестанешь быть собой и сумеешь все начать заново. Сказки это, глупые сказки».

Конечно, когда порой видел в окнах проходящих мимо поездов любопытные детские рожицы, в сердце нечто екало и ему тоже хотелось куда-то ехать, мчаться, рассматривая мир из окна вагона. Порой, забывшись, он даже делал несколько шагов в сторону касс дальнего следования, но тут же спохватывался и срочно переводил стрелки, иногда даже много стрелок, — тогда его отпускало...

Ангел

Иногда Стрелочнику снилось, что был ангелом. Он вспоминал, как любил смотреть на звезды, летал по ночам во сне, путешествуя по самым разным мирам, купался с дельфинами в море, разбрызгивая руками серебро лунной дорожки, задорно и во весь голос хохотал... Ему чудилось, что когда-то он искал вместе с друзьями в таинственном заброшенном доме клад, но вместо этого они нашли дверь в иной мир, куда бесстрашно шагнули и вернулись обратно только после невероятных приключений...

Ему снилась Та, Единственная, которую встретил в одном из путешествий во сне и которую по глупости и неосторожности потерял. Помнится, тогда испугался, что она ненастоящая и что, когда проснется, окружающая действительность окажется слишком реальной, а он просто этого не перенесет. Иногда, когда сильно любишь, проще забыть про это, спрятав голову в песок и немного переждав, чем испытывать мучительную боль собственной беспомощности, видя, как Она уходит, а ты не можешь ее остановить...

Ему было страшно не соответствовать самому себе, страшно смотреть в зеркало и видеть, как свет в глазах сменяется болью тьмы. Он был разумным мальчиком с развитым чувством самосохранения, поэтому в очередной раз предпочел перевести стрелки. И не замечал, как его крылья облетают, в то время как у кого-то другого благодаря переведенным стрелкам они начинают расти.

Бедный маленький ангел! Он так хотел испить живой родниковой воды, но боялся зачерпнуть требующуюся ему для утоления жажды влагу из стоячего болота!

Кривые зеркала

Стрелочник не знал, что ему приходится жить в мире, где все зеркала кривые и показывают не то, что есть на самом деле, а нечто иное. Настоящие же зеркала, наоборот, клеймились «кривыми», считались браком и по возможности уничтожались.

Стрелочник был небогат, поэтому доставшееся по наследству зеркало именовалось, увы, «кривым», показывая какие-то неправильные и раздражающие картинки, а приобрести новое не хватало средств: имелись у него и более насущные нужды. Впрочем, утешался тем, что на самом деле выглядит иначе: гораздо моложе, стройнее, выше и импозантнее. Время от времени ему удавалось заглянуть в «правильные» зеркала своих более обеспеченных друзей, и там показывали довольно приятного молодого человека романтической наружности: стройного, с внимательным и вдумчивым бархатистым взглядом и благородной осанкой.

Честно говоря, на друзей и знакомых тоже оказывалось гораздо приятнее смотреть не прямо, а через зеркало. Впрочем, для ежедневного ношения как на улицах, так и в помещениях всем жителям планеты правительство милостиво и заботливо прописало бесплатные розовые очки. Оказаться в публичном месте без них не то чтобы не позволялось, но считалось признаком дурного тона. Единичные бунтари, решающиеся на подобные дерзости, тут же подвергались либо язвительным насмешкам, либо их просто не замечали, словно перед розовоочковцами находилось пустое место, а не живой человек из плоти и крови.

Собственное зеркало Стрелочника пугало. Казалось, в нем таится нечто опасное, дерзкое и бунтарское, способное нарушить спокойное течение жизни благопристойного гражданина и черт знает куда его завести. Поэтому старался подходить к нему как можно реже, а порой даже пробегал мимо него резвой трусцой, опустив глаза вниз, а то и вовсе зажмурившись.

Двойник в зеркале

Однажды он все-таки замечтался и встретился со своим Двойником в зеркале.

— И тебе нравится так существовать? — спросил Двойник.

— Жить, — педантично поправил его Стрелочник.

— Э, нет, братец, это не жизнь, — возразил тот. — Ты существуешь, как Премудрый Пескарь, сказку о котором проходил еще в школе.

— Не преувеличивай, — скривился Стрелочник. — Много ты понимаешь, если живешь даже не в реальном мире, а в Зазеркалье.

— Иногда со стороны видно гораздо лучше, поверь. А еще я вижу, как опадают твои крылья, словно деревья осенью, теряющие листву...

— Ты поэт и романтик, — заметил Стрелочник.

— Ты тоже, — ответил грустно его двойник из Зазеркалья, — только ты этого не помнишь.

— Возможно, так лучше.

— Лучше? Разве может быть лучше птице без крыльев, если они даны ей природой? Вспомни, как ты упивался миром, его красотой и тайнами!

— А потом просыпался и плакал в подушку, прятал слезы, синяки, поруганную гордость, чтобы их никто не увидел и не смог наддаться побольнее... Когда тянешься к людям и предлагаешь им свое сердце, они воспринимают его как мишень, в которую можно очень ловко метать отравленные дротики. Я против.

— Просто ты был слаб, боялся, не умел прощать, не верил в свою силу, но мог бы это преодолеть и стать счастливым!

— Счастливым? Как? В чем? Купаясь с дельфинами в море? Я уже счастлив. Я живу спокойно, без тревожений, работаю, перевожу стрелки и не хочу другой жизни... Все остальное — миф, придуманный для блаженных романтиков, всю жизнь бродящих в зазеркальных лабиринтах... — произнеся эту фразу, Стрелочник насупил, отвернулся от зеркала и пошел прочь.

— Поймай, — закричал Двойник. — Я расскажу тебе одну историю!

Мечта

Жил да был странный суслик с большими синими глазами. Он очень хотел увидеть море, хотя и не знал, что это, но морем бредил. Чтобы его найти, однажды суслик собрался в дальний путь. Долго скитался странный суслик по миру, истрепал свою красивую шелковистую шкурку так, что она висела лохмотьями, и от всей красоты у него остались только огромные синие глаза. Но однажды, подойдя к краю скалы, суслик наконец увидел море. Оно было огромным, безбрежным и красивым, как сама жизнь. И суслик остался на этой скале, чтобы каждый день видеть свое море: то ласковое и тихое, как поцелуй мамы, то грозное и бушующее, как рык льва. Изо дня в день любовался суслик морем и был счастлив.

Но как-то к подножию скалы приплыл прекрасный дельфин. Его кожа серебрилась в лунном свете, и он казался каким-то сказочным, мифическим существом.

— Привет, — сказал дельфин.

— Привет, — ответил суслик.

— Что ты тут делаешь?

— Живу. На море смотрю.

— Хочешь, я покатаю тебя на своей спине по волнам?

— Хочу.

— Прыгай ко мне. Я поймаю, — предложил дельфин.

— Но я разобьюсь... — испугался суслик.

— Ты не разобьешься, я поймаю тебя! — успокоил дельфин.

— Нет. Я боюсь, — покачал головой суслик.

— Жаль, — ответил дельфин и уплыл.

Суслик долго смотрел на море и вздыхал, из его прекрасных глаз катились огромные соленые слезы. И тут суслик понял, что у каждого обязательно должна быть мечта, ведь если тебе больше не о чем мечтать, значит, ты уже не живешь... Тогда суслик собрал маленький мешочек со своим нехитрым скарбом да и ушел обратно, туда, где жил раньше. Когда же у суслика появились дети, он часто рассказывал им про море и дельфина, и в синих глазах маленьких сусликов великой мечтой плескалось синее-пресинее море.

— Что за чушь! — рассердился Стрелочник. — Мечтающие о море суслики! Это, конечно, оригинально, но абсолютно неправдоподобно, нежизненно и вообще бестолково! Давай теперь я расскажу тебе другую историю!

Львиная страсть

Жил да был на свете мудрый и прекрасный лев. Ему было очень скучно, потому что он обладал даром пророчества и знал многое из происходящего на земле.

Он видел, как сталкиваются и тонут корабли в море, как ликующие птицы танцуют в воздухе любовный танец, и вдруг одна из них падает, подстреленная безжалостной рукой умелого охотника, а другая кидается на острые скалы грудью, чтобы покончить с безбрежной тоской отчаяния...

Многое, очень многое видел мудрый лев, однако сердце его было холодным как камень. Лев убивал животных, чтобы насытить себя, и никогда не плакал над своими жертвами, но и никогда не убивал ради развлечения. «Просто так устроена жизнь, — думал лев, — и в этом нет совершенно ничего противоестественного».

Однажды он встретил грациозную серну и не убил ее, потому что как-то совершенно «не вовремя» посмотрел в ее прекрасные влажные, полные страха глаза и влюбился. Серна же дрожала от ужаса.

— Не бойся.

— Почему?

— Я люблю тебя.

— И ты не убьешь меня?

— Нет.

— Никогда?

— Н-никогда, — чуть-чуть запнувшись, ответил лев.

Серна посмотрела льву прямо в глаза и поняла, что он говорит правду. Ей льстило то, что такой могучий и сильный зверь отдал ей свое сердце, и она осталась. Лев сочинял ей стихи, и его гордый влюбленный рык разносился далеко-далеко, оповещая всех о великой любви, такой странной и неожиданной. По ночам они вместе смотрели на звезды, и серна засыпала, доверчиво положив нежную голову на сильное плечо могучего царя зверей.

Однажды, когда лев был на охоте, серна встретила прекрасного оленя с ветвистыми рогами и влюбилась в него. Олень тоже полюбил молодую грациозную серну. Они ушли вместе.

Когда лев вернулся, то сразу понял, что его обманули. О, этот рык был поистине страшен! Лев рычал так, что содрогались деревья, а окрестные звери тряслись от ужаса в своих ненадежных убежищах.

Прошло время. Лев охотился. Ему очень хотелось есть. Загнав молодую серну, он прыгнул и приблизил свою страшную пасть к ее шее, туда, где теплится и бьется под кожей кровь, пульсируя и перетекая упругой жизненной силой. Он посмотрел жертве глаза и увидел свою бывшую возлюбленную.

— Ты сказал, что никогда не убьешь меня, — прошептала в ужасе серна.

— Я солгал, — усмехнулся лев и впился ей в горло зубами. — Я солгал, любимая.

— Да, бывает и так, — согласился Двойник, — но и у льва, и у серны был выбор. Они оба могли поступить по-другому, и не один раз.

— Действительно так считаешь? Ты ошибаешься. Есть только один закон, закон природы, закон эволюции: выживает сильнейший, — скривился Стрелочник.

— Даже подчиняясь закону природы, мы можем стать выше него, — грустно улыбнулся Двойник.

Последний подарок

Старой обезьяне было грустно и одиноко. Она стыдливо прятала свою потертую и облысевшую спину в тени листьев дерева, на котором притулилась, стараясь стать маленькой и незаметной. Она понимала, что зажилась в этом мире, но ничего не могла с этим поделать и влачила свое существование, как умела. Молодые обезьяны не считались с ней, предпочитали дразнить и делать любые мелкие пакости. Стараясь не доводить молодое поколение до греха, обезьяна пряталась на окраине, в густых и разросшихся листьях вековых деревьев, которые помнила еще ребенком, а это было очень давно. Теперь же с трудом удавалось добывать себе еду, так как старые руки дрожали и иногда срывались с веток, не удерживая потяжелевшее и обрюзгшее тело, да и покрасневшие подслеповатые глаза подводили все чаще и чаще. А молодые шалуны, как нарочно, ловили момент, когда обезьяна с трудом добиралась до вожделенного банана или другого плода: они с хохотом срывали его, ловко выделывая кульбиты и мгновенно уносясь прочь. Что ж, молодость бывает жестока.

В животе постоянно ныло. Шел сороковой день засухи, в лесу почти не оказалось еды. Многие умерли, кто-то ушел в поисках пищи в другие места. Оставались только пожилые обезьяны, которые не были способны на долгие путешествия, и матери с детьми. Маленьким обезьянкам было тяжелее всего. Глядя на своих мам печальными глазенками и молча перебирая потрескавшимися губами, они, обреченные, словно бы вспоминали вкусы.

Старой обезьяне повезло. Медленно и тихо перетекая с ветки на ветку, она обнаружила в глубине пальмы большое и сочное манго, которое уже слегка подгнило, но еще держалось на ветке, норовя вот-вот упасть на землю. Под слегка помятой кожицей переливался сладкий, томящий сок. Жадно схватив плод сморщенными худенькими ручками, обезьяна поднесла его ко рту и откусила кусок. Решив растянуть блаженство, обезьяна спустилась на ветку ниже и удобно устроилась на широком разлапистом суке дерева. Предвкушая удовольствие, посмотрела на плод, а потом настороженно огляделась. На соседней ветке тихо сидела молодая обезьяна с малышом на руках, который жадно, но обреченно смотрел на манго. Они не шевелились, не пытались отнять его, они просто смотрели. Старая обезьяна судорожно сглотнула и прижала к себе драгоценный плод. Молодая отвернулась. Малыш не сводил взгляда с потекшего и одурманивающе пахнущего фрукта: он пах жизнью.

Страх и жадность вскружили голову старой обезьяне, рванулись в ее мозг. В желудке заурчало, требуя пищи. Обезьяна попыталась перелезть на другую ветку, чтобы не видеть больше этих детских глаз. Но в сердце внезапно созрело решение, которому противилась вся звериная сущность, желающая выжить. Замурившись, все еще не веря себе, старая обезьяна подползла к малышу и протянула ему манго. Маленькие лапчонки цепко схватили неожиданный подарок. Обезьяна отвернулась и тихо поползла вниз. Она не видела той, одной-единственной, слезы, скатившейся по щеке матери малыша, не видела и глаз маленькой обезьянки, которая смотрела ей вслед, смотрела восторженно и благодарно.

Старая обезьяна шла умирать.

— И что ты хочешь этим сказать? — голос Стрелочника дрогнул — все-таки тот, в зеркале, смог задеть его за живое.

— Ничего, кроме того, что уже сказал, — пожал плечами собеседник.

— Это лишь сказки. В реальности все не так. Стремление выжить, страх, жадность, боязнь потерять не только жизнь, но и комфорт правят живыми существами, —

защищался Стрелочник. — Когда кого-то непохожего на остальных из стаи начинают травить, ему остается лишь удрать и где-нибудь сдохнуть, смирившись со своей чертовски печальной участью и злодейкой судьбой.

— И ты считаешь, что никто и никогда не сможет ничего изменить? Что таких историй не бывает? А вдруг это не так?

Как делаются воргушонки

Жила да была на свете лягушонка. И все у нее было хорошо: солнышко светило, грело ласково, дом у нее был, друзья — в общем, чего еще можно пожелать? Лягушонка поэтому ничего больше и не желала. А радовалась тому, что у нее есть, песенки пела, когда пелось, прыгала, когда прыгалось.

Жил да был на свете воробьишка. У него тоже все было хорошо. Ну, настолько, насколько это вообще возможно в его воробьиной жизни. У него тоже были друзья, дом, и его тоже ласково грело солнышко, а когда не грело, то, по крайней мере, светило. И он тоже и пел, и прыгал, и радовался, когда было чему.

Потом лягушонка и воробьишка случайно встретились, посмотрели друг на друга, познакомились и разошлись по домам. И стали тосковать, потому что поняли, что хотят быть вместе. Но вроде как лягушонки с воробьишками семей не создают, не было еще такого в природе. И стали над ними окрестные лесные жители потешаться. Сороки во все стороны сплетни разносят, стрекочут, даже зайцы и те по кустам шепчутся, хихикают, хвостиками от смеха пошевеливают. Друзья и знакомые отговаривают: «Что это, мол, за глупости? Диво дивное, чудо чудное, небывалое, неслыхалое». Долго ли, коротко ли, но решили наши друзья лягушонка и воробьишка не слушать советов добрых друзей и соседей, а пойти искать волшебную страну, такую, где бы их никто не осуждал и никто бы над ними не смеялся. Взялись они за руки и ушли. И никому ничего не сказали. Нечего было потешаться. Тут друзьям стыдно стало, да поздненько они спохватились.

А лягушонка с воробьишкой, говорят, с той поры в волшебной стране живут. Домик у них там свой пряничный на берегу кисельного озера, и они на шоколадной лодочке по озеру плавают, конфетных рыбок ловят. А еще у них детки появились — воргушонки. Смешные такие, зеленые, с крылышками, а лапки у них в перепоночках. Очень симпатичные. И самое главное, все они очень счастливы. На то она и волшебная страна!

— Слушай, сказочник, — возмутился Стрелочник. — Я вообще не понимаю, что ты плетешь! Уже до каких-то мутантов досочинялся! Тебе стоит к психотерапевту сходить, чтобы он тебе от психических сдвигов в мозгу пилюльки прописал!

— А все-таки настоящая любовь способна творить чудеса! — убежденно сказал Двойник.

Соловьиный Бог

Однажды гордый сокол пролетал над лесом и услышал дивную песнь соловья, который пел о любви, о любви к недосягаемому и великолепному соколу, в чьих объятиях даже смерть будет прекрасна. Сокол спустился пониже, сел на ветку и стал слушать песню. И так она ему запала в душу, что решил посмотреть на чудесного певца. Увидев же, страшно удивился, потому что «певцом» оказалась маленькая невзрач-

ная птичка: ее тоненькое горлышко было напряженно устремлено к небу, именно оттуда лилась эта чарующая песнь любви, торжествующая и прекрасная.

Когда песнь окончилась, сокол подлетел поближе и спросил:

— Ты пел о любви ко мне?

— Да, — ответил соловей.

— Ты такой маленький и невзрачный, я могу растерзать тебя своими мощными когтями и крепким клювом в одно мгновение. Но ты поешь так прекрасно, что мое сердце замирает. Правда, я все равно хочу растерзать тебя и посмотреть, как ты устроен и откуда в тебе этот чудесный дар.

— Растерзай, если тебе угодно, — ответил соловей. — Я так люблю тебя, что для меня нет ничего прекраснее смерти в твоих объятиях.

— Нет, — сказал сокол. — Я не буду этого делать, по крайней мере, пока. Я хочу слушать твои песни и наслаждаться твоей любовью. Я хочу, чтобы ты пел мне.

И соловей пел соколу о своей любви, о свободе и счастье полета, о том, что когда восходит над землей солнце, то первые его лучи касаются края неба и освещают облака, листья деревьев так же, как освещает душу маленького соловья любовь сокола. И сокол полюбил соловья. Неистово и страстно, как могут любить только свободные и гордые птицы. Но потом в гордости своей и необузданности сокол сказал:

— Я люблю тебя, но я хочу создать тебя заново, хочу, чтобы ты смотрел на мир моими глазами, дышал моим дыханием, чтобы весь мир для тебя был — Я.

— Да, мой повелитель, — ответил соловей.

И соловей стал смотреть на мир глазами сокола — отныне даже дыхание его было священным для маленького певца: сокол стал Богом. Вскоре такое обожание пресытило сокола, да и песни соловья стали настолько хвалебны и однообразны, что набивали оскомину. И в один прекрасный день сокол сказал:

— Я улетаю. Ты мне наскучил. Ты стал сер не только снаружи, но и изнутри. Я больше не люблю тебя, — он взмахнул крыльями и взлетел к небу.

Но тут он внезапно замер, ибо раздалась такая песнь, которой он еще не слышал ни разу. Бедный маленький соловей пел о том, что жизнь жестока и что любимые боги могут искалечить маленькое сердце, которое не способно выдержать муку настолько неистовую, что смерть в когтях любимого была бы большим благом. Сокол устыдился и полетел вниз, но увидел под деревом лишь маленькое бездыханное тельце чудного певца, из которого вместе с любовью ушла и жизнь.

— И в чем здесь чудо? — скептически пожал плечами Стрелочник. — В чувстве стыда? В нелепом самопожертвовании? В разорвавшемся от боли и горя сердце, в смерти? В этом твое чудо?

— Да ты как принц-лягушка в болоте! — возмутился Зазеркальный. — Вспомни Ту, свою Единственную и свое счастье, которое ты сам, добровольно упустил! Ты мог не только сам стать счастливым, но и сделать счастливым кого-то еще. А ты заматался в паутину, залез в болото и затаился там, как столетний дряхлый черепах! Эх, ты! Ты даже не знаешь, как она плакала, как искала и звала тебя, пока ее сердце не омертвело. Тогда-то она и написала про тебя сказку! Вот она, держи, ты вполне ее заслужил!

Принц-лягушка, или Превращения

Жил да был на свете принц-лягушка. Был он очень нежным и романтичным принцем и все ждал, когда же наконец придет к нему принцесса и расколдует своим

поцелуем. Принцессы время от времени захаживали, но целоваться не умели, так что принц по-прежнему оставался лягушкой. Со временем это ему страшно надоело, и он начал думать, что сказок с хорошим концом не бывает, так что если уж и сидеть в болоте, то надо бы уж и семьей обзавестись для приличия. А сказки про две половинки — это ведь только сказки для маленьких и глупых головастиков, которым не дает ночью покоя огромная тревожная луна, льющая свой задумчивый свет на болото, меняющая очертания предметов, заставляющая трепетать сердце ожиданием небывалых историй и приключений, загадочных и прекрасных сказок, которые рассказывают им по вечерам бабушки, монотонно стуча спицами и раскачиваясь в кресле-качалке.

В это время на другом конце света жила-была принцесса, которая, в общем-то, никогда и не думала о том, что в ней есть что-то принцессочное. Так просто, девушка — и все. Только постоянно страшно кого-то не хватало: душа ее маялась и томилась ожиданием чего-то неведомого. Время от времени принцесса целовала разных принцев, но они сразу превращались в лягушек, квакали и упрыгивали в поисках подходящего болота. И принцессе опять становилось грустно.

А потом пришли сны. Принц-лягушка видел в своих снах принцессу, а она — его, и им стало казаться, что они обязательно должны найти друг друга. Но они думали, что все это только сны... Сны — и ничего более. Но сны оказывались единственно желаемой реальностью, а настоящая реальность была слишком облачная и мгlistая.

И тогда во сне принцесса пошла к своему принцу-лягушке и поцеловала его. И он стал настоящим принцем. Каким и полагается быть сказочным принцем. И так сильна была любовь принцессы, что, проснувшись, принц обнаружил себя принцем, но... посреди болота с лягушками. Тут он испугался и подумал, что теперь ему надо искать свою принцессу, а этот процесс может растянуться на долгие годы. А еще придется преодолевать и дремучие леса, и высокие горы, и быстрые реки... А может, еще сражаться с каким-нибудь страшным чудовищем или драконом. «А ну ее, эту принцессу, — подумал принц и превратился обратно в лягушку. — Дома как-то спокойнее, привычнее. Пусть сама идет, если ей так надо. Я лучше как-нибудь тут, на родной кувшинке подожду». Посмотрел он на себя радостно в воду, квакнул, потянулся и сладко заснул.

А принцесса еще долго ждала своего принца, но он так и не появился. Не пересек дремучие леса, высокие горы и быстрые реки и не приехал на белом коне, а женился на соседке-лягушке с неплохим приданым, и появилось у них много маленьких лягушат. Иногда он, правда, выползал ночью на кувшинку, смотрел на звезды и вздыхал, но от этого его быстренько излечила дражайшая супруга — оплеухами.

А принцесса? А что принцесса? Про это никому не ведомо. Исчезла она как-то утром, а куда делась, никто не знает. Может, в лягушку превратилась, а может, принца нашла достойного...

— Ха-ха-ха, — натужно и вымученно рассмеялся Стрелочник. — У нее всегда было хорошее чувство юмора, великолепная фантазия и острый язычок. Что ж, придется тебе передать ей мой вариант сказки в ответ, так сказать — алаверды. Если ты ее, конечно, когда-нибудь встретишь...

«Камасутра» для страуса

Жил да был одинокий страус. Гулял он как-то по живописному оазису, который находился в самом центре пустыни Муби, и вдруг встретил суслика. Вернее, сусличи-

ху. Или суслицу. Ну, в общем, вы поняли. Встретил и понял, что полюбил ее на всю оставшуюся жизнь. Но поскольку страус наш был мужчина не промах, то для начала решил изучить этикет и «Камасутру», чтобы не ударить в грязь лицом перед столь любимым объектом своих страстных мечтаний.

С этикетом проблем не возникло: страус быстро понял, как надо себя вести в присутствии дамы, что говорить и когда снимать шляпу. Правда, шляпы у него не было, но он решил быстро исправить неловкость: тут же выписал себе отличный цилиндр из какого-то модного каталога.

С «Камасутрой» оказалось сложнее. Прочитав всю книгу любовных премудростей, страус решил потренироваться и стал пытаться принимать описанные в книге позы. Попытавшись завернуть одну из пяток за ухо, бедный страус шлепнулся носом в песок и больно ударился. Последующие попытки окончились так же плачевно. Тогда страус решил залезть на дерево (не знаю, зачем ему это понадобилось, вроде в «Камасутре» таких поз нет), но поскольку страусам несвойственно лазить по деревьям, даже если это любимые пальмы, то у него опять ничего не получилось. На дерево-то он в итоге залез, но потом спикировал оттуда головой вниз и долго лежал, засунув голову в песок и приходя в себя.

Отдышавшись, страус решил поискать что-нибудь попроще и для начала намерился принять позу лотоса — просто для того, чтобы войти в нужное состояние медитации и правильно осмыслить изученный материал. Ноги у страуса гнулись плохо, поэтому заплетал он их долго и мучительно, а когда наконец все-таки заплел, то понял, что расплести их ему не под силу.

Тогда страус горько заплакал и стал проклинать свою несчастную любовь к прекрасной сусличихе. Та как раз проходила мимо и, остановившись, долго пыталась понять, чем же это таким интересным занимается этот ненормальный страус. Тот сделал вид, что все путем, и попросил не мешать ему в его медитации. Суслица прониклась уважением и на цыпочках ушла прочь.

Страус продолжал плакать. Так в позе лотоса провел он бессонную ночь, глядя на звезды: тут ему и открылась истина, он понял, что страусы и «Камасутра» — вещи несовместимые, так же как страусы и суслики, а тогда и этикет тоже не нужен.

Расплел страус свои онемевшие ноги, сладко растянулся на песке в тени листьев банановой пальмы и заснул.

А когда проснулся, то надел свой новый цилиндр и пошел совершать ежедневный моцион по вечернему оазису. Встретив прекрасную суслицу, страус вежливо приподнял цилиндр, раскланялся и произнес:

— Здравствуйте, дорогая, и до свидания.

Он повернулся к суслице задом и решительно зашагал прочь.

— Я рад, что задел тебя за живое, — мягко заметил Двойник и улыбнулся. — Это лучше, чем твой обычный кокон или состояние спячки, в котором ты пребываешь. Сказки пробуждают в тебе хоть какой-то интерес к жизни.

— Уверен? Не устал еще сочинять? Фантазия не иссякла, мой потусторонний друг? Может, продолжишь?

— Охотно, тем более что ты сам просишь...

Бабочка и скорпион

Бабочка летала над поляной с чудными яркими цветами, столь похожими на ее крылья, наслаждаясь солнцем и счастьем. Когда хотелось есть, она присаживалась на

облюбованный цветок и пила его нектар, засовывая хоботок в самую сердцевину соцветия, дарившего эту небесную манну. Она была счастлива.

На сохлой коряге неподалеку от мака, на который приземлилась в очередной раз бабочка, сидел старый скорпион и задумчиво смотрел на нее.

— Скажи, — спросил он, — чему ты радуешься?

Бабочка удивилась.

— Как — чему? Меня греет ласковое солнышко, цветки раскрывают для меня бутоны и дарят пищу... С друзьями же весело кружиться в воздухе в озорных танцах. Мне хорошо. Я радуюсь жизни.

— А тебя не пугает, что жизнь скоротечна и что любая пролетающая птица может съесть тебя в любую секунду? Ведь ты так слаба и ничего не можешь с этим поделать.

— Нет, — ответила бабочка. — Если я не могу это изменить, то почему я должна страдать? Мне хорошо, я и радуюсь.

— Но жизнь жестока.

— Нет, жизнь прекрасна!

— У меня есть жало, которым я могу убить быка, человека, оленя. Я могу защитить себя. Я самый сильный, и меня все боятся.

— Ты счастлив?

— Что такое счастье? — спросил скорпион и тут же ответил: — Счастье — это сила. Поэтому я счастлив.

— Нет, — воскликнула бабочка. — Счастье — это свобода и радость. Счастье — это любовь.

— Глупости, — ответил скорпион и, сердито пыхтя, залез под корягу.

Бабочка все летала по поляне да радовалась тому, что дарит ей жизнь. Потом у нее появились детки. Конечно, сначала они были гусеницами, а потом превратились в куколки, недвижно и тихо висевшие на листьях деревьев. А старый скорпион по-прежнему сидел на облюбованной коряге и грел свои старые антрацитовые бока на солнышке. В один из таких дней он и увидел, как его старую знакомую съела какая-то птица.

— Вот тебе и счастье, — сокрушенно пробормотал он. — Я же говорю, счастье — это сила, а значит, яд! — и угрожающе приподнял хвост высоко вверх.

И тут он увидел: с листьев деревьев одна за одной стали вспархивать бабочки, прекрасные, словно нежные цветы. Они кружились в воздухе разноцветным листопадом, танцуя и радуясь своему земному существованию. Старому скорпиону стало грустно: на мгновение он тоже захотел стать бабочкой, чтобы точно так же кружиться в этом пестром хороводе, взмывая вверх с потоками ветра или наслаждаясь сладким нектаром душистых цветов. Он даже залез на корягу и приподнял свои клешни вверх, однако потом одумался и сконфуженно уполз вниз, в свое жилище.

— Все это одни глупости, — упрямо бормотал он. — Яд — вот и все, что нужно в жизни для счастья.

А бабочки кружились и порхали, образуя разноцветную радугу, перекинувшуюся через всю цветочную поляну, и им совершенно не было дела до старого скорпиона и его силы.

— Кстати, я тут вспомнил еще одну историю, — сказал Зазеркальный. — Ты не будешь против, если я расскажу сразу и ее тоже?

— Валяй, — пожал плечами Стрелочник. — Разве я могу отказать тебе в такой благородной миссии, как спасение моего Я, моей души и моих крыльев?

Заячья душа

Жил да был на свете заяц, большой, матерый, с красивыми карими глазами и пушистым хвостом, а еще у него были веснушки. Да-да, не удивляйтесь, самые настоящие веснушки. И это ему очень шло, потому что вид у него был задорный и какой-то весенний, солнечный. Заяц был умный и много чего знал, поэтому к нему часто шли за советом, и звери относились к нему с уважением, даже волки, а это уже вообще исключительный случай. Но так бывает, хотя и очень редко.

У зайца была большая семья: жена-зайчиха и тринадцать маленьких зайчат, причем все дочки. Наверное, именно поэтому заяц был философом и предпочитал прогуливаться по лесу и меньше бывать дома: от галдежа у него сразу начиналась мигрень, болела спина — попробуйте сами покатать на ней тринадцать дочек-зайчишек, тогда сразу поймете почему!

Конечно, зайчиха постоянно ворчала из-за отлучек мужа, хотя он — главный добытчик в семье: в подвале всегда был запасец кореньев, морковки, яблок — всего и не перечесать. Но жена есть жена, ей пилить мужа по статусу положено, вот и пилила. А попробовала бы она не попилить — тут бы все соседки-подружки заудивлялись: как же так? Надо же порядок в доме поддерживать! Так что все шло своим чередом: заяц уходил в лес, а жена ела его поедом.

Как-то раз шел заяц по лесу, и вдруг ему навстречу — маленькая грациозная белочка.

— Привет, белочка! — поздоровался заяц.

— Привет, заяц! — улыбнулась белочка.

— Ты такая прекрасная! — восхитился заяц.

— А у тебя очень красивые глаза! — ответила белочка и смутилась.

— Давай гулять по лесу вместе? — предложил заяц.

— Давай, — обрадовалась белочка.

И они стали гулять вместе. Каждый день. Они читали друг другу стихи, бегали наперегонки, бросались шишками. Им было очень хорошо вместе. Белочке нравились стихи зайца и его глаза, а тому нравилась сама белочка и то, что она на него не кричит, а наоборот. Что наоборот — заяц даже самому себе признаваться не хотел. А белочка была влюблена, но никак не могла сказать об этом зайцу, потому как стеснялась и считала, будто в отношениях первым должен делать шаг мужчина.

Так прошло лето, наступила осень, а за нею и зима пришла. Стало холодно и зябко. Заяц поменял шкурку и стал белым, чтобы сливаться со снегом, а белочка оставалась все такой же рыжей, ну просто как маленький огонек. Только вот глаза белочки с каждым днем становились все грустнее и грустнее — ей было непонятно, как к ней относится заяц: то ли он просто ее друг, то ли...

А один раз белочка не пришла. Заяц искал ее, искал, но так и не нашел. Потом его закрутили дела, поиск пищи для семьи, и он забыл про свою маленькую подружку. Когда же пришла весна и все расцвело, запестрели поляны бабочками, задурились ароматными запахами цветов, заяц увидел на поляне озорного солнечного зайчика, так похожего на его маленькую белочку.

И зайцу стало грустно, потому что он вдруг понял, что оставаться философом не всегда правильно, иногда надо ощущать себя романтиком и обладать смелостью, смелостью говорить то, что думаешь, и быть чуточку счастливее, чем ты есть, смелостью — дарить счастье и тому, кто тебе дорог. А когда заячья душа находится в пятках, а не в сердце — это не жизнь.

— Похоже, ты начинаешь повторяться... Твои истории становятся однотипными, — зевнул Стрелочник. — Так я, пожалуй, гораздо быстрее сочту, что переводить стрелки гораздо занятнее. Передохни, пока я сочиню тебе что-нибудь жизненно отрезвляющее.

Снеговик

Снеговик радовался жизни и жмурился от яркого январского солнышка. Солнышко осветило своими лучами пелеринку снеговика, казалось, на ней сверкают прекрасные ограненные бриллианты, рассыпая дивные сказочные блики.

— Ах, — сказал снеговик, — как я счастлив! Кругом только одна красота. Холод и красота. Как меня любит яркое прекрасное солнышко, если от его лучей я так свечусь и блистаю!

— Карр! — сказала ворона. — Карр! Какой же ты глупый!

— Почему? — удивился снеговик.

— Потому что солнышко к весне станет светить жарче, и ты растаешь.

— Растаю? А что это такое?

— Когда узнаешь, будет уже поздно, — ответила ворона и улетела.

Снеговик подумал, что ворона просто позавидовала, ведь общеизвестно: вороны падки на все блестящее и сверкающее, а ничего прекраснее себя снеговик еще не видел. С каждым днем он радовался солнышку все сильнее, а если погода была пасмурная — тосковал и грустил. Он сочинял солнцу серенады и стихи и был счастлив, когда оно освещало его своими лучами.

Но вот наступила весна, и солнышко стало пригревать сильнее. Снеговик почувствовал в груди какое-то странное волнение — что-то тяжело ворочалось в нем и словно бы просилось на волю. Снеговик начал часто вздыхать и сопеть, а из его глаз стали потихоньку капать слезы.

Ворона сидела на ветке напротив снеговика и наблюдала за ним.

— Ты таешь, — констатировала она.

— Таю, — согласился снеговик.

— Для тебя было бы лучше родиться в холодильнике.

— А там есть солнце? — спросил снеговик.

— Конечно, нет, но солнце тебя же и погубит, глупый, — засмеялась ворона.

— Ну и что, — ответил снеговик. — Зато я сверкаю под его лучами, я знаю, что такое любовь: я любил само солнце...

Ворона пожала плечами, слетела вниз и выпила из лужицы воду, которая осталась от снеговика.

— Ты все никак не поймешь, что любые сюжеты, повороты сюжета и конец сказок зависят от самих сказочников или от персонажей, если они решают действовать сами, а не повинаясь чьей-то указке! — грустно констатировал Двойник.

— О как! — расхохотался Стрелочник. — Так ты знаешь иной конец сказки про Красную Шапочку, где волку в итоге не распороли брюхо, или вариант романа про Анну Каренину, где она не бросилась под проходящий поезд?

— Бедный ты, бедный, — сожалеюще посмотрел на него Тот, из зеркала. — Не помнишь, как ты сам писал ей когда-то про звездный дождь? А ты вспомни!

Звездный дождь

Вы когда-нибудь видели звездный дождь? Нет? Вы много потеряли, потому что звездный дождь — это что-то особенное. Иногда бывают очень урожайные ночи, особенно в августе, когда звезды сыплются с неба одна за другой, только успевай собирать и складывать их в корзину. Тогда можно загадывать желания и запускать

звезды обратно в небо, они взлетают и от загаданных желаний опять «прикрепляются» обратно.

Еще звезды можно дарить любимым, тогда у них начинают сиять глаза, они становятся красивыми, начинают писать стихи и петь песни. Звезды можно класть на ночь под подушку детям и возлюбленным, и тогда они начинают рассказывать удивительные сказки про странные и загадочные миры, про прекрасные и удивительные страны, про многое необычайное, такое, что вам и не снилось. А еще звезды можно использовать как ночники — они дают такой мягкий и нежный свет, что в доме со звездой никогда не случается ничего плохого и никто никогда не ругается, все живут дружно и любят друг друга. Звездами можно украшать платья и делать из них ожерелья, можно плести из них венки или вешать на елку, можно добавлять их в вино или в чай по вкусу... много чего еще можно делать со звездами!

Если не верите, приезжайте ко мне в гости, я угощу вас великолепным звездным вином и даже подарю книгу своего собственного сочинения, которая называется «Звездная кулинария. Секреты мастерства», если вы ее еще не читали.

Нет?

— Ты еще помни мои школьные сочинения в средней школе! — отмахнулся Стрелочник. — Мало ли какой сладкой дури можно насочинять, когда вовсю гормоны играют! Период оголтелого романтизма случается, особенно в пубертате!

— Ты хорошо научился отрешиваться, давать логичные объяснения, переводить стрелки, как я посмотрю.

— У меня были хорошие учителя. Не забалуешь.

— Знаю, тебе не раз приходилось испытывать боль... И боль потерь, ожидаемых и неожиданных, предсказуемых и нет... Но неужели так лучше? Не жить, не дышать?

— А как лучше? Так?..

Шарманщик

Старый шарманщик каждый день бродил по улицам города вместе со своей шарманкой и маленькой обезьянкой, которая умела вытаскивать бумажки с предсказаниями и строить забавные мордочки.

Обезьянка, уже немолодая, была одета в смешной лиловый костюмчик с золотыми позументами, от времени давно облезший и потерханный, как и сама ее шкурка. Впрочем, обезьянке жилось неплохо. Ее подкармливали то кусочком банана или яблока, то конфеткой или печеньем, а иногда даже и пирожным. У каждого из партнеров своя работа: шарманщик крутил ручку поскрипывающей шарманки, обезьянка вытаскивала желающим погадать бумажки, а потом свертывала их обратно в рулончики и складывала обратно в шляпу.

Обезьянка была умной и всегда вытаскивала правильные бумажки. Как ей это удавалось — не знал никто, но она еще ни разу не обманулась с пожеланиями, вынутыми из фокусничьей шляпы: богатому она предсказывала еще больше денег, счастливому — еще больше счастья, грустящему — давала надежду...

Но тут к ним подошла пара — молодой человек с девушкой. Они протянули обезьянке монетку за предсказание. Поглядев им в глаза, обезьянка долго колебалась, а потом отдала обратно монетку и повернулась к паре спиной. Шарманщик разозлился и ударил обезьянку, чего раньше никогда не делал — просто сегодня был неудачный день, ему хотелось есть; к тому же он устал, а старые кости ныли, предвещая перемену погоды.

Обезьянка вскочила и, не глядя, сунула руку в шляпу, а потом быстро подала девушке записку. Та придвинулась к молодому человеку, развернула листок. Посмотрев друг на друга, они рассмеялись и ушли, положив записку в карман.

На следующее утро грустная девушка с опухшими от слез глазами подошла к обезьянке, склонилась над ней и сказала:

— Ты была права, что не хотела предсказывать нам будущее.

Она кинула в шляпу золотую монету, вчерашнюю записку и ушла. Шарманщик развернул бумажку и прочел: «Вы будете вместе, пока смерть не разлучит вас».

— Знаешь, по крайней мере, у них была их любовь. И это никто не сможет отнять.

— Знаешь, — передразнил Стрелочник, — иногда лучше просто не быть луковкой! Если ты понимаешь, о чем я.

Луковка

Жила-была на свете маленькая луковка. Она была умная и быстро поняла, что в этой жизни надо наращивать на кожу слои, чтобы не ранить свое нежное тельце.

Слой за слоем наращивала она свои слои, кутаясь в них, как в одежду, и скрывала свою сущность за ними, коричневыми, неприглядными с виду, но ломкими и хрупкими — как оказалось.

Потом пришел человек, снял всю одежду с луковки и заплакал. И луковка тоже заплакала, терпкими, едкими слезами. Ей было так неудобно такой белой и обнаженной, такой беспомощной, ведь ранить ее теперь стало так просто.

А потом ее порубили на луковый суп.

— И вот еще что, — разошелся вдруг Стрелочник. — Пожалуй, я тебе тоже поведаю внеочередную сказку.

Любовь к людям

Может быть, кто-то однажды увидел, как с неба упала яркая звезда... Кто-то определенно это видел. И эта звезда звалась Любовь к людям. Естественно, она была женщиной, Афродитой. Никто из тех, кто встречался с ней, не догадывался о ее происхождении, и знала ли об этом она сама — тоже остается загадкой. Может быть, да, а может быть, и нет. Неизвестно.

Любовь ходила по миру и заглядывала людям в глаза, но люди равнодушно отворачивались: им не нужна была любовь. Они знали слова страсть, вожделение, предательство, обман — это простые и понятные слова, а любовь...

Да что это такое, в конце концов? Сколько можно мотать людям нервы, искушая их сказкой, которой в природе не существует? А? Что вы молчите? Вот-вот, не знаете... И я о том же...

А потом ее просто сожгли на костре... Нет — распяли на кресте... Утопили в реке... Короче, что-то такое с ней сделали нехорошее, после чего ее не стало.

Может быть, это и к лучшему, нечего людям мозги всякой чужью забивать, вот.

— Если ты не захочешь снять свои черные очки слепца, вынуть голову из песка и посмотреть на настоящий мир, за тебя никто этого не сделает, — печально проговорил Зеркальный.

— Если ты не хочешь снять свои розовые очки, в которых видишь все в дурачко-карамельном виде, то за тебя это тоже никто не сделает, — парировал Стрелочник.

— А она в тебя верила... И все еще верит, потому что пишет тебе такие сказки...

Мастер Света

Когда-то давно, в иных мирах и пространствах, Мастер Света вложил своей ученице в солнечное сплетение белую жемчужину — энергетический шар любви и света к миру. Она с благодарностью приняла этот дар и обещала нести любовь людям. Но шли годы, века, менялись планеты, города, страны, и маленькая жемчужина оказалась забыта. Она по-прежнему покоилась в груди девочки-ученицы, но она спала. Девочка не замечала знаки, указывающие ей путь, не понимала их, потому что заблудилась среди времен и миров.

Факиры пытались привлечь ее внимание огненными шарами, море показывало ей жемчужины, спрятанные в раковинах, небо зажигало свои звезды... Но девочка спала, и спала жемчужина...

Но вдруг сквозь сон и туман к ней пришел Он. Апельсин. Рыжий клубок счастья. Дразнящий, раздражающий, ехидный, невозможный. «Хочешь, — говорит, — я возьму тебя на ручки? И буду улыбать тебя, пока ты не выдохнешь музыку, скрипка моя?»

И девочка проснулась. И проснулась жемчужина в ее груди, ставшая вдруг такой же ослепительно-оранжевой, как и все пространство вокруг.

А Мастер Света довольно улыбнулся и закрыл глаза. Теперь все было в порядке.

— Да?.. — голос Стрелочника явственно подрагивал, потеряв былую уверенность, но сдаться он не хотел и не мог (в конце концов, нельзя же так наивно и по-мальчишески расчувствоваться от парочки сентиментальных историй, тем более завиральных до невозможности!). — Любовь, говоришь? А может, это привязанность, привычка, страх, стремление к комфорту? У моей соседки есть маленькая дурная собачонка. Гавкучая, шальная, любопытная, но трусиха — прямо как большинство особей женского пола. Я как раз на днях забавную ситуацию наблюдал, которая с ней произошла... Ну все как у людей...

Ада

Она сорвалась с поводка. Маленькая глупая собачка, которой надоело преданно смотреть в глаза хозяйки. Сорвалась и побежала за первой блудливой кошкой, рванувшей от нее в темную подворотню.

Кошка, разумеется, забралась по дереву, перепрыгнула на крышу и исчезла... А собачка осталась одна в темном и чужом дворе.

Сначала ей было любопытно обнюхивать столбы, деревья, качели, клумбы, потом стало скучно, а уже гораздо позже — откровенно страшно и жалко бедную и несчастную себя, оставшуюся без хозяйки, без той, которой можно преданно смотреть в глаза и вилять хвостом в надежде на косточку и мимолетную ласку. И она заскулила, жалобно, протяжно, одиноко...

Услышав же внезапно привычное и властное: «Ада, к ноге!», по-щенячьему обрадовалась и, несмотря на страх наказания, униженно виляя хвостом, поползла обратно...

Что поделаешь — любовь...

— И тем не менее, мой дорогой мастер виртуозных переключений, даже такая любовь лучше, чем ее полное отсутствие. Пустота в душе, пустота в сердце — самое страшное. Даже в пустыню никогда бы не отправлялся никто из путников, если бы не ожидал, что где-то там должен быть оазис. Я хочу рассказать тебе историю, которая могла бы прозвучать из твоих уст, историю, которую ты от меня не ждешь.

— Какой любопытный поворот, однако. Зачем?

— Затем, что даже в ней может быть двойной смысл и двойной контекст, даже ее можно увидеть совсем по-разному.

Почти рождественская история

За обычными, ничем не примечательными занавесками одного из миллиардов московских окон, забравшись с ногами на кресло и обхватив их руками, сидела Она и грезила. В своих мыслях уносилась далеко-далеко, туда, где за тридевять земель в обычном городе N, а вовсе не в приснопамятном тридевятиом царстве жил ее возлюбленный.

Он был прекрасен как Бог, строен как Аполлон и обладал всеми возможными достоинствами, кроме разве что одного — пронзительного ума и интуиции, хотя в принципе был неглуп. Ну, а если уж совсем конкретно, то не понимал он и не видел, как любит его эта девушка. Парнем он был, в общем, неплохим, девушку не обижал, можно даже сказать, любил где-то, но вот замуж не звал и звезду с неба не дарил. Но зато был образован: читал русских классиков и обожал фильмы Феллини.

В тот вечер Он слегка перебрал на очередной вечеринке и посему домой пошел без шапки и, по-моему, даже без куртки: то ли из залихватства, то ли просто — забыл. Ближе к ночи у него началось жуткое похмелье, да еще и простуда подкралась. Немудрено.

Девушка же наша — натура тонкая и чувствительная, ощущала все, что происходило с ее прекрасным принцем, так как обладала даром ясновидения и некоторыми экстрасенсорными способностями, которыми обладают многие влюбленные люди, независимо от какого-либо эзотерического дара.

Вот поэтому Она и сидела в кресле, с грустью думая о том, что с радостью бы ухаживала за любимым, подавая ему аспирин, отпаивая теплым чаем, меняя компрессы... Но, увы, ехать было далеко, да и не поспеть вовремя: сам раньше поправится. А душа ее тосковала. Она задремала в кресле, где-то между явью и сном, в пограничном состоянии. И привиделось ей, что идет она по пустой дороге, зябко кутаясь в старенькую курточку. Ночь, никого нет. Только где-то в стороне недовольно каркают потревоженные ее шагами сонные вороны, нахохлившиеся, сидящие на голых ветвях обледенелых деревьев. Идет Она в город N, стремится к своему милому, чтобы помочь ему и обогреть своей великой любовью. Влюбленные всегда так наивны... Снег падает за шиворот — а Она идет, мороз проникает под дубленку, кусает за щеки — а Она идет, ветер воет — а Она идет.... идет.... идет....

Но вот наконец и город N. Вот знакомая улица, дом, подъезд, квартира. Просочившись через дверь на манер привидения (во сне возможно и не такое), Она входит в комнату к любимому. Присев осторожно у его изголовья, девушка ласково кладет руку на раскаленный от температуры лоб. Почувствовав прохладу, тот открывает глаза и сонно улыбается, а потом засыпает снова, на этот раз спокойным и легким сном. Она сидит и гладит его по волосам.

Пора!

Поцеловав любимого на прощание, Она отправилась в обратный путь. Как шла обратно? Точно так же, как и туда, и ничего интересного с ней в дороге не произошло.

В общем, долго ли, коротко ли, дошла девушка до своего дома, а тут и утро наступило — просыпаться пора. Она встает с кресла, чувствуя себя разбитой и невыспавшейся, и идет на кухню пить крепкий кофе — пора собираться в институт.

В городе N тоже утро. Он просыпается и никак не может вспомнить, что было вчера. Потом в недоумении смотрит на пол — рядом с изголовьем кровати, там, где ночью сидела его возлюбленная, оттаивая от ночной прогулки, видна лужица растаявшего снега.

— Очередная растаявшая лужица снега... Боже мой, одни штампы. То ли снег растаял от силы ее любви, то ли бедняжка наплакала лужу горячих и отчаянных слез, если не упомянуть о каком-то другом отправлении естественных нужд, хотя же, да, это так пошло... Вот скажи мне, зачем вся эта тысяча и одна ночь Шахерезады?

— Зачем? Все просто. Любой может быть демиургом, если осмелится БЫТЬ.

Много миллионов лет назад...

Много миллионов лет назад земля имела совсем другие формы и очертания, другие реки, моря и континенты. И люди на ней жили совсем другие. Они умели летать, вернее, левитировать, видели ауру, читали мысли и могли передавать их на расстоянии, лечили болезни, направляя потоки энергий в правильное русло, прикосновением рук...

Но как-то раз кому-то закралась в голову нехорошая мысль, кто-то позавидовал соседу, кто-то пожелал жену друга, и... понеслось... В ауре стали мелькать темно-красные цвета ярости и эгоцентричности, коричневые пульсации страха расплаты за совершенные грехи, красно-желтые оттенки нечистых мыслей и комплекса неполноценности, лимонно-зеленые тона лживости и неискренности, а на индиго наслаивалась розовая пыльца деградации...

И тогда... энергия изменилась, и планета сошла со своей орбиты, сдвинулась, стала вращаться в другую сторону, и... мир изменился... Одни континенты ушли под воду, скрылась Атлантида, исчезли многие острова, омываемые морями страны стали горными массивами, разломы в земной коре создали другие ущелья и пропасти, похоронив прежние цивилизации, а люди перестали обладать внутренним зрением, утратили возможность видеть ауру, левитировать, читать мысли...

Лишь немногим избранным удалось сохранить этот дар для того, чтобы мир окончательно не пал в пучину греха и безнадежности, а имел возможность когда-нибудь вернуться в прежнее состояние, тогда, когда люди поймут, что фраза «Хочешь изменить мир — начни с себя» не пустой звук, а руководство к действию.

— Так ты великий Мастер, Учитель! — театрально взмахнул руками Стрелочник. — Понял: я изменю себя, потом мир и стану великим и ужасным повелителем всех стрелочников мира! А может, и не только их! Знаешь, я тоже в состоянии рассказать тебе притчу, которую мог бы услышать из твоих уст. И, пожалуй, поведаю. Да только вот, оговорюсь сразу, страдать и чувствовать себя кутенком, которого постоянно пихают мордочкой в его же ошибки, больше быть не собираюсь...

Благое дело

Однажды ученик пришел к своему Мастеру и сказал:

— Мастер, я сегодня помогал нищим: накормил их, напоил, дал им одежду и обувь. Я не зря провел свой день и совершил благое дело!

— Как жаль, — ответил Мастер. — Ты лишил их возможности осознать то, что их путь ошибочен.

— Но почему? — удивленно вскричал ученик. — Я дал им шанс возродиться и начать новую жизнь!

— Страдание дается нам затем, чтобы мы поняли, что где-то оступились и пошли не туда. Подавая нищему деньги, кормя и одевая его, ты потакаешь ему продолжать вести ту жизнь, которую он ведет, и не стремишься изменить ситуацию. Зачем, коли и так все дается без труда? Поэтому в тебе, ученик, нет еще подлинного сострадания.

— Да что ты все заладил «Я» да «Я»! Что, кроме тебя, мира нет? Других людей нет? Они не живут, не ошибаются, им не становится больно? Они тоже могут ошибаться. Ты только жалеешь себя, и все. А ты прости их за то, что они несовершенны, они просто люди. Прими и себя, и их со слабостями и недостатками, пожалей, что они не могут, не способны или не хотят что-то увидеть... Главное то, что пока ты живешь, ты еще можешь многое изменить... Думаешь, Ей никогда не было больно?.. Но разве для нее это стало поводом к недоверию, отступлению, бегству?

— Вот и оставь меня. Буду сидеть тут в своем страдании и тщательно осознать, куда же не туда я пошел и зачем.

— Ты слеп, увь...

— Каждый имеет право на слепоту, если больше не желает видеть этот мир.

— Каждый имеет право спустить в унитаз любой из божьих даров, которыми он наделен от природы...

— Если и пресловутый божий дар, и унитаз мой, тогда никаких законов я не нарушаю. Выкидывать подарок или оставлять его — дело самого владельца.

— Бесспорно. Хотя и грустно...

Безусловность любви

Встретились однажды девушка и молодой человек и очень понравились друг другу. Они стали встречаться, радуясь каждому дню, проведенному вместе, но постепенно их радость стала омрачаться разными мелкими ссорами и столкновениями, потому что никто из них не хотел уступать другому даже в мелочах.

— Ты должна любить МЕНЯ безусловно! — настаивал молодой человек.

— Почему ты требуешь этого? — удивлялась девушка. — Ведь ты не готов любить безусловно МЕНЯ, если ссориться со мной и требуешь, чтобы я выполняла то, что мне не по душе. Значит, с твоей стороны безусловности нет.

— Если ты будешь любить МЕНЯ безусловно, я награжу тебя сторицей, осыплю ласками, одарю драгоценностями!

— Но я не стану от этого счастливой. Любить безусловно можно только с обеих сторон, имея полную свободу, а не пытаюсь посадить любимого в золотую клетку и надеясь, что он будет там счастлив!

— Безусловность любви — это бред, — пробурчал Стрелочник. — Это сказка, фантазия, которой не бывает в реальности.

— А как же Она, та, которая любила тебя?

— Она любила не меня, а созданный ею образ.

— До того, как ты ее бросил, возможно. А потом?

— Потом просто не могла отступить, это означало бы унизиться, сдаться, а такие, как она, не сдаются.

— Ты сам себе врешь. Такие, как она, прежде всего, не тратят время своей жизни на самообман. Она не боится посмотреть правде в глаза, сдаться, проиграть — она просто любит. Вот и вся правда. Мы не всегда видим то, что есть, иногда мы видим то, что привыкли видеть, потому что нас так научили, потому что мы заучили определенные штампы и паттерны поведения. Вот тебе яркий пример.

Чужое гнездо

Однажды скворец увидел, как кукушка подкладывает свое яйцо в гнездо к жаворонку и вскричал:

— Что ты делаешь?

— Устраиваю судьбу своего сына или дочки, — невозмутимо ответила кукушка.

— Ты плохая мать! — посетовал скворец.

— Почему? — спросила кукушка.

— Ты оставляешь свое дитя чужим, а еще губишь неродившихся птенцов жаворонка. Ведь твой кукушонок уничтожит их яйца, выкинув их из гнезда!

— Во—первых, — ответила кукушка, — так же когда-то поступила со мной и моя мать. Как видишь, я жива, здорова и вполне счастлива. А во—вторых, мне нет никакого дела до чужих птенцов. Если скворец не пожелает увидеть, что яйцо чужое, и не выкинет его из гнезда, то сам будет виноват в случившемся.

— Но ты можешь изменить все, свить гнездо и сама высидеть яйцо.

— Не смей меня. Я не умею этого делать, и потом, это против законов природы. Так повелось испокон веков, и не мне менять эту традицию, — ответила кукушка и улетела.

Скворец хотел помочь жаворонку и выбросить яйцо кукушки из гнезда жаворонка, но ему стало жаль неродившегося птенца, и он замешкался. Прилетевший с промысла жаворонок беспокойно завился над своим гнездом и закричал:

— Вор, вор, убийца! Спасите!

Растерявшийся скворец хотел объяснить, в чем дело, но жаворонок так истошно кричал и бил крыльями, что «благодетель» предпочел побыстрее унести ноги, чтобы не быть опозоренным на весь лес.

Вслед ему раздавалось насмешливое: «Ку-ку!»

— Ку-ку! Скоро я с тобой точно буду ку-ку! — проворчал Стрелочник. — Давай уже прекратим эту «Сказка за сказкой», тем более что слушателей и зрителей у нас нет.

— Я не выступаю на сцене, а общаюсь с тобой, — возразил Зазеркальный. — Ты — это я, и мне не все равно, что с тобой происходит. Заканчивай переводить стрелки и начинай жить. А кроме того, ты заставил ее поверить тебе, ты научил ее летать, подарил ей крылья, сказку, а потом неожиданно подстрелил и даже не стал смотреть, как она падает в пропасть.

— Ну, это уже перебор! — возмутился Стрелочник. — Ты еще скажи известную всем фразу — зацепку за чувство вины про то, что ты в ответе за тех, кого приручил!

— И скажу! — воскликнул Двойник. — Потому что это так и есть. Ты должен отвечать за слова, которые произносишь, за поступки, которые совершаешь.

— А я тебе скажу, что в этом мире у каждого свои уроки, и вполне возможно, я был Ей дан для того, чтобы она стала еще сильнее и научилась верить каждому встречному-поперечному! Непроходимая наивность столь же плоха, как и чудовищная глупость! Но в отличие от глупости или юродивости это иногда лечится!

Вероломство

В один прекрасный день маленькая ласточка посмотрела на небо, увидела там белоснежное пушистое облачко и влюбилась.

Ласточка подлетела к нему и сказала:

— Облачко, я люблю тебя.

— Ой! — удивилось облачко. — Ты мне нравишься, но тебе лучше полюбить какую-нибудь ласточку.

— Нет-нет, что ты, я не хочу! Ты — это все, что мне нужно! — ответила ласточка.

— Но я не могу полюбить тебя! Я же просто облако! — ответило облачко.

— Ты сможешь, я знаю, в мире нет ничего невозможного! Моя любовь разрушит все границы! — восторженно сказала ласточка.

Она стала летать вокруг облачка, петь ему песни, рассказывать сказки. Иногда она хотела обнять и поцеловать облачко, но просто пролетала сквозь него, потому что все знают, что обнять облако невозможно.

— Ты так эгоистично и холодно ко мне! — жаловалась ласточка. — Как ты можешь так со мной поступать!

— Я же говорило тебе, что не смогу полюбить тебя, — отвечало облачко и хмурилось.

— Ты уже не белоснежное, а серое! Где были мои глаза, я так в тебе ошибалась! — сетовала ласточка.

— Ну, знаешь, ты сама так захотела, и нечего меня винить! — отвечало облачко.

От расстройства и несправедливых упреков облачко и впрямь потемнело и превратилось в тучку, а потом пролилось на несчастную ласточку проливным дождем. Ласточка сидела под выступом скалы, сушила свои промокшие перья и обиженно думала о непостоянстве и вероломстве некоторых легкомысленных особ, ну совершенно недостойных большой и чистой любви.

— А если тебе мало, так я тебе сразу добавлю еще одну историю на десерт, — продолжил Стрелочник.

Тень в зеркале только пожала плечами.

Свободная любовь

Как-то раз во время охоты снежный барс наткнулся на изящную пуму. Она ему так понравилась, что он стал расточать миллион разных комплиментов, предлагал подарить звезду с неба, обещал любовь до гроба и совершенно головокружительные чувства до конца мироздания.

Пума была нежная и совсем не знала жизни, поэтому тут же, недолго думая, кинулась в объятия к барсу и пылко призналась в ответной любви. Она заглядывала

ему в глаза, приносила еду, ластилась и ласкалась, вылизывала языком, мурлыкала песенки...

Уже через несколько дней барса стала раздражать подобная верность и привязчивость. Он начал уходить на охоту все дальше, все реже появляться ночевать в пещеру, где ждала его преданная пума, а когда появлялся, то непременно в дурном настроении. И как-то раз он не сдержался:

— Знаешь, — сказал барс, — я ошибался. Я не люблю тебя.

— Но как же так? — растерялась она. — Я люблю тебя больше жизни и готова на все, чтобы остаться с тобой.

— Ты не понимаешь, — ответил барс. — Я хочу быть свободным. Когда я дарю тебе свою любовь, то делаю это потому, что мне так хочется. Ты же обязываешь меня своей заботой и так сильно душишь привязанностью, что мне хочется только одного — поскорее уйти как можно дальше и никогда не возвращаться. Я думал, что ты красивая, сильная, свободная и вместе мы будем самой гармоничной парой, а оказалось, что ты обыкновенная домашняя кошка, каких пруд пруди повсеместно. Прощай.

Пума немного поплакала, потом подумала и стала свободной кошкой, чтобы больше ни один барс не смог никогда сказать ей ничего подобного.

— Ты можешь верить во что угодно и исповедовать те принципы, которые считаешь нужным, — сказал Двойник. — Те, которые тебе удобны. Переубедить никого нельзя, и не стоит. Если человек открыт миру, он может принять ту или иную точку зрения, не боясь, что его сочтут трусом, невеждой, человеком, не имеющим убеждений... Ему просто интересно жить и исследовать мир... Остальное игры разума — это посланники страха и адепты социальных табу. Хочешь выбрать их в качестве своих охранников и стражей — воля твоя... Помешать тебе никто не сможет.

Стрелочник пожал плечами, повернулся спиной к зеркалу и пошел прочь. И все же что-то не давало ему покоя.

— Как Она? — спросил он, обернувшись.

— Ты хочешь услышать правду или успокоить совесть? Если правду — узнай ее сам, если второе — придумай, ты же умеешь.

— Интригуешь?

— Нисколько, ты знаешь... Впрочем, могу все же тебе кое-что рассказать. Сказку, написанную Ею для тебя. Главную сказку... Хотя... нет... Держи. Вот ее тетрадь. Здесь несколько ее сказок. Какая из них для тебя и какая главная, узнавай сам.

Двойник растворился в Зазеркалье, оставив своему собеседнику толстую тетрадь, исписанную аккуратным разборчивым женским почерком. Стрелочник вздохнул, немного помедлил, после чего уселся в старое кресло-качалку и открыл ее. На первой странице сверху Она написала название цикла «Сказки для Фонарщика». Чуть ниже, в скобках, значилось: «Предисловие. Закон Мёрфи, или Бритва Хэнлона».

СКАЗКИ ДЛЯ ФОНАРЩИКА

(Предисловие. Закон Мёрфи, или Бритва Хэнлона)

Мой милый, любимый Фонарщик! Не знаю, прочтешь ли ты когда-нибудь сказки из этой тетради, но они написаны для тебя. А как могло быть иначе? Ведь я до сих пор думаю о тебе, несмотря на то, что пытаюсь забыть, освободить от тебя сердце и перестать мучиться и болеть тобой. Я пытаюсь сделать это каждый

день, но сколько бы времени ни прошло со дня нашей последней встречи, это пока остается лишь утопией.

Почему я назвала это вступление, это письмо тебе «Законом Мёрфи, или Бритвой Хэнлона»? Думаю, ты и так знаешь. Они перекликаются между собой, но суть у них одна. Если Мёрфи говорит о том, что «если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет», то Хэнлон утверждает: «Никогда не объясняйте злым умыслом то, что вполне можно объяснить глупостью».

Случилось ли то, что с нами случилось потому, что вероятность этого существовала в принципе или мы с тобой без злого умысла просто наделали глупостей — я не знаю. Я не хочу дать нашей с тобой истории некое логическое определение или вывод, подогнав его под что-то привычное, под уже существующий закон или штамп, но мой ум, мое сердце ищут хоть какие-то объяснения, лежащие за гранью нашей личной вины, за гранью наших страхов, побуждений, амбиций... Это неправильно, потому что виноваты мы сами, но ты же знаешь: человек всегда ищет виноватого и ответственного за свои ошибки... Бритва Хэнлона действительно бритва — мы сами располосовали себе сердца, вены и измучили друг друга сотнями самых разных изощренных способов, прежде чем расстаться. Я знаю, мы оба не сумели сохранить друг друга, но от этого не легче.

Прости меня за то, что это грустные сказки. Как я могу писать светлые и радостные, если тебя нет рядом со мной? Может быть, их удастся написать тебе? Или когда-нибудь во мне останется только свет, и тогда я придумаю для тебя новые сказки...

Пока летят одуванчики...

Я люблю смотреть, как летят по ветру маленькие парашютики одуванчиков. Никто не знает, где они приземлятся, и пока они летят, можно придумать целую историю... Я думаю, что пока они летят — продолжается сказка...

Мы познакомились случайно, как знакомятся все люди, но все же наша встреча была закономерной, потому что сразу, как только ты нечаянно коснулся моей руки, пронзило чувство узнавания, перед глазами проплывали видения наших встреч в иных измерениях и пространствах... Мы разговаривали как старые знакомые, которым давным-давно уютно и комфортно находиться рядом, и беседа может протекать безмолвно, глаза в глаза, сердце в сердце, душа в душу... Я помню, первая и единственная ласка — прикосновение твоего лба к моему — оказалась значительнее любых слов, поцелуев, объятий... Она останется со мной навсегда...

В незапамятные времена, тысячелетия назад мы встретились в первый раз, в тот день, когда я собирала шалфей, мяту, чабрец и другие травы, а ты, подзвав к себе дикого сокола, о чем-то шептался с ним на его гортанном птичьем языке. Сорвался с твоей руки сокол, а ты, странно улыбаясь, подошел и спросил:

— Вылечишь?

Слизнув каплю крови со смуглой кожи, я медленно приложила лист подорожника и взглянула в твои глаза. А дальше была ненасытная огненная страсть пламенеющих сердец, сливших нас в единое целое, и показалось, что вся жизнь пролетела в одно мгновение. Я не помню, сколько нам отвели на свидание боги, наверное, это было то время, пока летят одуванчики... Если бы я знала, то постаралась придумать такое заклинание, которое позволило бы им лететь вечно...

Я помню запах душистых ароматных масел розы и лотоса, окутывающих мое тело флером привлекательности, помню звон золотых и серебряных браслетов на

запаясь от моей торопливой и быстрой походки, когда я бежала к храму, стремясь найти спокойствие и уединение, убежать от шумной толпы... Тяжелый головной убор сдавливал голову золотым обручем, и боль тупо стучалась в виски... После того как меня объявили фараоном, я часто говорила с Амоном Ра, небесным отцом, и сейчас в смятении прибежала к нему... Великий бог молчал, не желая выслушивать глупые тайны маленькой девчонки, вообразившей себя повелительницей Египта и так по-человечески глупо попавшейся в сети любви... Конечно, надо идти на поклон к богине Хатор, это ее епархия, вершины блаженства в искусстве любви...

Цветистые фразы придворных, горы золота, власть, зачем все это, когда дерзкий начальник стражи осмеливается ночами ласкать мое тело, заглядывая в темные глаза, чтобы поймать тот единственный миг, возносящий нас ввысь, к звездам? Что в имени Хатшепсут, когда это лишь пыль под небесами, и много веков спустя никто, может быть, и не вспомнит его и не произнесет вслух?

Ты вспомнил... «Моя царица, — сказал, касаясь моего лба, — мы поедем туда снова, и ты увидишь свой храм...» Тогда еще я не знала, что ты не умеешь сдерживать обещания и уйдешь, не попрощавшись. Если бы я могла, то вызвала бы самых могущественных духов, чтобы отогнать ангела смерти от твоего ложа, предложив им любой выкуп за то время, за краткий миг объятий, растянутый в вечность.... Пока летят одуванчики...

Но ты опять оставил меня одну, уже в который раз, и, глядя на смену времен года, мне придется ждать еще вечность, чтобы успеть перехитрить судьбу, если успею вовремя вспомнить, доплести узор заклинания...

Я не пойду на кладбище провожать тебя в последний путь не потому, что меня туда не звали, просто для меня ты всегда живой, как в последнюю нашу встречу. Не могу слышать над головой карканье ворон, не хочу видеть остовы черных оград, похожих на тюремные решетки... Ведь там, в земле, не ты... Это какая-то дурная глупая шутка... Бегу за твоим силуэтом, кричу... но внезапно обернувшийся прохожий показывает чужое лицо и недоуменно улыбается...

Я пытаюсь смеяться и хожу на вечеринки, ем мороженое и смотрю кино, словно ничего и не было, и дурное известие лишь ночной кошмар, жестокий розыгрыш... Ты обещал мне! Ты не мог так поступить, слышишь! Не верю! Я буду бежать по полю и дуть на все встречные одуванчики, чтобы закружилась метель, которую невозможно остановить, слышишь?!

Я не хочу плакать. Слезы — слишком банальное. Плакать можно, если разобьешь коленку или уронишь любимую вазу, если свалится кошка с одиннадцатого этажа или заболит зуб... Но плакать при мысли о том, что тебя больше нет — фальшиво, ведь тогда кто-то обязательно кинется тебя утешать, сочувственно-отчужденно хлопывая по спине и подавая носовой платок... Я не хочу знать, что где-то на земле есть твоя могила, какой-то нелепый холмик земли с фотографией и крестом — символом бога, в которого ты не верил...

За окном насупливается темнотой ночь и шуршат шины редких машин. Огни города светятся широкоформатной панорамой. Там происходит жизнь, в ночных клубах и казино веселятся призраки, притворяясь живыми, а ты сидишь передо мной в кресле, читаешь мое стихотворение и спрашиваешь:

— Это ты мне написала? — и, не дожидаясь ответа, киваешь утвердительно. — Про меня...

А я не знала, не знала, не поняла, почему я написала именно так, о расставании... ведь ты сидишь рядом...

Любопытными наждачными взглядами царапают окружающие, пытаюсь понять, что я чувствую. Мучительно хмурю брови, пытаюсь вспомнить... Безусловность люб-

ви заключается в том, чтобы давать свободу любимому существу, не привязывать его к себе так, чтобы он бился, как птица в силках... Я поняла и приняла это, тогда казалось, что всем существом, но я не подозревала о степени твоей свободы! Неужели жизнь показалась тебе старым шифоньером с затхлым запахом ветхого штопаного белья, что тебе так захотелось ускользнуть в небо без меня?

Но все же я нашла способ остановить время. Беру краски, сажусь за мольберт и рисую.

На моей картине летят парашютики одуванчиков, которые никогда не приземлятся, а значит, наша сказка продолжится вечность.

Мой король

Стрелочник вспомнил, что когда они познакомились, она сразу стала звать его «Мой король». Как ни странно, это не выглядело глупо, надуманно, пафосно или лживо, наоборот — естественно, словно только так его и могли для нее звать.

До встречи с ней он был знаком со многими девушками, но такого отклика, который рождала в нем Она, никогда не проявлялось. Это чувство и ощущения от него практически невозможно описать словами. Будто над планетой, веками погруженной во тьму, взошло солнце. Словно слепой с рождения калека вдруг прозревает и видит перед собой весь мир. Или глухой начинает слышать музыку... И это было так прекрасно, что становилось невыносимо страшно. Чем выше забираешься, тем больше падать, а тут пришлось бы лететь с такой высоты и в такую бездну, что шансы уцелеть равнялись абсолютному нулю.

Тогда, в первый момент он еще не успел испугаться и струсить, поскольку степень его ошарашенности перекрывала все защитные механизмы и активность мозга оказалась минимальной. Стрелочнику казалось, что он готов на любые подвиги, потому что отказаться от Нее было невыносимо, невозможно, так же как не может отказаться дышать, пить, есть...

В нем легко, просто и быстро перевернулось и изменилось так много! Из Стрелочника он стал Фонарщиком и Королем. Он оказался большим, могучим и всесильным, он переродился Демиургом, Творцом. Ощущать в себе эту мощь было непривычно, хотя и чрезвычайно приятно. Там, где раньше пасовал, начал одерживать одну за другой победы. В том числе и над собой, что каждый раз вливалось в кровь очередную бешеную дозу адреналина... Но ненавистная реальность все равно потихоньку вторгалась в его жизнь, заявляя свои права. Воспаривший в небо шарик оказался привязанным к земле крепкими нитями различных обязательств, условностей, страхов, привычек, расстаться с которыми было не так просто, как это казалось вначале.

Вокруг роились разные персонажи: другие короли и королевы, славо- и страстолюбцы, дельцы и деяги, драматурги и сценаристы, они же по совместительству Демиурги и Творцы и еще много всякого народа, разного пола, национальностей, вероисповеданий, профессий... Все они смотрели на него, изучали, оценивали, судили, шушукались, ревниво и с осуждением качали головой, то ли завидуя, то ли испытывая пуританские чувства моральной тошноты от его свободы и счастья. Самое сложное для людей — остаться друзьями в счастье другого, не испытывая при этом даже оттенка досады.

Он пытался бороться с миром и самим собой, но внезапно стали накрывать чудовищные панические атаки, грозившие захлестнуть и поглотить полностью. И один раз, когда любимая ненадолго отлучилась, Фонарщик не выдержал: взял и погасил свой фонарь, чтобы покончить с этой историей раз и навсегда.

Проблема заключалась в том, что это дурацкое сооружение все никак не желало гаснуть, проклятый фитиль продолжал раз за разом разгораться снова и снова, и яркое жизнерадостное пламя вновь начинало ярко пылать, сигнализируя всем о немислимой дерзости происходящего.

Рвать по живому оказалось всерьез больно. Словно час за часом, день за днем отгрызать себе руку... Словно каждый день умирать заново, биться в агонии и не знать, кончится ли это когда-нибудь, или муки будут длиться веками...

В конце концов Фонарщику удалось вырыть подходящую яму и спрятать фонарь туда, заменив его игрушечной подделкой, не вызывавшей подозрений. Постоянный аутотренинг и лекарственные средства для амнезии, сердобольно подсовываемые «доброжелателями», помогали держаться в приемлемой для существования форме, пока его не стали мучить странные сны. Сначала его Двойник со сказками, а потом и Она, не желавшая отпускать на свободу, а может, в рабство, писала ему бесполезные стихи и письма...

* * *

Нахлынуло... Внезапно, своенравно,
И жизнью жизнь, и смертью смерть поправ,
Не повествуя, но молча о главном,
О самой ядовитой из отрав —

О той любви, что грезят менестрели,
Зовут принцессы в башнях или без,
В которой уже многие сгорели,
Пока на землю падали с небес.

Фонарщик помнил, как Лис когда-то говорил Маленькому Принцу о том, что по настоящему можно видеть только сердцем, а суть вещей незрима для глаз. Тогда не придавал этим словам особого значения, они были просто набором слов и звуков, но теперь вспоминал их довольно часто.

Он знал, что если решится идти, то предстоит зажечь фонарь и не останавливаться, а двигаться без остановок вперед, чтобы больше никогда не пытаться гасить тот огонь, который жрецы любого храма и любого бога посчитали бы священным.

Впереди расстилалась пустыня, в глубине которой виднелся не то оазис, не то мираж.

Планета Забытой Музыки

Тогда, в самом начале времен, мир все еще казался мне радужным и полным красок, летать было легче, чем ходить по Земле, а мы оба обладали силой демиургов и умением творить чудеса. Я размышляла о том, какой же необыкновенный подарок для тебя придумать, чтобы он остался с тобой навсегда, чтобы никто и никогда не смог повторить что-то подобное...

И тогда я создала для тебя Планету Забытой Музыки.

Ты ее хозяйин и властелин, единственной своей волей способный возродить утраченное из небытия или оставить его там, в мертвом покое, среди множества других печальных обрывков утасующих мелодий... Туда ссылали отдельные песни и це-

лые альбомы, сочинения композиторов и голоса певцов, утраченные цивилизациями музыкальные инструменты и академические открытия, так никому и не пригодившиеся, а потому канувшие в Лету. Я наделила тебя силой, с которой не смогли бы соперничать ни самые беспощадные диктаторы, ни богатейшие люди мира, мнящие, что могут получить все желаемое. Но подобные дары нельзя приобрести деньгами и силой, их невозможно сотворить из алчности или желания польстить.

Ты оценил мой подарок и принял его с радостью, виртуозно, как гениальный дирижер, подчиняющий своей воле целый оркестр, начал управлять подвластным тебе миром. словно ребенок, получивший необыкновенную игрушку, ты с упоением занимался ею, либо милуя, либо приговаривая к пожизненному заключению или смерти.

Искушение властью сделало тебя более смелым и уверенным в себе, но оно стало и одной из причин краха нашей любви. Ты перестал быть милосердным. Вместо прекрасных замков и мостов стал строить тюрьмы и стены, выкапывая вокруг них для надежности глубокие рвы.

Безумие зашкаливающего адреналина, поступающего в кровь, вызывало в тебе жажду более экстремальных ситуаций: от американских горок до русской рулетки, снова и снова. Ты не понимал, что я уже не выдерживаю таких испытаний на прочность, что с каждым днем, с каждой лютой проверкой я все больше таю и рассеиваюсь, как туман в порывах безудержного и шквалистого ветра... А может, я просто мертвела, превращалась в марионетку или в мумию... Кто знает... «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений», — написал Франсиско Гойя к одному из своих офортов. Наш разум спал наяву, рождая их, этих чудовищ, а чудо... чудо ушло...

Тогда я просто сбежала, не только ради себя, но ради нас, ради тебя, чтобы окончательно не стать причиной твоей мутации в того, кого я не хотела и не могла любить. Непрекращающаяся боль стала привычной, я даже научилась находить в ней нечто отрадное, ведь благодаря ей я понимала, что все еще существую и все еще жива. Но мне было страшно.

Окружающий мир казался фантомным, словно он — декорация к фильму про апокалипсис, жестокая компьютерная игра или... настольная игра в «Мафию». Помнишь ее? Игроки там делятся на две команды: мирных жителей и мафию, но никто из игроков не знает, кто есть кто. Разумеется, в том, что он «мафия», никто не признается, поэтому игроки пытаются угадать принадлежность каждого к той или иной группе. В общем, каждый день кого-то из игроков «убивают», пока не побеждает сильнейшая команда или отдельный игрок. В общем, наш мир тоже такая игра или подобная ей. Но иногда начинает казаться, что «мирных жителей» на нашей планете не существует вовсе, все мы — «мафия» и все творим под покровом ночи свой беспредел, лишь прикидываясь добропорядочными гражданами... Но изредка, на закрытых VIP-балах у Сатаны, даже позволяем себе снимать маски благолепия, открывая друг другу истинные лица. Почему? Зачем? Чтобы в очередной раз убедиться в том, что среди нас нет юродивых с белыми крыльями, а все мы — воспитанники ада, за усердную учебу получившие аттестаты с отличием и по-родственному распределенные на теплые местечки...

Какая Планета Забытой Музыки?! А как насчет Планеты Забытой Любви или Планеты Забытой Человечности? Наверно, я юродствую, да... Но мне так хотелось верить в то, что мы сумеем, сможем, справимся с чем угодно, если будем вместе и сохраним нашу любовь... Скорее всего, это моя вина — я недостаточно в тебя верила, недостаточно любила, поле моей любви оказалось слишком слабым и немощным, чтобы удержать тебя рядом...

Если магнитное поле земли создается и поддерживается внутриземными источниками, то поле человека создается и генерируется его собственными внутренними источниками: душой, силой духа, разума, набором генов и приобретенных знаний, возможно, чем-то еще... Чем сильнее то, что внутри, тем больше притяжение снаружи, и источники послабее становятся спутниками самой сильной планеты, захватывающей управление и власть.

Когда-то я считала, что истинная сила всегда добра, поскольку ей нет необходимости что-то доказывать, унижать, властвовать, она нацелена на созидание и демиургию. Но так ли это? А если это лишь иллюзия и обман, позволяющий нам тешиться несбыточными мечтами и продолжать верить в чудо, которого нет? Мне страшно от одной мысли, что это может оказаться правдой, поэтому я гоню ее от себя прочь. Я знаю, я помню те мгновения чуда, когда сама творила планеты и миры для тебя, когда совершала невозможное снова и снова и вокруг расцветали улыбки, теплели сердца, искрились счастьем глаза... Надо только сделать над собой небольшое усилие, опять поверить «несмотря на...», «вопреки» — как угодно, но поверить — так пылко, чтобы ты зажег свой фонарь и пошел, не останавливаясь ни на миг, чтобы искухение погасить огонь, который несешь, миновало тебя, не коснувшись...

Да, я слабая, я всего лишь маленькая испуганная девочка с коробком спичек в замерзших руках, и в ладонке есть только одна спичка, один шанс на миллион случайностей, но я буду верить в него, я буду верить в тебя так, как никто никогда не верил. Когда-то я создала целую планету, а сейчас мне нужно только зажечь спичку, сберець пламя ее огня и поднести к твоему фонарю... Это гораздо проще, чем кажется, надо просто не думать о плохом, не подпускать его к себе, не позволять ему завладеть тобой и верить, верить в то, что любовь все еще может спасти этот безумный отчаявшийся мир.

Я стою посреди пустыни и жду тебя.

Жду, когда придешь и снова скажешь: «Солнце, раньше я думал, что выражение „Опустела без тебя земля“ лишь метафора, красивые слова, но когда я на миг потерял тебя из вида, то испугался, что это навсегда, и понял, что это — правда. Без тебя мне не нужен ни один мир и ни одна планета...»

Тогда я зажгу спичку, поднесу пламя, дрожащее на тоненькой волшебной палочке, к твоему фонарю, а когда фитиль примет этот огненный поцелуй — вспыхнет новая Вселенная. Возьму тебя за руку и отвечу: «Пойдем скорее. Я так долго тебя ждала, но всегда знала, что мы есть друг для друга и что мы обязательно найдемся. Без тебя мне тоже не нужен ни один мир, но знаешь... он существует только потому, что в нем есть мы оба. Ты и Я».

Геннадий МОРОЗОВ

УЧАСТЬЕ

Вот-вот и к нам придет ненастье,
Поскольку ветер все свежей...
Я не прошу к себе участия —
Оно не нужно мне уже.
Твое участие — как несчастье!
Оно от стрессов не спасет.
Судьбы осколочное счастье
Душа, увы, не соберет.
Оно разбилось, как о горе
Лавинное... Нас не спасти.
С тобою можем только вскоре
К покою вечному брести.
И то — взвзброд... Не то что раньше,
Где были мы вдвоем всегда...
Казалось нам, что счастье — дальше,
Оно не здесь, а в городах,
За горизонтом, в дымке синей,
Почти за тридевять земель...
А здесь от скуки — сердце стынет,
Здесь день — сплошная канитель,
Не говорю уже о ночи,
Когда в сгущающейся мгле
Душа вдруг высказаться хочет
О том, как мало на земле
Прощали мы с тобой друг друга,
Не зная, что там впереди:
Надлом духовного недуга
Иль завершение пути
Среди увянувшей природы,
Явившей суть свою тогда,
Когда разверзлись неба своды —
И пали нам на плечи годы,
Как водопадная вода.

Геннадий Сергеевич Морозов родился в 1941 году в г. Касимове Рязанской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в геологических экспедициях в Карелии и Якутии и редактором художественной литературы Лениздата. Поэт, переводчик, детский писатель. Является автором книг стихов и прозы. Член СП. Почетный гражданин города Касимова. Живет в Санкт-Петербурге.

ПРИЛЕТ ГРАЧЕЙ

Сегодня день не снегопадный,
А тихий, солнечный... С утра
Грачи гнездятся... Сердце радо!
Пришла прощания пора
С зимой, метельной и морозной.
И затяжной и продувной.
Ее суровые угрозы
Я часто слышал за спиной,
Когда спешил тропинкой к дому
По нашей улочке кривой,
Где было так мне все знакомо,
Но как бы виделось впервой:
И в небе облачные груды,
Что громоздились, словно льды,
И ветряные перегуды,
И вольный переплеск воды
В уже оттаявшей канаве,
В реке, пруду или ручье,
Куда свой теплый луч направил
Денек, дремавший на плече
У похудевшего сугроба,
Что таял, таял... И — потек...
Оврага влажного утроба
Весенних, шумных вод поток
Прияла... И залили воды
Поля, где борозды черны,
Где даль, сливаясь с небосводом,
Являла веянье весны,
Где распахнувшиеся выси
Прозрачной синью налились...
А вслед за водами — и мысли
Рванулись! И — оборвались.

* * *

Шумит последний летний дождь —
С ненастным небом расстается.
И по земле проходит дрожь
И в сердце болью отдается.
Друг к другу жмемся все тесней.
И все тревожней наши взоры...
В грозу нам видится ясней,
Как широки у нас просторы!
Как широки! Не охватить
Ни нашей памятью, ни мыслью,
Как не найти живую нить,
Что единит с небесной высью.

ПОПЫТКА ПРОЩЕНИЯ

Те женщины красивые, которых
Я так любил, состарились они.
Угасли их взывающие взоры
Среди мирской, пустяшной толкотни.
Нет, нет, они, конечно, не забыли,
Как мне дарили трепетную плоть...
Они меня за многое простили,
Поскольку их самих простил Господь.
Я тоже у него прошу прощенья...
За все грехи, о Господи, прости!
Сломи гордыню! Дай мне утешенья,
Спрями к Тебе ведущие пути.
Я нынче утешаюсь самым малым,
Словесный зов в душе своей храня...
Нет у меня ни злата и ни славы,
Зато есть хлеб духовный у меня,
Да чувства чистые, что я когда-то
С любимой разделял... Ну а ее
Науськивал бесенок нагло вато:
«Очнись! Его признания... вранье!»
Как странно! Я ничуть не оскорбился!
И злым не стал от злобы и хулы,
Но вдруг почувствовал, как весь преобразился,
Как будто надо мною засветился
Тот зыбкий луч, что вырвался из мглы.

ОБЛАСКАН БОГОМ...

Поэзия, среди твоих имен
Есть дивный песнопевец! Это он,
Есенин, чья мятежная душа
Со скоростью — стремительной — стрижа
Мелькала, словно гибельная тень
Всех разоренных сел и деревень.
Провидец, забияка и шалун,
Сшибавший с неба шапкой... сотни лун.
Как только новенькая выглянет луна,
Есенин вспыхивал, крича: «Обречена!»
И шапка вверх летела... Свист и визг!
Поэту подмигнув, смеялся лунный диск.
«Что скалишься? — с ребяческим азартом
Он восклицал: — Я ставлю жизнь на карту!
К примеру на... бубнового туза.
Не пью. Женюсь. Встаю под образа...»
...То был загул, безудержный кураж
С безумной бесшабашинкою... Наш!

Резвился и шумел гуляка и проказник,
Весь — нараспах — как яркий русский праздник!
На сцене, распаясь, кричал: «Темно в стране!
Но строчечка, светясь, еще журчит во мне...»
Дурачась, как он радостно любил
Ласкать собак и целовать... кобыл.
А женщин утешал: «К поэтам — не лепитесь,
Одумайтесь, дурашки, оглянитесь
На тех предшественниц, что полюбили стих,
Они несчастны... Не судите их.
А мне не льстите! Извините, вы лукавы...
Я шел по жизни то налево, то направо.
А вот куда идти, то знает лишь Христос.
Но в год семнадцатый, в разгар кровавых гроз,
Чуть не угас во мне тот робкий огонек
Любви и веры... Красный вихорек¹
Святую Русь пронизывал насквозь...
Мой путь вихляв — одна сплошная скользь».
Таков Есенин... Он — один! Особой стати.
И в строчках удалец, и с барышней в кровати.
Обласкан Богом он! А славою любим.
Мог только Пушкин потягаться с ним,
С его свирельным, чутким, певчим даром...
Дар для него явился тем пожаром,
Что выжег душеньку нежнейшую дотла...
Есенин знал, что в мире лжи и зла
Коль в Слове — свет, Бессмертие — зола.

¹ Имеется в виду революционный вихрь 1917 года.

Анастасия СКОРИКОВА

* * *

Лгут зеркала, — какой же я старик!

У. Шекспир

Моя рука — его в миниатюре.
Да и сама я на отца похожа.
Но то, что было свойственно натуре,
что оказалось внешности дороже,

исчезло вместе с ним, предполагая
неповторимость личности, загадку.
И в сущности-то, я совсем другая,
хоть к этому привыкла недостатку.

Но в зеркале единство обнаружив,
в муть отраженья с жаром очевидца
нырнуть пытаюсь, с каждым годом глубже,
и с папиной улыбкой возвратиться.

СТАРЫЙ ДОМ

А я не тороплюсь, останусь тут.
Часы идут, шуршит листва на ветке.
Годами создаваемый уют
с изысканностью выцветшей виньетки,

барочным сном, порочным рококо,
роскошным прошлым, как плющом, увитый...
Как в этих стенах стариться легко,
век доживать вдвоем с кариатидой!

Хотя плечо ослабло, не страшусь
быть вместе с ней поддержкой и опорой
мгновений чудных, сохраняя груз
обид горячих, радостного вздора.

Менялось все, а этот дом стоял.
Поэтому и не спешишь наружу.
Ночное небо отразив, канал
вплывает внутрь, заполняя душу.

Анастасия Юрьевна Скорикова родилась в Ленинграде в 1969 году. Окончила факультет прикладной математики ЛГУ. Автор книг «Птичий век» (2003), «Золотая нить» (2007), «Виадук» (2015), публиковалась в сборниках «Автограф», «6 ЛИТО на Звенигородской», в журнале «Звезда», живет в Санкт-Петербурге.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Налей мне водочки, и будет, как у всех,
уютным дом. Дадим себе поблажку —
отпразднуем сегодня первый снег.
Наденет город белую рубашку.
Мы вспомним этих и помянем тех,
чьи души оказались нараспашку.

Метет снаружи, превращается вода
в кристаллы сна — в серебряной порфире
забвения замерзшая среда.

А здесь сквозняк гуляет по квартире,
как гость, презревший слово «никогда»,
забывший, что уже не в этом мире.

Небрит, простужен, непростительно незрим,
Молчание — упрека подоплека —
воздушным шлейфом тянется за ним.
Ему там плохо, знаю, одиноко.
Но мы нальем еще, поговорим,
на талый след уставясь у порога.

ПАТРИОТ

Похолодало. Там, где жарко, быть убитым —
хотя и малый риск, но все же есть.
Кто в молодости был космополитом,
с годами патриотом станет здесь.

Еще не старость, но какая-то усталость...
Зачем чужой Акрополь, Колизей?
Лишь то и согревает, что осталось
в сознании — в кругу родных идей:

Опочка сонная, туда ведет дорожка
из незабвенных, но избитых слов,
пустырником пропахшая Пустошка
и в ближнем зарубежье — Могилёв.

* * *

Заходишь с мороза в кафе — шоколадом
здесь пахнет, корицей, настоечкой горькой.
Но чтобы согреться, мне много ли надо —
двойной капучино, где сахара горка
на облачке пены без тени обузы
не тонет в пучине, подтаяв отчасти.

А рядом за столиком слышно — французы
воркуют красиво о счастье. О, счастье!
Французский язык ведь настроен на это,
я с ним отдыхала, забыв про нагрузки
(был в школе одним из любимых предметов).
Не то что великий, могучий наш русский:
задуматься стоит лишь — счет обнаружишь
за кофе, за воздух, сгустившийся, что ли.
Заплатишь, окажешься снова снаружи
с заснеженным небом в кристалликах соли.

МАЙСКИЙ ЖУК

Щегол Мандельштама и бабочка Фета
уже упорхнули... Весной разогрета,
я майского снова ловила жука.
А он зависал виртуозно в полете,
садился на дерево, как вертолетик.
Тянулась с панамкой рука.

Какая бомбошечка: усики, глазки!
Вот крепкий орешек из солнечной сказки,
в белесых ворсинках брюшко, жесткокрыл.
В руке, сохраняющей тяжесть живую,
держала его, ощущая: живу я.
Казалось, пропал прежний пыл.

Поймаешь опять и удержишь в ладони,
назад возвращаясь, где нас не догонят
отчаянье, глупость, обида и стыд.
Блаженно стоишь под раскидистым кленом
ребенком — той девочкой, вечно влюбленной
во всех, кто летит и жужжит.

* * *

День из детства. За окнами сумерки:
двор осенний то в охре, то в сурике,
фонарей золотые шары.
Допоздна задержались родители,
но меня тут без них не обидели.
Я одна принимаю дары.

За буфетной разохшейся дверцею,
где хранились душистые специи,
сахар в вазе лежал — целый воз.
Потому-то с тех пор одиночества
мне, как сладкого вечером, хочется —
рафинада спрессованных звезд.

ХУДОЖНИК, СПАСАЮЩИЙ МИР¹

Маленький мальчик вышел в поле... Отец велел пригнать лошадей, и он старался выполнить поручение. Но на душе было грустно. Никак не давалось ему учение книжное. Братья учились успешно и споро, а он, как ни старался, не мог осилить славянские слоги.

В поле, под дубом ребенок увидел молящегося черноризца.

— Отче! Помолись за меня, дабы дал мне Господь разумение грамоте.

Сердечна и вдохновенна была молитва святого старца. Из маленького коврижца достал он кусочек просфоры. Благословив мальчика, напутствовал его такими словами:

— Возьми, чадо, и съешь. Сие дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания.

...Этот мальчик был отрок Варфоломей. В монашестве — Сергей Радонежский. «Преподобне и богоносне отче наш, Сергие...» — как молитвенно обращаются к нему христиане уже семь долгих веков.

«Я лечил глаза в городской больнице, какой-то дряхлый старик подошел ко мне и стал говорить, что на краю города Киева, в поле, занесенном снегом, зацвела яблоня и дала чудные яблоки, зимой, и что он один знает, как мне пройти туда. Это поразило меня необыкновенно, почему не знаю, я заплакал, достал пять копеек, данных мне на завтрак, поцеловал его руку при всех сидящих больных и убежал. Его рассказ чудно взволновал меня, и теперь еще во мне остался отголосок детского чувства, он мне кажется правдивым»².

Этот мальчик был Василий Чекрыгин. Художник, мыслитель, гений русского авангарда.

Сцена из жития и сцена из жизни подобны друг другу, таинственно переключаются через время. Просфора, данная старцем-пресвитером семилетнему отроку в знак разумения учения книжного, яблоня, чудесно плодоносящая среди зимы... Такие ясные и такие простые вхождения благодати в наш эмпирический мир, свидетельства его связи «с миром иным, с миром горним и высшим»³, тем, что в фи-

Анастасия Георгиевна Гачева — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, заведомо музейно-экскурсионной работы библиотеки № 180, автор пяти книг и более 270 статей и публикаций по русской философии и литературе. Лауреат медали Российской академии наук для молодых ученых (2000), победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года-2014».

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-02709) и в ИМЛИ РАН.

² Чекрыгин В. Заметки по годам (1897—1920). Цит. по комментариям Н. И. Харджиева к «Воспоминаниям о В. Н. Чекрыгине» Л. Ф. Жегина // Панорама искусств. Вып. 10. М., 1987. С. 230.

³ Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 290.

нале времен обнимет все бытие, преображая материю нетварным фаворским сиянием, претворяя смертное в бессмертное, конечное в бесконечное...

Соприкосновения реальности и сверхреальности, по-разному обнаруживающие себя в природе, исторических событиях, судьбах людей, в жизни Василия Чекрыгина угадываются отчетливо. Он и сам их опознавал и внимал их сокровенному смыслу. Ему, художнику, было дано то высшее зрение, которое позволяет читать в Книге Бытия и видеть за образом Первообраз. Быть может, отсюда «иконность» самых авангардных, самых дерзких его творений — неожиданно проявляется она то в композиции, организуя художественное пространство картины, то в обрисовке фигур, то в линиях, которые его рука уверенно ведет по бумаге, как будто ведомая иной — знающей и вечной — Рукой.

...Он появился на свет в Крещенский Сочельник, 6 января 1897 года. Это был канун Богоявления, великого дня, когда Спаситель, чудно родившийся от Девы, пришел на Иордан принять крещение от Иоанна Предтечи, и мир услышал голос Творца своего: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

Мальчик родился «в рубашке». В народе есть примета: тот, кто родился «в рубашке», обязательно найдет свое счастье. Для Чекрыгина это не было профанное, мещанское счастье. Это было счастье, накрепко сплетенное с титаническим напряжением творчества, с мукой рождения образа. Не спокойный, ровный огонь — но обжигающее страстное пламя. Близкий друг Чекрыгина, художник и теоретик искусства Л. Ф. Жегин, вспоминал, что в три последние года жизни, когда все его существо было захвачено мечтой о фреске, он делал за один день по тридцать рисунков⁴.

Еще одна символическая деталь из детства. Однажды отец взял маленького Васю с собой на пасхальную заутреню. Утомленный ребенок заснул у него на плече. Вдруг в храм влетел голубок, и мальчик тут же проснулся.

Позднее, когда шестнадцатилетний Чекрыгин будет зачитываться Достоевским, в романе «Подросток» он встретит рассказ главного героя, почти что сверстника, о том, что запомнилось ему из младенчества:

Помню, <...> когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу <...>; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно...

— Господи! Это все так и было, — сплеснула мать руками, — и голубочка того как есть помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, голубок!»⁵

Голубь, влетающий в храм, живое свидетельство Духа Святого, просветляющего разум мыслителей, вдохновляющего писателей и художников...

Поселок Жиздра, где родился Чекрыгин, был затерян среди брянских лесов. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Киев. Отец, Николай Николаевич, служил приказчиком в магазине готового платья. Мать, Мария Игнатьевна, по происхождению полька, из обедневшей аристократической семьи Мечковских, занималась хозяйством. Семейство было большое: десять детей, Василий — шестой.

⁴ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине // Панорама искусств. Вып. 10. С. 218.

⁵ Достоевский Ф. М. Подросток // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 13. Л., 1975. С. 92.

Он начал рисовать, когда ему было пять лет. На стенах и на полу мелом или карандашом изображал лошадей и собак. Тех, что всего ближе и преданнее человеку. В ком, как и в человеке, когда-то воссияла искра сознания, но не разгорелась светлым творящим пламенем, а только теплится под покровом покорной животности, чая грядущего пробуждения. Потом, в первые годы учебы в Москве, он напишет несколько «Зимок с лошадами» (1910–1911): в пейзажи, тронутые левитановской душевностью, будет вводить «коняшку», «как бы раздвигая этим человеческие чувства»⁶. «Лицо коня прекрасней и умней. / Он слышит говор листьев и камней...» Поэт Николай Заболоцкий напишет эти слова в 1926 году, когда Чекрыгина уже не будет в живых. Но ему будут известны картины другого знаменитого авангардиста Павла Филонова: «Мужчина и женщина» (1912–1913), «Святое семейство» (1914), «Масленица» (1913–1914), «Пир королей» (1913), которого с Чекрыгиным, при всей разнице творческих манер, объединяла просветленная любовь к «меньшой твари», склонение перед ее терпеливой и мудрой кротостью.

Ни ребенком, ни взрослым Василий Чекрыгин не мог видеть страданий животных. Особенно когда эти страдания причинял человек, тот, кого от начала времен Господь поставил добрым хозяином, а не насильником мира. «Однажды, желая спасти котенка, сорвался с крыши и упал с высоты второго этажа. Но от матери это скрыл, сказав, что упал с качелей. После всю жизнь не совсем правильно ступал на левую ногу»⁷. В десять лет вместе с братьями Петром и Николаем нашел у пруда слабую, больную лошадь. Кто-то бросил ее здесь умирать — мол, отслужила свое. Чего только ни делали мальчишки, чтобы спасти животинку: носили хлеб и сено, подкладывали тряпки под голову, когда шел дождь, прикрывали худое тело шинелью. Через неделю случилось чудо. «Только лошадь рванула, стала на ноги, ржнула — и пошла». Владимир Маяковский, товарищ Чекрыгина по училищу, при всей своей трубной, сокрушительной мощи, муку бессловесных существ, как и Чекрыжка, принимал оголенным, кровоточащим сердцем. Его «Хорошее отношение к лошадям» — словно парафраз киевской были.

Братья, с которыми Василий выхаживал лошадь, были младше по возрасту. Оба по-своему были талантливы: писали стихи. Из старших Василию был близок Захарий. Он тоже рисовал. В юности хотел стать монахом, отправился ради этого на Соловки, но в монастырь принят не был.

«Были бы братья, будет и братство...»⁸ Эта высшая правда родственности, которую так глубоко чувствовали Достоевский и Федоров, будущий духовный учитель художника, во всей полноте отразилась в судьбе Чекрыгиных. Василий трепетно любил своих братьев, и они отвечали ему той же безмерной любовью. Когда семья получила известие о смерти художника, у Петра отнялись ноги, и он целый месяц был прикован к постели.

Чекрыгин все делал раньше привычного возраста. Как будто судьба, зная, как мало отпущено ему лет, настойчиво торопила его. В городское училище поступил, когда исполнилось семь: принимать не хотели, но потом все-таки приняли; в иконописную школу при Киево-Печерской лавре — в двенадцать, в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — в четырнадцать лет. И всюду рисовал, рисовал... Мать вспоминала, что в Киеве, куда в начале 1910-х годов. Василий приезжал

⁶ Из воспоминаний В. П. Иванова. Цит. по: Мурина Е. Василий Николаевич Чекрыгин // Мурина Е., Ракигин В. Василий Николаевич Чекрыгин. М., 2005. С. 10.

⁷ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 204.

⁸ Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Рукописные редакции // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 15. Л., 1976. С. 243.

на каникулы, он рисовал очень много. «Вставал рано, в 5–6 часов. К чаю не дозавешься — куснет хлеба и опять за кисть»⁹.

Во всем, что касалось искусства, будь то вопрос, где учиться, как и у кого, Чекрыгин был не по летам самостоятельным. Для поступления в иконописную школу нужно было получить разрешение Киевского митрополита. Мальчик сам подал заявление, сам добился разрешения. Когда начал заниматься, осваивал не только икону и фреску, но и рисунок с натуры. И как только понял, что перерос уровень преподавания в школе, несмотря на протесты отца, с 25 рублями в кармане уехал в Москву. В училище поначалу занимался усердно, но когда его творческая манера пошла вразрез с тем, чему обучали, все силы бросил на самообразование. По многу часов проводил в училищной библиотеке, «рассматривая книги по искусству древних эпох — Египта, Греции, Рима, Византии, Индии»¹⁰, изучая творчество художников Возрождения и Нового времени. В класс же «являлся редко (к самому концу урока), но когда принимался за работу (подрамник любил ставить прямо на пол, а сам садился по-турецки), краски молниеносно загорались и обозначался особый, ему одному свойственный строй форм»¹¹.

В Киеве, в родительском доме, было хоть и скромно, но сытно. В Москве он часто живет почти впроголодь. Нет денег на комнату — поселяется с несколькими товарищами в бесплатном общежитии братьев Ляпиных. В каменном доме на Большой Дмитровке, перестроенном его владельцами, селились бедные студенты университета и слушатели Училища живописи, ваяния и зодчества. «Ляпинка» спасла жизнь многим. Но как же скуден и труден был ее быт! Маленькие, темные комнаты, в каждой ютятся по четыре жильца. Холод, сырость и грязь. В столовой за пятнадцать копеек дают щи и кашу, но этих пятнадцати копеек часто нет за душой. Хорошо, хоть чаем с хлебом можно разжиться бесплатно!

Чекрыгин пытается подрабатывать в писчебумажном магазине. Продает товарищам свои «Зимки с лошадами», за которые — для училища событие беспрецедентное — в 1911 году он получил сразу 10 первых категорий на 33-й выставке училища. Положение немного облегчает стипендия им. Левитана, которую ему дают за успехи первого года. Этот небольшой, но стабильный прирост (с 1912-го Чекрыгин уже может снять комнату) будет поддерживать его до конца 1913-го, когда училищный совет, стремясь наказать талантливую ученика, увлекшегося «вредными влияниями» авангарда, постановит лишить его стипендии.

Впрочем, внешняя сторона жизни Чекрыгина заботила мало. Есть крыша над головой — и достаточно. Он весь ушел в творчество. Ставил себе предельные, недостижимые цели. «Говорил, что напишет такой пейзаж, „какого никто никогда не писал“»¹². Экспериментировал с цветом и формой. Даже «пытался открыть пластическую схему (вроде схемы Леонардо или Дюрера) головы лошади восточного фронтона Парфенона и чертил какие-то треугольники, якобы положенные в основу этого мрамора»¹³. С воодушевлением говорил об «образе», видя в нем основу работы художника, творчески претворяющего бытие.

Л. Ф. Жегин, с которым Чекрыгин сблизился в 1911 году, оставил впечатляющий его портрет: «Это был тоненький хрупкий мальчик с живыми карими глазами. Белокурые волосы, небрежно подстриженные „в скобку“, скрывали высокий чистый лоб. <...>

⁹ Это воспоминание М. И. Чекрыгиной приведено Л. Ф. Жегиним (Панорама искусств. Вып. 10. С. 206).

¹⁰ Мурина Е. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 13.

¹¹ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 211.

¹² Там же. С. 206.

¹³ Там же. С. 211.

Enfante terrible, он был любимцем всего училища. „Чекрыжку“ знают все, со всеми он на „ты“. Его проделки отличались каким-то легким, изящным характером. <...>

Его можно встретить всюду, и в мастерских, и в скульптурной, но больше всего в коридорах и в чайной, где он ораторствует, подымая указательный палец своей тонкой красивой руки <...>.

Он полон самых противоречивых черт. Где его подлинное лицо — в бурной экзатичности художника или в спокойной выдержке мыслителя? Правда и вымысел переплетались у него в самых прихотливых формах»¹⁴.

Знакомство с Жегиным открывает Чекрыгину двери дома его отца, знаменитого архитектора Ф. О. Шехтеля, одного из творцов русского модерна. Он часто бывает в семье Шехтелей, пользуется прекрасной домашней библиотекой, содержащей редкие книги по искусству. С сестрой Жегина Верой подружится так же горячо и сердечно, как с братом. Уезжая из Москвы на каникулы в Киев, будет писать ей письма, делаясь личными и художественными впечатлениями, планами, суждениями о современном искусстве.

В марте 1913 года Л. Ф. Жегин и В. Н. Чекрыгин приводят в дом Шехтелей молодого В. В. Маяковского. Маяковский учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, но был на четыре года старше Чекрыгина. Будущий поэт, на правах старшего, опекал юного друга, который, по воспоминаниям Л. Ф. Жегина, из-за своей горячности и принципиальности во всем, что касалось искусства, нередко попадал во всяческие «истории». Чекрыжка же по своей веселости подчас подтрунивал над верзлой художником: «Тебе бы, Володька, дуги гнуть в Тамбовской губернии, а не картины писать»¹⁵.

Четверка друзей — Маяковский, Жегин, Чекрыгин и Вера — общаются со всей увлеченностью и беззаботностью молодости. То гуляют по Москве, то ходят на выставки, то участвуют в художественных и литературных собраниях, то вечерами просиживают в доме Шехтелей в комнате Жегина: «сидим, покуриваем, пьем чай, рисуем»¹⁶.

Именно в этой комнате делалась первая книжка Маяковского «Я». В ее подготовке и издании участвовала вся компания. Бегали по типографиям, разыскивая, где бы согласились напечатать эпатажный сборник стихов. Оформляли «в традиции самописных книг, заявленных французскими символистами и подхваченных русским авангардом»¹⁷. Обложку к книге монтировал Маяковский, рисунки делали Чекрыгин и Жегин. Васенька под диктовку поэта тщательно выписывал стихотворные строки, имитируя церковнославянскую вязь.

Летом 1913 года Чекрыгин часто приезжает в Крылатское, на дачу Шехтеля. В саду выстроена мастерская для занятий живописью. Там он работает.

Работает и в Москве, на новой квартире. В светлой комнате на четвертом этаже Колокольникова переулка. Пишет сразу несколько полотен, а закончив, раскладывает их на полу. «В таком виде, — свидетельствовал Л. Ф. Жегин, — они как бы внутренне соединялись. Создавалось впечатление фрески. Отношение к пространству, композиции, цвету и самой фактуре — все изобличало в нем душу великого мастера фрески лучшей поры русского искусства или искусства треченто. О фреске как о своем жизненном деле он говорил уже тогда, отмечая все то мелко-жизнейское, что могло бы помешать осуществлению этого „самого главного“»¹⁸.

¹⁴ Там же. С. 208, 209.

¹⁵ Там же. С. 212.

¹⁶ Шехтель В. Ф. Дневник 1913 г. Цит. по: Коваленко С. А. Звездная дань. Женщины в судьбе Маяковского. М., 2006. С. 71.

¹⁷ Коваленко С. А. «Звездная дань». Женщины в судьбе Маяковского. С. 81—82.

¹⁸ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 214—215.

Стремление к монументальности в искусстве сочетается с жадной универсальности в знании. С каждым днем Чекрыгин расширяет круг чтения. На первом месте — Библия и Евангелие, с ними он не расстанется никогда: даже отправившись в первое путешествие за границу, в вагоне читает Новый Завет. А рядом — Сервантес, Шекспир, Данте, Гёте, Байрон и Шиллер, из русских — Пушкин, Тютчев, Гоголь и, разумеется, Достоевский. Углубляется интерес к философии. Прочитан Ницше — но его человекобожие не впечатляет Чекрыгина. С детства он впитал другую традицию, где гордое, самовластное «я», творящее во имя свое, ничто перед личностью, исполняющей на земле Божий завет. Недаром еще с иконописной школы укоренилась в нем привычка отвечать не «Спасибо!», но церковным, монашеским: «Спаси, Господи!»

В истории мировой культуры у него свои «вечные спутники»: Фидий, Джотто, Мазаччо, Леонардо да Винчи, Рембрандт. Никто из них не признавал самостийного творчества, не озаренного веянием Духа Божия. Опытнo, а не умозрительно постигали они ту синергию человека с Творцом, о которой будут спустя столетия писать философы русского религиозного возрождения.

Картины Чекрыгина первой половины 1910-х годов вбирают в себя впечатления от Гойи, Эль Греко, Сезанна, Курбе. Великих европейцев он прививает на русскую почву, соединяет их искания с исканиями своих современников. В 1913 году под впечатлением Эль Греко пишет картину «Взыскующие Града» — своего рода отклик на волну богоискательства, которую породил Серебряный век. Автокомментарий к картине: «Истомленные ищут нового града Иерусалима <...> Драматический колорит. Автор искал новых путей выражения»¹⁹.

Что касается русских художников, то после Левитана Чекрыгин увлекается Врубелем, боготворит его цвет. Преклоняется перед Александром Ивановым, его акварелями на ветхозаветные и евангельские сюжеты, «Явлением Христа народу». Подобно Иванову, он убежден, что подлинное искусство должно религиозно преобразовать человека, быть полем его Встречи с Тем, Кто есть источник бессмертной, неветшающей жизни.

Вера и любовь ко Христу у авангардиста Чекрыгина были не менее глубоки, чем у боготворимого им иконописца Андрея Рублева. Л. Ф. Жегин вспоминал, как однажды в Мюнхене они заспорили. Спор постепенно разгорячился и наконец принял резкий, «слишком обостренный характер».

Вдруг Чекрыгин заплакал. Я подошел к нему, мучась раскаянием. Он лежал на диване с закрытыми глазами, его бледное лицо было спокойно.

— Он так хорошо говорил, — вдруг услышал я, — и все-таки его распяли.

А мне-то показалось, что он заплакал от обиды!»²⁰

Лики Спасителя, созданные древнерусским изографом, невольно приводят на ум слова Достоевского о Христе как «идеале человека во плоти», «вековечном от века идеале, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек»²¹. У Чекрыгина, который позднее создаст свои художественные вариации на евангельские сюжеты, образ Христа наследует Христу Рублева. Его Христос — не Судья, а Спаситель и Воскреситель, Он Тот, на кого взирают не со страхом, но с упованием и любовью, чая избавления от смерти, страдания, несовершенства.

Любовь Чекрыгина ко Христу неразрывна с любовью к земле, по Которой прошел Он, возвещая ее облечение в новые, божественные одежды. При всей своей

¹⁹ Чекрыгин В. Н. Картины. Цит. по комментариям Н. И. Харджиева к воспоминаниям Л. Ф. Жегина о В. Н. Чекрыгине. С. 231.

²⁰ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 218.

²¹ Достоевский Ф. М. Записная книжка 1863—1864 // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 20. Л., 1980. С. 172.

увлеченности высоким спиритуализмом Эль Греко русский художник болеет душой за бытие, за живую плоть мира, чаёт ее просветления и преображения. Поэтому так дороги ему фрески и иконы Рублева, акварели Александра Иванова: и те и другие являют образ мира, пронизанного фаворским сиянием, материи, претворенной в Богоматерию. В работах 1913 года «Портрет», «Поэт», «Портрет В. Е. Татлина» напряженный спиритуализм великого испанца соединяется с духо-материальностью русской иконы. Дух здесь властвует над материей: собирает и держит ее, структурирует и придает ей форму; вытягивая в вертикаль, стремится ее ввысь, к восхождению. «Три фигуры» (1914–1915), композиционно повторяющие иконографию «Преображения», — порыв земной, тяжелой, самостной плоти превзойти самое себя, вместить в себя дух, озариться тем светом фаворским, который проступает сквозь темноту в верхней части картины. «Претворение плоти в дух» (1913), написанное годом ранее, являет — в ином, не хронологическом, но метафизическом измерении — следующую стадию этого преображения. Контуры, очерчивающие телесную границу, размыты, резкие телесные очертания сглажены. Обособленность, атомарность индивидуумов преодолена не только на психическом, но и на физическом уровне. Тела становятся взаимопроницаемы и проницаемы для внешнего мира. Это не развоплощение, но именно преображение: тела душевного в тело духовное, опрозраченное, нетленное, обладающее, как сказал бы философ Н. Ф. Федоров, «последовательным вездесущием». В «Трех фигурах» — черно-фиолетовые краски перемешаны с охристыми всполохами: так рисует Чекрыгин непросветленное, мятежное, страстное естество человека. Лишь изредка цветовую палитру картины прорезают небесно-голубые, лучистые линии, исходящие от фаворского источника сверху полотна. «Претворение плоти в дух» — победное торжество белых, синих, золотых тонов. Темнота побеждена усилием преображения. Краски светятся, играют, живут, сплетаются и рождаются друг с другом, как трепещущие, живые сущности.

Финальную точку духо-телесной метаморфозы, обозначенной картинами «Три фигуры» и «Претворение плоти в дух», Чекрыгин поставит через семь лет — в эскизах росписи «Собора воскрешающего Музея». Тогда же его соратник по «Маковцу», художник Сергей Романович, в творческой манере Чекрыгина создаст диптих «Души». «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало». Тропарь из канона Пасхи — своего рода образно-смысловый эпитет к диптиху, пасхальный смысл которого подчеркивают золотисто-красные и белые тона. Души здесь оформлены, телесны, но это не стреножащая земная телесность, а обожженная, опрозраченная телесность «нового неба и новой земли».

Именно потому так любил Чекрыгин икону, «творение мудрейшего из искусств», что она есть знамение Царствия Божия, духоносной материальности, что, как напишет он шесть или семью годами спустя, ее «темой служит образ во всей ясности очищенной плоти»²². На выставку древнерусского искусства, которая в 1913 году открылась в Московском императорском археологическом институте и на которой были представлены расчищенные иконы XV–XVII веков, художник ходил несколько раз и вытаскивал туда своих друзей. «Выставка икон меняет мировоззрение, или, вернее, укрепляет»²³, — запишет он потом в своих автобиографических заметках. Действительно, для русской образованной публики и деятелей искусства знакомство с древнерусской иконой эпохи ее расцвета, во всей гармонии ее красок, во всей глубине ее религиозного символизма, стало настоящим откровением. Газеты и журналы пестрели восторженными отзывами художников, критиков, искусствоведов.

²² Чекрыгин В. Н. Мысли 1920–1921 // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 219.

²³ Чекрыгин В. Заметки по годам (1897–1920). Цит. по.: Мурина Е. Василий Николаевич Чекрыгин // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 20.

С. Маковский назвал явление русской иконы «началом нового художественного сознания в России»²⁴. А историк искусства П. П. Муратов так оценил значение выставки: «Так внезапно перед нами открылась огромная новая область искусства, вернее сказать — открылось целое новое искусство. Странно подумать, что еще никто на Западе не видел этих сильных и нежных красок, этих искусных линий и одухотворенных ликов. Россия вдруг оказалась единственной обладательницей какого-то чудесного художественного клада»²⁵.

Впрочем, если для многих представителей московской богемы, в большинстве своем разорвавших связи с церковной традицией, знакомство с иконой действительно стало «потрясением основ», сдвигая, а то и существенно перестраивая их взгляд на русское искусство и перспективы его развития, то самого Чекрыгина, прошедшего иконописную школу, а первые художественные впечатления получившего от мозаик и фресок Св. Софии Киевской, выставка древнерусского искусства только укрепила в его внутреннем выборе: икона и фреска — вот что должно быть опорой художнику, коль скоро он хочет быть не отвлеченным фантазером или копиистом действительности, а соратником на Божией ниве, вносящим приросток в Творение. В 1920 году в одном из докладов по философии искусства Чекрыгин развернет трактовку Иконы как Образа, противостоящего хаотическим и смертным стихиям, а художника, призванного вобрать в себя ее опыт, как «главного первосвященника мира»²⁶, космизирующего бытие, сообщающего ему совершенную, нетленную форму.

Эта укорененность в традиции в конечном итоге и предопределила особый путь Чекрыгина внутри авангарда. Общаясь с ведущими его представителями: М. Ф. Ларионовым, В. Е. Татлиным, Н. С. Гончаровой, Д. Д. Бурлюком, В. В. Маяковским, участвуя в коллективных выставках, эпатажных акциях, вроде «Первого в России вечера речетворцев», прошедшего 13 октября 1913 года, он был совершенно самобытен и неповторим в том, что выходило из-под его кисти или карандаша. Оценивая картины Чекрыгина, представленные на так называемой выставке «№ 4» («Футуристы, лучисты, примитив»), что была устроена М. Ларионовым на Большой Дмитровке в марте—апреле 1914 года, «Московская газета» писала: «Особняком стоит Чекрыгин. Он не похож ни на кого. У него собственный путь — путь широкий и мощный, как полноводная река»²⁷. Этот «широкий и мощный» путь определялся тем соборным мироощущением, которым жили творцы древнерусской иконы и который одушевлял молодого художника, уже в начале 1910-х, задолго до своих монументальных замыслов 1920—1922 годов, мечтавшего о возрождении синтетической формы фрески.

За разрыв с традицией не принял Чекрыгин в конечном счете и футуризма, хотя в 1912—1913 годах и солидаризировался с его протестом против салонного искусства, а в феврале 1914 года даже покинул Училище живописи, ваяния и зодчества в тот же день, когда училищный совет исключил из состава учеников Маяковского и Бурлюка. Положительная же программа старших друзей художника оказалась ему чужда. В ней увидел он обособляющую тенденцию, шедшую вразрез с предчувствием синтетического искусства будущего, которое не будет бояться вбирать и претворять в себе прошлое. Ему все чаще кажется, что футуристическая активность, бурная, громогласная, намеренно ищущая скандала, профанирует живую жизнь:

²⁴ Essem [С. Маковский]. Выставка древнерусского искусства. I // Аполлон. 1913. № 5. С. 38.

²⁵ Муратов П. Выставка древнерусского искусства в Москве. I. Эпоха древнерусской иконописи // Старые годы. 1913, апрель. С. 31.

²⁶ Чекрыгин В. А. Доклад. 1920—1921 // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 202.

²⁷ Московская газета. 1914, 24 марта.

«Фразы, слова, слова для кафе»²⁸. В письме Вере Шехтель — резкий отзыв о футуристах, «мелочных эгоистиках с примесью эротизма и донжуанства». И столь же резкая характеристика Маяковского: «эгоист, захотевший по Пшибышевскому и Ницше стать сверхчеловеком», поэт, не видящий никого, кроме себя, «влюбленный не в свою душу, а в тело»²⁹.

Спустя восемь лет в статьях 1920—1922 годов, письмах Н. Н. Пунину, лекциях об искусстве Чекрыгин напишет о футуризме как о знаковом явлении «новой живописи», которая по своему значению никогда не будет равна «Греческому искусству, искусству Ренессанса и Русской иконы»³⁰. О своем же месте в этом течении выскажется кратко и точно: «Я один из первых русских последователей футуризма. <...> Но вскоре же я быстро и коренным образом порвал с футуризмом по тем причинам, что увидел всю его беспочвенность, а на одной лошадиной эмоциональности строить свое мироотношение не мог»³¹.

Впрочем, в первые месяцы общения с футуристами Чекрыгин надеется примирить вдохновляющий порыв к новым смыслам в искусстве и голос традиции, решительно отбрасываемый его друзьями. Иллюстрируя книгу Маяковского «Я», он сопровождает ее рисунками, обращающими к наследию древнерусской культуры: «Коленопреклоненный ангел», «Старец, благословляющий зверей», «Архангел, убивающий дракона». Эти рисунки на первый взгляд противоречат вызывающе бунтарскому содержанию книги. Но только на первый взгляд. Как пишет Е. Мурина, один из лучших знатоков творчества Чекрыгина, «на уровне глубинного понимания поэтики Маяковского замысел Чекрыгина не так произволен <...> Он интуитивно чувствовал, а может быть, и понимал, что Маяковский создает свой поэтический мир, отталкиваясь от евангельских образов и понятий, хотя и перелицовывает их в духе нигилистической эстетики и этики футуризма»³².

Пафос творчества Маяковского религиозен, его бунт и отрицание — как у героев-идеологов Достоевского, — не против Бога, а во имя Бога и во имя мира, с гибелью которого, как и с гибелью каждой былинки, каждой звезды, зажигаемой, ибо «это кому-нибудь нужно», поэт примириться не может. В первой половине 1910-х поэт испытывает явное влияние своего младшего друга. В.Ф. Шехтель в своих воспоминаниях о Маяковском высказала справедливое мнение, что библейские образы, встречающиеся в стихах раннего Маяковского, «навеяны общением с Чекрыгиным»³³. И хотя Маяковский позволял себе частенько провокативные заявления, вроде того, что слетело с его языка, когда Чекрыгин делал иллюстрации к книге «Я»: «Ну вот, Вася, <...> опять ангела нарисовал — нарисовал бы муху, давно не рисовал!»³⁴, он прислушивался к «Чекрыжке» гораздо больше, чем то кажется на первый взгляд. И даже когда разрыв состоялся, отзвуки общения с Чекрыгиным будут слышны в творчестве Маяковского еще очень долго. Достаточно вспомнить поэму «Война и мир» (1916), в финале которой разворачивается картина воскресения жертв злого братоубийства, примирения племен и народов земли, вселенской любви, обнимающей все бытие.

²⁸ Чекрыгин В. Н. Из переписки с В. Ф. Шехтель. 1914 // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 154.

²⁹ Там же.

³⁰ В. Н. Чекрыгин — Н. Н. Пунину. 6 декабря 1920 // Там же. С. 208.

³¹ Там же.

³² Мурина Е. Василий Николаевич Чекрыгин // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 14.

³³ Шехтель В. Ф. Воспоминания о В. Маяковском // Литературное обозрение. 1993. № 6. С. 35.

³⁴ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 212.

Но ближе всех к Чекрыгину из поэтов-футуристов стоит, конечно, Хлебников, хотя лично общались они не так много, гораздо меньше, чем Чекрыгин и Маяковский. Оба, поэт и художник, близки по своей непрактичности, неспособности к *нормальному* течению и устройению жизни, по своей отрешенности от суеты повседневности, но и по поражающей всех синтетичности и самобытности творчества. Подобно Хлебникову, стремившемуся к обновлению художественного языка через раскрытие смыслового и образного богатства древних славянских корней, к созданию всемирного языка, восстанавливающего изначальное языковое, а через язык и духовно-сердечное родство рода людского, Чекрыгин мечтает о новом языке русской живописи, вбирающем в себя язык древнерусского монументального искусства, и все чаще мелькает перед ним, всецело захватив его в последние годы жизни, образ будущего всечеловеческого искусства, избавляющего бытие от розни и смерти. Да и собственный язык художника, язык статей, писем, заметок 1920–1922 гг., по-своему складу во многом близок хлебниковскому языку. То же словотворчество, те же трогательные и такие освежающие неправильности синтаксиса и грамматики. Это теплый, живой язык, язык в движении и развитии, в процессе творческого *прироста*, а не застывший, мертвенно-правильный, скованный жестким панцирем грамматических и синтаксических норм.

В 1914 году Чекрыгин и Жегин отправляются в путешествие за границу. Еще в начале года приехавший в Россию Ф.-Т. Маринетти приглашал Чекрыгина в Италию для участия в интернациональной футуристической выставке. Глава европейского футуризма видел в семнадцатилетнем юноше своего³⁵. Но друзья уже переросли футуризм. Они едут не в Милан и не в Рим, а в Дрезден, Вену, Мюнхен, Париж. Чекрыгин, мучительно колебавшийся: «на чем базироваться — на формах ли русской фрески и иконописи или на живописной форме Возрождения»³⁶, ищет путей к примирению и соединению обеих традиций. В Лувре он подолгу замирает перед картинами великих итальянцев: Джотто, Тинторетто, Леонардо. Тинторетто, которого он открыл для себя еще в Вене, будет восхищать и вдохновлять его до конца жизни.

Из Парижа перебираются на юго-запад Франции. Здесь, на берегу Атлантического океана, в местечке Гетари, на границе с Испанией, Чекрыгин много работает. В новых вещах он утверждает теорию «центризма», настаивая на том, что предмет изображения должен быть всегда в центре картины, тем самым стягивая к себе лучи зрительского внимания, обращая картину в микрокосм. Создает композицию «Город», «по форме напоминающую опрокинутую чашу — отчасти иконная, отчасти „грековская трактовка“»³⁷.

«Здесь великолепно, чудо. Горы. Испанское солнце. Океан», — с восторгом пишет Жегин сестре. «Жаль, что Вас нет с нами», — приписка Чекрыгина³⁸.

...В Гетари и застают их известие о войне.

Друзья спешно возвращаются в Париж, но ни о какой творческой работе уже нет и речи: все время уходит на консульские и другие житейские хлопоты. Наконец через два месяца они получают возможность уехать. Путь лежит через Англию, Швецию и Норвегию. В Лондоне посещают Национальную галерею и Британский музей.

³⁵ Чекрыгин В. Н. Об искусствах изобразительных, о природе их // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 169.

³⁶ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 215.

³⁷ Там же. С. 221.

³⁸ Л. Ф. Жегин — В. Ф. Шехтель. Июль 1914 // Панорама искусств. Вып. 10. С. 231.

Первые полтора года войны Чекрыгин проводит то в Москве, то в Киеве. По инерции еще продолжается обычная, довоенная, жизнь, отданная творчеству, чтению, встречам с друзьями, любовным переживаниям (с 1913-го по 1916 год длился мучительный роман Чекрыгина с художницей Н. И. Кравцовой). Осенью 1914-го делает несколько антигерманских плакатов для издательства «Сегодняшний лубок». С начала 1915 года для издательства Некрасова иллюстрирует «Персидские сказки». Работа погружает его в мир Востока. Он изучает восточное искусство, читает «Калидасу», «Бхагаватгиту» и поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Летом вместе с Жегиным и его учеником, художником В. Гаврилко, живет на даче по Ярославской железной дороге.

Все меняется в конце 1915 года. Чекрыгин записывается добровольцем в действующую армию и уезжает на фронт. Скупые «Записи по годам» фиксируют вехи совсем другой жизни, непривычной, суровой, изматывающей душу и тело, каждую минуту готовой сорваться в смертную бездну:

«Молчание. С горы на гору штыки. Грушевицкий. Штаб полка. Подпоручик. Адьютант. Пахнет смертью. Попов. Назначение в 8-ю роту. Просьба в пулеметную команду. В землянке. Выстрелы. Зеленью поросла. Переход ночью. Зубрежка. Артиллерийский обстрел. Частая стрельба. Женщины — сестры. Бой. Отдых. <...> Резерв. Шоколад. Папиросы. Фуфайка. Страдания одиночества. <...> Геройство. <...> Прожекторная рота. Немцы. Учение. <...> Переход под Молодечно. <...> Бой под Вольно у деревни Скребово. <...> Письма. <...> Отпуск в Киеве, в Москве. <...> Марш. В вагоне с офицерами. Двинск. Отъезд в штаб на лошадях. Ночь. Позиция. <...> Выступление из Двинска»³⁹.

Еще весной 1914-го, когда в России текла вполне мирная жизнь, Чекрыгин выставил на ларионовской выставке «№ 4» серию работ, в которых отчетливо обозначился зловещий лик смерти. Газета «Московский листок» с издевкой писала: художник «специализируется на разложившихся покойниках. Целая галерея перевешенных, позеленевших и изъеденных червями мужских и женских голов»⁴⁰.

Как будто предчувствие скорой вакханалии смерти и разложения на фронтах Первой мировой.

Надев воинскую шинель, Чекрыгин эту вакханалию увидел воочию.

А потом пришла новая — революционная — вакханалия. За ней другая — вакханалия Гражданской войны.

С 1917 года Чекрыгин снова делит свою жизнь между Москвой и Киевом. Быть свободным художником, вне всякой службы, уже не получается. Он служит то в Художественной комиссии Совета солдатских депутатов, то в Комиссии по охране художественных ценностей, то в Высшей школе военной маскировки, откуда потом еле выкарабкивается благодаря содействию наркома просвещения А. В. Луначарского, забравшего его в Наркомпрос. Время от времени преподает. Работает художником-декоратором: в Киеве оформляет спектакль по пьесе Лопе де Вега «Фуэнте овехуна» известного режиссера К. А. Марджанова, в Москве весной 1920 года делает эскизы костюмов и декораций для пьесы «Принцесса Турандот» в Детском театре.

Но все это внешнее. Внутри же идет колоссальная душевная и умственная работа. Он пытается осмыслить опыт пережитого. Осмыслить как человек и как художник.

Л. Ф. Жегин вспоминал, как однажды они с Чекрыгиным в мокрый, скользкий осенний день перебирались в новую каморку Васеньки. Чекрыгин весь был обвешан

³⁹ Чекрыгин В. Н. Записи по годам // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 155–156.

⁴⁰ Московский листок. 24 марта 1914.

картинами. Вдруг он поскользнулся. Жегин бросился помогать, испугавшись, что работы упадут на грязную, залитую дождем мостовую. Чекрыгин же спокойно сказал: «Вот когда я умру, тогда и беспокойся о моих работах, а пока — жизнь дороже вещей, даже картин»⁴¹.

Так выстраивалась — после крови и смерти, которые видел он на войне, после ожесточения гражданской схватки, после расстрелов в Киеве под его окнами — новая иерархия ценностей. Не творчество, не художественное произведение, каким бы великолепным, неповторимым оно ни являлось, а жизнь, жизнь человеческая — вот что дороже всего.

«В армии соединяются для борьбы человек с человеком-братом»; «Мертвые организмы построил человек <...>, извергающие не семя жизни, а подобия семени — пули, разрушающие лики братьев человека, разрушающие человека»⁴², — этими словами в трактате «О Соборе Воскрешающего Музея» (1922) обозначит Чекрыгин неправду человекоубийства. В 1920 году прессованным углем он создает серию рисунков «Расстрел» — потрясающий по экспрессии памятник зверю жестокости в душе человека. Мечутся у «стенки» приговоренные, беспредельный ужас в каждом движении, лица искажены ненавистью и отчаянием. А вот женщины, жалобно сгрудившиеся на земле в ожидании смертельного залпа. Обнаженные фигуры, плавные, мягкие, округлые линии, напоминающие то ли об античности, воспевшей гармонию и совершенство человеческой формы, то ли о женских образах Возрождения. Детская беспомощность хрупкого тела перед убивающей мощью железа.

Философ Н. Ф. Федоров, к идеям которого обратится Чекрыгин в свои последние годы, ребенком пережил три впечатления, навсегда вошедшие в его сердце, определившие духовный настрой не на годы — на десятилетия: «Видел я черный, пречерный хлеб, которым, говорили при мне, питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал же я в детстве войны объяснение на мой вопрос об ней, который меня привел в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга... Наконец, узнал я не о том, что есть и неродные, и чужие, а что сами родные — не родные, а чужие»⁴³. Голод, смерть, неродственность — эти фундаментальные бедствия человека стремится осмыслить Чекрыгин в своем позднем творчестве.

Образ смерти он дает в цикле «Расстрел». Образ голода, неразрывно сопряженного с той же смертью, в цикле графических рисунков «Голод в Поволжье» (1922): осунувшиеся, изможденные лица, исхудавшие, костлявые силуэты, умирающие матери с детьми, у которых животы пухнут от голода... С сердечной болью рисует Чекрыгин, как истончается плоть человека, как деформируется и разрушается форма, призванная быть нетленным сосудом для духа.

Впрочем, телесная форма искажается не только голодом. В не меньшей степени она корежится самодовольной сытостью, для которой нет совестливого «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», но есть бесстыдное «Хлеба и зрелищ!». Отяжелевшая душа, дух, утративший крылья, не способны уже возделывать тело, храня его в гармонии и чистоте. Жанровые сцены «Танцующие», «В ресторане» (1918) передают впечатления художника от жизни состоятельных граждан: здесь нет ни подвига, ни творческого горения, есть только *времяпрепровождение*. Эгоистическая беззаботность на фоне войны, голода и страданий выглядит одним из проявлений той самой *неродственности*, о которой писал учитель Чекрыгина Федоров.

⁴¹ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 222.

⁴² Чекрыгин В. Н. О Соборе Воскрешающего Музея (О будущем искусстве: музыки, живописи, скульптуры, архитектуры и слова) // Н. Ф. Федоров: pro et contra. Кн. 2. СПб., 2008. С. 461.

⁴³ Федоров Н. Ф. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1999. С. 161.

Еще будучи на фронте, художник признавался Жегину: «С каждым днем меньше веры в людей»⁴⁴. Противоречивость человеческой природы, способной и на высшие подвиги, и на любые злодеяния, теперь все сильнее занимает его. Занимают — весьма остро — и страсти людские, и людские реакции. В 1920 году с азартом экспериментатора он меняет обличья. Одевается то с шиком, вызывая сугубое внимание дам, то немудряще: «в рваную солдатскую рубашу без пояса, плохую казенную фуражку», старую шинель — и о, как меняется тогда отношение окружающих! Женщины гордо шествуют мимо, штатские здороваются «мало охотно», и даже те, которые знают его как художника, увидев подобную скудость, «незаметно для себя самих», становятся «вольнее, фамильярнее»⁴⁵. Так проверяет он справедливость русской поговорки: «По одежке встречают». А потом неожиданно понимает, что под маской ничтожного бедняка, не привлекая к себе никакого внимания (кому интересен тот, кто, ничем не выделяясь, несет на себе печать бедности и убожества?), он может наблюдать самые разные стороны жизни своих современников — наблюдать, оценивать и судить.

В дневнике, где Чекрыгин подробнейшим образом описывает свой эксперимент, присутствует едкий, ироничный анализ увиденного. Главное впечатление художника: всюду беззастенчивое, наглое торжество середины, самоуверенного тупого мещанства. А ведь это только 1920 год, еще не весна 1921-го, когда будет провозглашена политика нэпа и романтизм революции захлестнется прагматизмом серых будней и «тьмой низких истин».

Между тем он хорошо помнил, как восторженно приняли революцию многие его современники — от Владимира Маяковского до Николая Клюева и Сергея Есенина. Помнил, как изрекал Маяковский: «Грядет революция другая. Третья революция духа». В социальном перевороте поэты первых лет революции увидели провозвестие иного, всечеловеческого, вселенского обновления. Не через кровь и насилие, а через труд и творчество. Они мечтали о борьбе со смертью и временем, о выходе в космос, безграничном творчестве на просторах Вселенной, во всей полноте осуществляя ту *пророческую* функцию искусства, о которой в свое время говорил Владимир Соловьев.

Искусство пророческое, *проективное* — все это близко Чекрыгину. Наиболее адекватной его формой художник считает фреску. В 1920 году он начинает работать над проектом стенописи «Бытие». Делает ряд эскизов к первому ее циклу: «Пахарь пашет», «Рабочие несут тяжесть», «Рабочие строят здание», «Рождение», «Любовь», «Группа идущих женщин»... Второй цикл называет «Умершие идеи (эллинизм, буддизм, Зороастр)». Планирует и третий цикл: «Герои, учителя и др.», заключая его видением «Современности»: «Солдаты 1914—1917 годов. Раненые. Убитые. Отравленные. Революция. Ленин. Красноармейцы. Алые стяги и дети»⁴⁶.

Чекрыгин полон решимости осуществить свой монументальный замысел:

«— Я пойду к Луначарскому, и если он мне не даст стены для фрески, повешусь на фонаре у его двери»⁴⁷.

Визит к наркому действительно состоялся. 11 марта 1920 года они встретились с Луначарским в Кремле. Но стену Чекрыгин так и не получил.

ИЗО Наркомпроса направляет его в отдел плаката. Ему поручено сделать эскиз плаката «Долой неграмотность!». Но предложенная им композиция не удовлетво-

⁴⁴ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 222.

⁴⁵ Чекрыгин В. Н. Записи. Кунцево—Москва. Март—май 1920 года // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 161.

⁴⁶ Цит. по: Харджиев Н. И. Предисловие // Панорама искусств. Вып. 10. С. 200.

⁴⁷ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 225.

ряет руководство отдела. Символически-образное решение темы: в центре — светящаяся фигура с ангельскими очертаниями, вверху — раскрытые книги, на которые льются лучи из высшего, Божественного источника, внизу — люди, молитвенно обращенные к свету истины... Это был не плакат, а икона-картина, хотя Чекрыгин еще не знал этого определения Федорова. Не «Долой неграмотность!», а «Свет Христов просвещает всех!» — такую надпись следовало поставить под ней.

Художественное мышление Чекрыгина не вмещалось в прокрустово ложе той системы искусства, которую начинала выстраивать власть. Ведь даже замысел фрески, который он вынашивал с юности, был ориентирован совсем не на светскую стенопись, что так пышно расцветет в СССР в 1930-е годы, а на другом конце земного шара воплотится в монументальных работах Сикейроса. Чекрыгин мечтал о росписи храма. «Именно церкви, а не гражданского здания», подчеркивая, что только в этой работе он мог бы «высказаться вполне»⁴⁸.

Шансы осуществить подобный проект в стране, провозгласившей религию «опиумом» для народа, была ничтожны, если не сказать — нулевы. Весь 1920 год внутренние весы Чекрыгина колеблются между вдохновением и упадком. «Я работаю в тесноте душевной, со стесненным сердцем, — признается он невесте Вере Викторовне Котовой-Бернштам, — но я заслужу быть творцом, и после смерти и мне дадут творить мир на далекой звезде»⁴⁹. Сияющая перспектива творчества в потусторонней реальности не отменяла невозможности созидать в полную силу здесь и сейчас. Порой в отчаянные минуты Чекрыгину хочется отречься от творческого дара, дара мучительного, ставящего художника один на один с бездной, временем, смертью, страданием. Хочется «убежать от самого себя куда-нибудь на Гималаи или, что проще, в Царевококшайск, Пошехонье, стать там чиновником-почтмейстером, пустить корни и чувствовать поменьше, только для обихода иметь „эмоции“»⁵⁰.

Спасением от душевного разлада становится сфера теоретической мысли. Не имея возможности реализовать свои художнические замыслы во всей полноте, Чекрыгин стремится запечатлеть их в устном и письменном слове. Он читает две лекции в «Кафе поэтов», излагая свое творческое кредо — «искусство образа». Еще летом 1920 года начинает хлопотать о лекциях в аудитории Высших художественно-технических мастерских. Получает разрешение и осенью, когда открылся сезон, выступает с лекциями «О понимании художественных произведений образовательных искусств» и «Опыт аналитического исследования методологических течений мировой живописи». По воспоминаниям художника В. П. Иванова, актовый зал, где читал Чекрыгин, был переполнен. Среди слушателей были художник и теоретик искусства В. А. Фаворский, философ П. А. Флоренский, график и искусствовед П. Я. Павлинов. «И эти умудренные художники и философы внимательно слушали 22-летнего молодого художника»⁵¹.

Чекрыгин говорил вдохновенно. Он утверждал, что кризис изобразительного искусства напрямую связан с отсутствием в современности «цельного мирозерцания», с неспособностью видеть высшую связь явлений, сознавать смысл бытия и истории и назначение в них человека-творца. Без ощущения этой связи, без сознания этого смысла искусство становится «фрагментарным», «расслабленным», стра-

⁴⁸ Чекрыгин В. Н. Мысли. 1920—1921 // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 221.

⁴⁹ Чекрыгин В. Н. Из переписки с В. В. Котовой-Бернштам // Там же. С. 163.

⁵⁰ Там же. С. 164 (письмо от 11—12 июня 1920).

⁵¹ Из воспоминаний В. П. Иванова. Цит. по.: Мурина Е. Василий Николаевич Чекрыгин // Там же. С. 32.

дает «невыносимейшим субъективизмом»⁵². Особое внимание художник уделил критике кубизма и супрематизма, упрекая их в искусственности, механистичности, схематизме, видя в них образец развития теоретической мысли, оторвавшейся от движения и живого роста организма искусства.

Как религиозный художник, живущий ощущением связи феноменального и ноуменального, природного и сверхприродного, Чекрыгин подчеркивал, что живописная форма подчиняется не законам мира явлений, а внутренним законам духа. Подлинный художник не копирует, не подражает, он творит бытие. Творит не самостийно, не произвольно, но следуя универсальному закону роста духа в лоне материи. Согласно формуле великого Гёте, созидает «образы, стоящие у природы на пути намерения». Такое творчество достигается, по Чекрыгину, только в монументальном искусстве, где нет ни эмоционального релятивизма, ни сухой, отвлеченной рациональности, но является Жизнь в своем восходящем развитии, в своем движении к Божественной полноте, в микрокосме отражается макрокосм.

Вдохновленный успехом своих выступлений, Чекрыгин разрабатывает план лекций по философии искусства для студентов Вхутемаса. Создает обширную программу курса — от «обзора учений философии о красоте», выявления «принципов изобразительных искусств», анализа существующих и существовавших в культуре художественных течений и методов до понятия формы и образа в искусстве, представления о «живописном идеале»⁵³. Начинает чтение — но затем руководство Вхутемаса отстраняет его от преподавания. Сыграли свою роль и интриги конструктивистов во главе с А. М. Родченко, которых в своих выступлениях художник не раз критиковал. «Не нужно никаких философий искусства», — сказал, как отрезал, ректор Е. В. Равдель⁵⁴.

Случившееся Чекрыгин переживал тяжело. Как и в истории с плакатом «Долой неграмотность!» и несостоявшейся фреской, отказ был для него не только личной неудачей, но и свидетельством того, как темен и низок духовный потолок тех, кто волей судеб оказались у кормила державного руля, определяя художественные приоритеты и цели, а значит, и того, как непоправимо искажены пути искусства в современную ему эпоху. Одна из записей этого времени: «Недавно в Наркомпросе надо мной так грубо издевались, что мне стало больно, не потому, что это относилось ко мне, а потому, что этим содержанием они творили ужасную форму. *Нехорошо так оформлять становление мира*»⁵⁵.

Мысль о неразрывной связи содержания и формы в искусстве, попытка нащупать то «цельное мировоззрение», отсутствие которого он так ощущал в современности, обращает Чекрыгина к философии. Для него философия — там, где она связана с сущностными проблемами бытия, — идет в одном направлении с творчеством, органически ложится в основу искусства.

В своих лекциях и статьях, осмысляя и собственную эволюцию, и пути современности, и перспективы движения художественной мысли в будущем, художник постоянно апеллирует к философским понятиям, опирает свои размышления на фундамент европейской и русской мысли. Современники вспоминали, что в начале 1920-х годов Чекрыгин буквально утонул в философии: изучал Х. Лотце, Вл. Соловьева, В. Вундта, В. Виндельбанда, А. Бергсона. Наметил прочесть Декарта, Спинозу, Лейб-

⁵² Чекрыгин В. Н. О понимании художественных произведений образовательных искусств // Там же. С. 180.

⁵³ Чекрыгин В. Н. Подготовительные материалы к курсу лекций во Вхутемасе. 1920 // Там же. С. 167–168.

⁵⁴ Цит. по: Чекрыгин В. Н. Текст книги рисунков. 1921 // Там же. С. 255.

⁵⁵ Чекрыгин В. Н. Мысли. 1920–1921. С. 220.

ница, Шеллинга и Фихте, 4-й и 8-й тома «Истории новой философии» Куно Фишера, посвященные Канту и Гегелю⁵⁶. Если чувствовал: прочитанное ему близко — немедленно вводил в свои статьи. Дорогие сердцу идеи перекладывал на язык любившегося автора. В 1920 году лидером в этом отношении, безусловно, был Гёте. Перелагая немецкого писателя и мыслителя, Чекрыгин говорит о художнике, спускающемся в Лоно Матерей, о «духах форм», оплодотворяющих творческий материал, и в самой Иконе видит отражение Первосущего.

«Каждый живописный метод так или иначе, хочет этого или не хочет, является уже страницей той или иной философии»⁵⁷. Чекрыгин написал эти слова в конспекте одной из лекций. Пройдет совсем немного времени — и он встретится с философией Федорова, которого с этого момента будет называть своим учителем в мысли и духе, а свой творческий метод прямо свяжет с его теoантропоургической эстетикой.

Эта духовная встреча происходит в конце 1920 года. И сразу же «„Философия общего дела“ становится его настольной книгой. Она его всецело захватывает. Объясняет ему многое в его собственном творчестве, чего он сам никогда не мог объяснить»⁵⁸. Дает ему и художественную тему, и философский язык, наполняет новым смыслом его любовь к русской иконе, углубляет его представления о задаче художества и миссии художника.

На страницах «Философии общего дела» раскрывался во всей своей глубине образ «новой религиозной эпохи творчества». В эту эпоху, подчеркивал Федоров, поприщем творческого делания станет уже не мир воображения и фантазии, а всё мироздание, все «небесные, ныне бездушные, холодно и как бы печально на нас смотрящие звездные миры»⁵⁹. «Сыны человеческие», придя «в меру возраста Христова», овладев законами строения и функционирования вещества, научившись преодолевать силы разрушения, преобразят эти миры, объединят их «в художественное целое, в художественное произведение, многоединым художником коего, в подобие Триединому Творцу, будет весь род человеческий, в совокупности всех воскрешенных и воссозданных поколений»⁶⁰. Искусство человеческое, родившееся когда-то в начале времен из скорби и надмогильного плача, из потребности остановить время, вернуть утраченное, на протяжении веков и тысячелетий было попыткой «многого воскрешения». Богочеловеческое искусство будущего станет действительно воскрешающим, восстанавливающим облик умершего уже не в дереве, камне или на полотне, а реально, в неразрушимости духовно-душевно-телесного единства; его предметом явится самый организм человека — ныне несовершенный, несовершенный, принципиально смертный.

Так рождалась эстетика *жизнетворчества*, формулировался основной ее тезис: законы художественного творчества, созидающие мир совершенных, прекрасных форм, должны стать законами самой реальности, активно созидать жизнь: «Эстетика есть наука о воссоздании всех бывших на крохотной земле (этой капельке, которая себя отразила во всей вселенной и в себе отразила всю вселенную) разумных существ для одухотворения (и управления) ими всех громадных небесных миров, разумных существ не имеющих»⁶¹.

Именно этот тезис и становится опорной точкой эстетических построений Чекрыгина в 1921–1922 годах. Теперь уже не только искусство Нового времени, но

⁵⁶ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В.Н. Чекрыгине. С. 226.

⁵⁷ Чекрыгин В. Н. О понимании художественных произведений образовательных искусств. С. 180.

⁵⁸ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 227.

⁵⁹ Федоров Н. Ф. Сочинения. Т. 2. М., 1995. С. 202.

⁶⁰ Там же. Т. 1. С. 401.

⁶¹ Там же. Т. 2. С. 231.

и искусство традиционное, монументальное не удовлетворяет его. Все это — искусство *подобия*, а не действительности. «Татлинская архитектура и архитектура Парфенона <...>, абстрактивизм Малевича и русская икона — *иллюзорны*, установлены через искусственную среду, связаны технически, *ищут* опоры <...> и подвержены разрушению-смерти; если произведение смертно, полный ли это синтез?»⁶² Высшим, совершенным искусством может быть только «Преображение Космоса», «Построение Рая».

В центр нового синтетического искусства, вселенского и по заданию, и по масштабу, Чекрыгин вслед за Федоровым ставит самого человека. Человек для него и субъект, и объект искусства. Он — тварь и одновременно творец. В нем — «высший синтез живых искусств», «живая живопись, скульптура, архитектура, музыка»⁶³. Он — живое художественное творение, правда, пока еще не завершенное и несовершенное, но в перспективе призванное перерасти себя, стать регулятором и создателем своей собственной, еще смертной природы, а в конечном итоге — устройтеlem и кормчим самого мироздания.

Чекрыгин понимает, что полное осуществление «искусства действительности», реально преобразующего бытие, возможно лишь в будущем, что оно требует соединения религиозно ориентированного искусства с научным знанием. Современное же искусство должно стать «„Предварительным действием“ Великого Синтеза»⁶⁴. Раскрыть чудо преображенной материальности, духоносной телесности, явить образ мира, избавленного от ига смерти и розни. В свое время о пророческой задаче искусства, призванного стать «переходом и связующим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни»⁶⁵, писал В. С. Соловьев. И Чекрыгин в своих эстетических построениях органически соединяет его мысль с мыслью Федорова.

У позднего Чекрыгина достигает максимальной силы и напряжения воля к преодолению разрыва между искусством и жизнью, творчеством и бытием, звучавшая в русской культуре XIX — первой трети XX века, одушевлявшая эстетические искания эпохи Серебряного века и первого пореволюционного десятилетия. На волне этих исканий в конце 1921 года создается творческое объединение «Искусство — жизнь». В состав объединения, провозгласившего в качестве своей основы идею синтеза искусств, входили представители разных отраслей художественного творчества — скульпторы и художники, философы и поэты: П. Антокольский, В. Барт, С. Герасимов, Л. Жегин, М. Родионов, П. Флоренский, В. Хлебников и др., позднее — Л. Бруни, К. Истомина, В. Рындин. Чекрыгин был вдохновителем и душой «Маковца». В программном предисловии «Наш пролог», открывавшем первый выпуск журнала «Маковец», звучит его излюбленная мысль о «большом, целом, монументальном искусстве», которое не может быть создано «усилиями одиночек», но есть выражение «общего духа и твердых традиций»⁶⁶.

Мысль о монументальном «соборном» искусстве, которое соединило бы в едином творческом деле художников современности, после знакомства с идеями Федорова кристаллизуется в замысле росписи «Собора Воскрешающего Музея». Этот замысел Чекрыгин излагает в письмах М. Ф. Ларионову. Из всех представителей авангарда он особенно выделял этого мастера. «Ларионовская концепция лучизма,

⁶² В. Н. Чекрыгин — Н. Н. Пунину. 29 декабря 1921 // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 214.

⁶³ В. Н. Чекрыгин — Н. Н. Пунину. 7 февраля 1922 // Там же. С. 217.

⁶⁴ Чекрыгин В. Н. О намечающемся новом этапе общеевропейского искусства // Там же. С. 233.

⁶⁵ Там же. С. 398.

⁶⁶ Наш пролог // Маковец. 1922. № 1. С. 4.

в которой таинственному феномену света придавалось значение пространственно-структурирующего начала живописи», ощутима и в ранних работах Чекрыгина, и в «графике последних лет жизни»⁶⁷. Теперь он обращается к художнику, жившему в эмигрантском Париже, с развернутым изложением идей Федорова и прямо подчеркивает: «Наш долг, художников современности, создавать план росписи Воскрешающего Музея-Храма, Школы»⁶⁸.

В 1921–1922 годах Чекрыгин напряженно работает над этим грандиозным проектом. Используя технику прессованного угля, он делает сотни рисунков к грандиозной стенописи Храма-Музея.

Сам Федоров не раз в своих сочинениях выражал мечту о создании монументальных, учительных росписей, которые представили бы в художественных образах картины регуляции природы и воскрешения. Более того, давал многостраничные описания этих росписей, своего рода словесные фрески или иконы. Некоторые рисунки Чекрыгина сделаны с прямой ориентацией на описания Федорова, в других он дает волю своей фантазии, представляя грандиозную панораму всеобщего дела: от сынов человеческих, молящихся на кладбище о восстании умерших отцов, до самого воскресительного акта, момента той «великой радости воскрешающих и воскресающих, в которой, — по Федорову, — заключается и благо, и истина, и прекрасное в их полном единстве и совершенстве»⁶⁹.

В статье, написанной спустя девять дней после кончины Чекрыгина, искусствовед А. Бакушинский так передавал свое впечатление от его рисунков: «Это — фрагменты титанического замысла, такого же неожиданного и немислимого для современного художественного бессилия, измельчания творческой воли, как все, что делал, чем мучился этот исключительный человек. Почти все это — предощущения и видения живописного изображения Воскресения Мертвых.

Величественная тема самого таинственного и страшного момента мировой трагедии в его разрешении победой новой плоти над силой смерти глубоко волновала художника в последние годы его жизни. Его рисунки, эскизы, как сотни чудесных люков, позволяющих вам созерцать становящееся чудо. С первых же впечатлений вы во власти видения. Первые моменты инстинктивной самозащиты. Вы хотите уйти, оторваться. Вам тяжело, не по-земному тяжело. И — не можете. Без конца, долгими часами, в растущем душевном напряжении, вы погружаетесь в особый, жутко и глубоко волнующий мир. Он весь дематериализован, весь в светящемся тумане, прорванном ритмическими интервалами — сгустками тьмы.

В этой первичной космической туманности, как в видении Иезекииля, формуется плоть воскресающая. То черной резкой тенью, то четкой, суровой и простой линией художник дает ей явную телесно-пластическую осязательность. Провалы глазниц в черепах, проступающих в световом мерцании, заполняются взором, становятся зрячими, полными познания реальности собственного воскресения во всей глубине и силе душевной муки и радости.

Это внизу. Это в начале акта. Дальше и выше просветленная плоть, но не менее реальная, не менее пластически ощутимая в легком и гибком движении тел, всегда направленном вверх, обычно по ясным и строгим вертикалям... Еще выше — растворение плоти в свете, в трепещущей радости последнего освобождения. Вся эта органическая цельность замысла сковывает и его фрагменты и его поразительно крепкое и живое целое. Это целое покоряет и захватывает всей совокупностью имеющихся у художников средств. Здесь нет различия между „что“ и „как“. Перед

⁶⁷ Мурина Е. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 18.

⁶⁸ В. Н. Чекрыгин — М. Ф. Ларионову // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 195.

⁶⁹ Федоров Н. Ф. Сочинения. Т. 1. С. 136.

нами единое и неделимое живое существо, изумительно полно живущее в целом и в каждом из фрагментов, представляющем вполне законченный мир, целостный образ»⁷⁰.

«Смерть можно будет побороть / Усилим воскресенья». Эти строки современник Чекрыгина Б. Л. Пастернак напишет спустя двадцать пять лет. Но серия графических рисунков художника — словно прямая к ним иллюстрация.

Параллельно эскизам к будущей росписи Чекрыгин работал над художественно-философским сочинением «О Соборе Воскрешающего Музея». Оно стало и своеобразным изложением учения всеобщего дела, и наброском эстетической системы самого Чекрыгина, и комментарием к стенописи Храма-Музея. Это была подлинная поэма в прозе. Читая ее, понимаешь, что жизнь Чекрыгина, не оборвись она так трагически рано, явила бы миру не только гениального художника, но и яркого писателя, чуткого к слову и образу, воскрешающего в своем творчестве лучшие образцы церковной, литургической поэзии. Текст Чекрыгина, написанный ритмизованной прозой, по образности и стилю, по построению отдельных фрагментов заставляет вспомнить и Псалмы Давида, и «Песнь песней», и Экклезиаст, и христианские молитвы, и акафисты, и каноны.

Органически вплетаются в сочинение образы Федорова. Что, впрочем, и неудивительно. «Московский Сократ» был истинный поэт мысли. Его язык более близок языку художественной литературы и изобразительного искусства, нежели языку научного или философского трактата. «Философия общего дела» — своего рода эпическая поэма, сюжет которой завязывается тогда, когда «в муках сознания смертности родилась душа человека»⁷¹ и первый «сын человеческий», плачущий над телом отца, обратил свой взор к небу с молитвой о воскресении; этот сюжет движется затем через падение человечества, через удаление сынов от отцов, через углубление неродственности и розни и в конечном итоге приводит к опаматованию живущих, отдающих все силы возвращению жизни умершим. В этом монументальном художественном произведении есть свои устойчивые мотивы, свои тропы, свои постоянные образы, создающие неповторимое качество федоровского стиля: «блудные сыны», «сыны, пирующие на могилах отцов», «общество вечных женихов и невест», «безбородый гуманизм», «цивилизация мануфактурных игрушек», «могила праотца», «сын человеческий» и «дочь человеческая», «птоломеевское созерцание» и «коперниканское небесное дело»...

Все эти образы и переносит Чекрыгин в свою поэму, исполняя заветную мечту философа о том, что найдется творец, который сможет выразить «долг воскрешения» не в отвлеченных понятиях, а художественно (недаром долгие годы возлагал он надежды на Достоевского и Толстого, стремясь увлечь их своим учением). Эта поэма, равно как и серия эскизов к росписи Храма, — образцы пророческого, учительного искусства, искусства как вдохновляющего призыва к общему делу, за которым должно последовать уже само это дело, выводящее искусство к творчеству жизни.

Свою поэму Чекрыгин начинает с лицемерия земли и человека. Грустный, скудный и смертный мир открывается его взору. В нем нет места радости, а только печаль и плач об умерших. Позднее то же видение сиротеющей, пропадающей земли, ту же интонацию печалования о мире и человеке, о бытии, призванном к полноте всеединства, но пребывающем в состоянии распада, мы встретим у Андрея Платонова, который, подобно Чекрыгину, был глубоко затро-

⁷⁰ Бакушинский А. В пути к великому искусству // Жизнь. 1922. № 3. С. 113—114.

⁷¹ Федоров Н. Ф. Сочинения. Т. 2. С. 257.

нут учением Федорова. И это не единственное совпадение. Некоторые фрагменты текста Чекрыгина, рисующие смертную изнанку творения, удивительным образом перекликаются со знаменитым фрагментом поэмы Заболоцкого «Лодейников». «Слушай тишину. Не стояние мира услышишь ты, ибо он несовершен и неполон, — а взаимопожирание, угасание в непрочном рождении. Слушай в тишине непобежденной ночи, какие голоса томят тебя — голоса раздора и отчаяния, обреченного смерти. Распятый в тишине ночи, видишь стройное движение в разладе, Слово знаешь умирающим»⁷². Как мы помним, герой Заболоцкого точно так же выходит в ночной сад, чтобы «слушать тишину», а слышит «смутный шорох тысячи смертей» и открывает для себя «природы вековечную давящую», где «Жук ел траву, жука клевала птица, / Хорек пил мозг из птичьей головы, / И страхом перекошенные лица / Ночных существ смотрели из травы».

Образ разоренного, смертного, страдающего бытия, которому, по выражению Достоевского, каждое мгновение «грозит небытие», не ограничивается в поэме Чекрыгина только землей. Художник разворачивает видение космоса, находящегося во власти энтропии, подверженного тем же силам распада, что и жизнь на земле. Как непрочен для Чекрыгина Макрокосм, так непрочен для него и микрокосм-человек. Плач художника о вершинном творении Божиим, искажаемом и губимом смертью, заставляет вспомнить звучащее на панихидах церковных: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть. Видех бо во гробе лежащую, по образу и подобию Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, не имущую вида». У Чекрыгина та же интонация и тот же образ попираемой, позоримой «красоты жизни», когда «смерть подточает мудрое строение тела, лишает голоса и движения его, — распыляет и рассеивает»⁷³:

Из этого плача о бытии и человеке рождается в поэме Чекрыгина призыв к восстановлению погибшего и утраченного. Возникает «великий план обновления мира и победы над болезнью, уродством, злобой и разрушением небесных земель»⁷⁴. Является образ «сына человеческого», сознавшего себя орудием воли «Бога отцов, не мертвых, а живых»: перед ним открывается поистине вселенское поприще, он призван стать «божественным мастером, воскресителем и великим архитектором неба, держателем вселенной»⁷⁵. И это не узурпация Божественных прав, а исполнение долга, возложенного на человека самим Творцом.

В свое время Достоевский через слова и судьбы своих «усиленно сознающих героев» — подпольного парадоксалиста, Ипполита из «Идиота», «самоубийцы-материалиста» из главы «Приговор» в «Дневнике писателя» 1876 года — убеждал своих современников: человек, утрачивающий связь с Богом, обречен на вечное пребывание в тисках «всесильных, вечных и мертвых законов природы»⁷⁶. Предостерегал он их и от гордынного прометеизма, объявляющего высшим законом «самовольное хотение» человека, каков он есть, и надеющегося построить рай на земле «без Бога и без Христа». И вот Чекрыгин, как бы подхватывая учительное слово писателя, предупреждает человека революционной эпохи, вознамерившегося выстроить-таки Вавилонскую башню, опираясь лишь на свои автономные силы: «Не отвращай от Отца Отцов своего лица и любви, ибо без любви нет жизни. Отвращаясь от Завета Его, ты не в силах, безумье и смерть — твой удел, в блужданиях — безысходное отчаянье»⁷⁷. В противовес самоуверенному

⁷² Чекрыгин В. Н. О Соборе Воскрешающего Музея. С. 455.

⁷³ Там же.

⁷⁴ Там же. С. 463.

⁷⁵ Там же. С. 469.

⁷⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л., 1981. С. 146.

⁷⁷ Чекрыгин В. Н. О Соборе Воскрешающего Музея. С. 453.

прометеизму художник выдвигает образ соработничества Бога и человека, образ благого труда рода людского в потоках Божественной благодати. Для него сливаются воедино два завета Христа: «Без меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5) и «Верующий в меня, дела, которые творю Я, и он сотворит и больше сих сотворит» (Ин. 14:12): «Ты знаешь завет Отца, Он дал тебе все, что нужно для полноты силы, вернись в Дом к делу Его, полюби жизнь и трудись, лелея память об умерших Отцах, трудись над Воскрешением, и Отец Отцов возьмет тебя на плечи и понесет тебя, ибо Он — совершенная любовь»⁷⁸.

Чекрыгин проповедует столь же безграничные возможности человека, как и прометеизм, громогласно заявлявший себя в начале 1920-х годов в пролетарской поэзии, однако при этом он твердо отстаивает религиозную составляющую творчества жизни. Самоопорный человек, вне связи, как сказал бы Достоевский, «с другими мирами и с вечностью», не способен противостоять энтропии, несмотря на все свои громогласные вещания, космические порывы, поэтические заклинания, несмотря на бьющее через край стремление пересоздавать землю и двигать мирами. Человек вне Бога — колосс на глиняных ногах («Ерой, ерой, а у ероя геморрой», — скажет позднее герой Леонида Леонова).

В отличие от апологетов «Железного Мессии», идущего свергнуть Бога с небес и сотворить свой атеистический рай на земле, Чекрыгин говорит именно о благой, богочеловеческой и в этом смысле совсем не иллюзорной, а абсолютно реальной мощи. Если в прометеизме желаемое («Мы будем человечеством крылатым» — И. Филипченко) так и остается желаемым и ни в какую действительность не переходит, то в богочеловеческом, синергическом творчестве желаемое содержит в себе потенцию воплотиться в реальность.

В свое время герой романа «Братья Карамазовы» старец Зосима призывал своих духовных чад любить всякое создание Божие, внушая им сознание всецелой ответственности человека за бытие. «Все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдастся»⁷⁹. То же *совершеннолетнее* сознание нес в себе Федоров, его же проповедовал и Чекрыгин. Вслед за философом всеобщего дела он предостерегал от того узкоутилитарного, потребительского отношения к природе, которым движима секулярная, индустриально-техническая цивилизация (природа здесь — не субъект, а объект, не возлюбленная сестра, а служанка человека). И противопоставлял ему высокое сознание, выразившееся в Павловом: «Вся тварь стонет и мучится донныне» и «с надеждою ожидает откровения славы сынов Божиих» (Рим. 8:19, 22), подчеркивая, что человек, не исполняющий своего назначения в бытии, фактически предаёт не только себя, но и природе, становится виновным в том, что жизнь до сих пор пребывает во власти позорного тления. «Пустая форма неисполненного Завета»⁸⁰ — так говорит Чекрыгин о тех, кого Федоров называл «блудными сынами», забывшими отцов и пирующими на их могилах.

Сквозь всю поэму Чекрыгина проходит тема преображающего, жизнетворческого искусства, что призвано сменить «несовершенное искусство» настоящего, способное создавать лишь призраки жизни. Появляется образ небесной архитектуры («восстановленная вселенная»), небесной музыки («сладчайшей музыки» жизни, которая звучит «в лад с содроганиями частиц праха отцов», достигая своей кульминации в ликующий миг воскресения) и даже космического танца: в нем «перестроит человек плоть свою, и новым светом возгорятся благоуханные тела вселен-

⁷⁸ Там же. С. 453—454.

⁷⁹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. Л., 1976. С. 290.

⁸⁰ Чекрыгин В. Н. О Соборе Воскрешающего Музея. С. 457.

ной — жилище разумных духов»⁸¹. Чекрыгин фактически дает развернутые словесные иллюстрации к своей теории синтеза живых искусств. То, что в статьях и письмах обосновывалось понятийно-логически, находит в его поэме метафорически-образное, художественное выражение.

Н. А. Бердяев, столь же высоко, как и Чекрыгин, возносивший творчество человека, был убежден: «новое небо и новая земля» (в их достижении и состоит конечное задание теургии) созидаются поистине в космических бурях. Им предшествует «процесс расщепления, расплывания и распыления» материи, гибели плоти старого мира (его превосходящие симптомы философ находил в футуризме)⁸². Теургический акт выстраивался у Бердяева по образу и подобию эсхатологической катастрофы, где небо свивается, как свиток, и в мировом пожаре без остатка сгорает объятая грехами земля. Тот же катастрофизм был свойствен и Вяч. Иванову, и А. Н. Скрябину. У обоих теургия была сопряжена со вселенскими катаклизмами: именно отсюда любовь первого к дионисийским мистериям, где в смертной судороге рождается новый ликующий мир, а второго — к восточной метафизике с ее идеей развоплощения, нирваны как того обетованного состояния, к которому устремляется больное, страждущее бытие. Для Чекрыгина же, следующего активно-христианским взглядам Федорова, как, впрочем, и для С. Н. Булгакова, автора религиозной «Философии хозяйства», несовершенный и смертный мир должен не сгореть, а преобразиться под влиянием космизирующей деятельности человека-художника.

Новый, обоженный, гармоничный строй мира, в котором нет умаления, смерти, нет вытеснения последующим предыдущего, но надо всем царствует закон любви, видится Чекрыгину в образе Пресвятой Троицы. С самых первых своих шагов в искусстве он считал Троицу средоточием красоты. Той духоносной, благой красоты, которая космизует бытие, возводит его к совершенству. После знакомства с идеями Федорова, раскрывавшего в Троице «образец единодушия и согласия животворящего»⁸³, он прозревает в Троице не только закон красоты, но и закон любви. Неслиянно-нераздельная связь Божественных Лиц становится для него средоточием всеединства, о восстановлении которого он мечтает все последние месяцы такой короткой, такой стремительной жизни. «Все стоит в Троицестве, Святой Троицей»⁸⁴, — записывает в своих заметках, названных по-паскалевски: «Мысли».

Соприкоснувшись с активным христианством Федорова, Чекрыгин утверждает в идее апокатастасиса, прощения и спасения всех, даже самых заблудших. Эта идея затеплилась в его сердце еще тогда, когда ребенком он вступал под своды Софии Киевской, в росписи которой не было сцены Страшного суда. Светлый, всепрощающий лик христианства открывался ему через фрески и мозаики великого храма, колыбели веры Христовой на Русской земле, а потом, уже в московский период, через образы Андрея Рублева. В 1912–1913 годах он пишет картину «Ад», в центре которой — фигура в зеленом с воздетыми горе руками: моление о милосердии, о спасении падших и проклятых. И если в какой-то момент он и будет готов признать достойными бессмертия и воскресения лишь немногих, «тех, которые достойны его»⁸⁵, то в позднем творчестве «личное „выборное“ бессмертие», «вера

⁸¹ Там же. С. 480.

⁸² Бердяев Н. А. Кризис искусства // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 413.

⁸³ Федоров Н. Ф. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 70.

⁸⁴ Чекрыгин В. Н. Мысли. 1920–1921. С. 219.

⁸⁵ В. Н. Чекрыгин. Из переписки с Г. В. Лабунской. 1915 // Мурина Е., Ракитин В. Василий Николаевич Чекрыгин. С. 158.

Гёте», ему чуждо, ибо лишено «великой любви»⁸⁶. В серии рисунков «Воскрешение» является пасхальный, всепрощающий лик христианства, которое торжествует над адом и смертью.

Это светлое, пасхальное торжество — и в картине «Смерть моего брата Захария» (1922). Поздний Чекрыгин редко обращается к краскам, но в этой работе, написанной *братом*, скорбящим о смерти *брата*, цвет в соединении с композицией играет главную роль. В центре картины мать, любовно и скорбно обнимающая мертвого сына. У женщины простое русское лицо, в чертах умершего отчетливо различимы черты Спасителя. Чекрыгин возводит образ к Первообразу: плач матери над мертвым сыном — к сцене Оплакивания Христа, изображавшейся в течение многих веков и западным искусством, и русской иконописью. Обе традиции — католическая «Пьета» и православное «Не рыдай мене, Мати!» — органически соединяются в картине Чекрыгина. Цветовая символика подчеркивает пасхальный, воскресительный смысл картины. Доминируют золотистые, солнечные тона, все словно растворяется в золоте, соединенном с лазурью. Скорбь побеждается светлой надеждой — на то, что «Неприменно восстанем...».

На первой выставке объединения «Искусство — жизнь», состоявшейся весной 1922 года, Чекрыгин выставил более двухсот работ, но посетители, 30 апреля пришедшие на открытие, так и не увидели их. Трагическая случайность, о которой вспоминали друзья художника. В сыром помещении многие рисунки отклеились и попадали на пол. Из двухсот рисунков, опоясывавших весь зал, осталось только пятнадцать. Восстанавливать экспозицию Чекрыгин категорически отказался. И тем не менее даже эти пятнадцать работ производили сильнейшее впечатление на посетителей выставки. «Апостол большого искусства» — так назвал В. Н. Чекрыгина искусствовед Б. В. Шапошников в статье, появившейся после смерти художника во втором номере журнала «Маковец».

Образ апостола применительно к Чекрыгину попадает в самую точку. С юности художник ощущал свою призванность. «Жизнь его была необычайна своей внутренней напряженностью и целостностью. Никаких колебаний и отклонений в сторону от основной линии, наметившейся чрезвычайно рано. Он должен совершить свое жизненное дело, свою миссию, свой долг перед искусством, родиной, человечеством — он призван к этому, он обречен на это»⁸⁷. «Скажу Вам по секрету, — пишет он в 1915 году Г. В. Лабунской), — что если я проживу до 50 лет (проживу, я чувствую по жизненным силам, до 25) <...> поверну всю мировую живопись на реальный путь»⁸⁸.

Прожил художник, как и предчувствовал, до двадцати пяти...

Все годы, прошедшие с того момента, когда мальчиком Чекрыгин переступил порог иконописной школы, он не жил, а горел. Но в последний год к этому горению, к этой предельной трате себя все чаще примешивался страх не свершить. «Всю жизнь я стучусь лбом о глухую стену, знаю, что напрасно, иду к высотам, поднимаюсь, но косная сила влечет меня вниз, и я падаю надолго с разбитыми и больными мыслями и снова долго прихожу в себя и не могу освоиться»⁸⁹.

И тем не менее он поднимался. Поднимался и снова работал. На пределе сил. Веря, что его творчество есть исполнение завета Божия. Понимая, что «только трудом нашим восстанут к бессмертной жизни умершие отцы, матери, братья, сестры»⁹⁰.

⁸⁶ В. Н. Чекрыгин. Мысли 1920—1921. С. 224.

⁸⁷ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 210.

⁸⁸ Чекрыгин В. Н. Из переписки с Г. В. Лабунской. 1915. С. 158.

⁸⁹ Чекрыгин В. Н. Мысли 1920—1921. С. 228.

⁹⁰ Там же. С. 220.

А косная сила тем временем не дремала.

Было 3 июня 1922 года. День Константина и Елены. Праздновали именины брата и сестры Веры Чекрыгиной, жены художника. В Пушкино, где была дача ее родителей, съехались гости. Ничто не предвещало беду.

Внезапно в разгар праздника вспыхнула ссора между Чекрыгиным и матерью Веры. По воспоминаниям Л. Ф. Жегина, теща недолюбливала зятя-художника, не понимала его творчество, смотрела на него как на «инородное тело, случайно попавшее в их семейство»⁹¹. Поводом для ссоры послужило какое-то ее замечание, после которого Чекрыгин вспылил. Он «разорвал железнодорожные билеты и пешком направился в Мамонтовку, где находилась другая дача его тестя»⁹².

В очередной раз доказывала себя горькая истина, явившаяся в детские годы Федорову: «...сами родные не родные, а чужие».

Через несколько часов подтвердилась и другая — поведенная Александром Блоком: «Нас всех подстерегает случай». Случай роковой и нелепый — именно от таких смертоносных человеческих *случаев* позднее будет приходить в мистический ужас Даниил Хармс.

Чекрыгина насмерть сбил поезд. Тот самый, в котором ехали в Мамонтовку его жена и годовалая дочь.

Похоронили художника на сельском кладбище. В деревянный крест на могиле была вставлена фотография с иконы «Троицы» Андрея Рублева. Образ братски-отеческого родства, заповеданного роду людскому, образ подлинного, богочеловеческого художества сопровождал его и в посмертие.

⁹¹ Жегин Л. Ф. Воспоминания о В. Н. Чекрыгине. С. 229.

⁹² Там же.

Игорь ЯКОВЕНКО

КЛЯТВА ГАННИБАЛА

В 239 году до н. э. по требованию своего отца Гамилькара Барки его сын — девятилетний мальчик Ганнибал — в городе Карфагене у алтаря великого бога Баала-Хаммона¹, поклялся, в том, что никогда не будет другом римского народа.

Глава патриотической партии Карфагена Гамилькар Барка отправлялся из Карфагена в Испанию командовать войсками в новых испанских колониях. События разворачиваются после проигранной Карфагеном Первой Пунической войны. В глазах Гамилькара Рим был главной и смертельной опасностью для его родины. Борьба с Римом виделась целью жизни и условием сохранения Карфагена.

Вот как описывал этот момент своей жизни Ганнибал на склоне лет, в разговоре с селевкидским царем Антиохом III Великим (223—187 до н. э.): «Когда, Антиох, я был еще малым ребенком, мой отец Гамилькар как-то во время жертвоприношения подвел меня к алтарю и заставил поклясться, что никогда не буду я другом римского народа. Под знаком этой клятвы я воевал 36 лет, она же изгнала меня из отечества во время мира, она привела беглецом в твой царский дворец, и если ты обманешь мою надежду, я, ведомый все тою же клятвой, разузнавая, где еще есть военные силы, где есть оружие, по всему свету стану искать и найду врагов римлянам. Так что если твоим приближенным любо множить перед тобою мои вины, пусть они поищут для этого другой повод. Я ненавижу римлян и ненавистен им! Свидетелями правдивости моих слов да будут мой отец Гамилькар и боги».

Вся жизнь Ганнибала прошла под знаком данной им клятвы. Один из величайших полководцев и государственных деятелей древности, Ганнибал был заклятым врагом Римской республики и последним значимым лидером Карфагена перед его падением. Судьба Ганнибала трагична и поучительна.

В чем причина противостояния Рима и Карфагена и, далее, в чем кроется причина поражения Карфагена? Если говорить об этом серьезно, надо начать с того, что к рубежу первого и второго тысячелетия до новой эры в истории человечества происходит качественный сдвиг. После нашествия народов моря в XIII веке, ко-

Игорь Григорьевич Яковенко родился в Винницкой области Украинской ССР. Окончил Московский лесотехнический институт (1969) и аспирантуру Института философии АН СССР (1982). Российский культуролог и философ. Доктор философских наук, член бюро научного совета РАН «История мировой культуры». Автор 260 публикаций, в том числе одиннадцати монографий, среди которых книга «Российское государство. Национальные интересы, границы, перспективы» (2008). «Познание России: цивилизационный анализ» (2012) и «Россия и модернизация в 1990-е годы и последующий период: социально-культурное измерение» (2014). Соавтор книги «История России: конец или новое начало?» (2005). Лауреат премии журнала «Нева». Живет в Москве.

¹ Один из главных богов карфагенского пантеона. Заметим, что имя мальчика Ганнибал производно от Баала.

торые смели в Средиземноморье зажившиеся раннерабовладельческие общества, принадлежащие к первому поколению государственности, ослабили Египет и разрушили сложившуюся политическую и экономическую реальность, в XII веке до н. э. начинается возвышение Финикии. На ее территории социальная и культурная реальность складывается заново, причем, в известном смысле, на голом месте. А в таких случаях возникает возможность формирования нового исторического качества. Классический пример — средневековая Европа, возникшая на пространствах разрушенной варварами Римской империи.

Территорией, за которой закрепилось название Финикия, называют полосу побережья Средиземноморья длиной две сотни километров, отделенную от континента грядой крутых Ливанских гор и шириной не более 30 миль. Левантское побережье изобиловало маленькими заливами, укрытыми скалами. Земледелие на таком пространстве не могло прокормить людей. Кроме того, здесь скрещивались важнейшие торговые пути древности. Во все времена местные гавани были центрами обмена товарами между Передней Азией, Эгеидой и Египтом. Иными словами, ландшафтно-климатическая и геополитическая реальность страны делала торговлю (прежде всего морскую, но не только) основным родом занятий. Финикийцы, поселившиеся на этих землях, осваивают рыболовство, строят города, затем переходят к морской торговле на пространствах Средиземноморья, принимают и посылают караваны в глубь Передней Азии. Вслед за транзитной торговлей, как всегда, развиваются ремесла (украшения из стекла, производство красок и тканей).

Наше понимание логики всемирно-исторического процесса склоняется к тому, что общества Финикии представляли собой первую итерацию формирования нового исторического качества — модели полиса. Складывается город-государство, в котором отсутствует или отходит на второй план обязательный для восточных обществ государственный сектор, и в этом одно из коренных отличий полиса от «номового» государства Передней Азии². На место храмовой экономики государств Древнего Востока приходит общинно-частный экономический сектор, или полисная экономика. Новые города-государства управлялись общинными органами самоуправления. Принадлежащие государству хозяйства также управлялись органами городского общинного самоуправления. Собственниками земли могли быть только полноправные члены городской общины. Помимо права на частную собственность, рабов и имущество, они имели право участвовать в самоуправлении и доходах полиса. Формируется уникальное для обществ Древнего Востока явление — полисная солидарность, которая была одновременно и правом, и обязанностью граждан вплоть до того, что они в массовом порядке, не на словах, а на деле (как о том свидетельствуют сохранившиеся исторические известия) ставили интересы полиса выше личных или узкосемейных.

Новое историческое качество дает финикийцам конкурентное преимущество. Финикийские города богатеют, по мере освоения Средиземноморья финикийцы расселяются по берегам и на островах, основывая новые поселения, которые со временем превращаются в процветающие полисы.

Как мы помним, общественное разделение труда с необходимостью порождает торговый обмен. Однако торговля как специфический род деятельности обладает собственной природой. Прежде всего, торговля рождает товарное производство. Далее, разворачиваясь и оформляясь в истории человечества (а на это ушли тысячелетия), торговля и, шире, вырастающее из нее предпринимательское сознание формируют органичный для себя социокультурный универсум: особую типологиюмыш-

² Например, см: Дьяконов И. М., Яковсон М. А. Номовые государства. Полисы. Царства. Империи. Проблемы типологизации. Вестник древней истории 1982/2.

ления, тип личности, систему отношений, общественные практики, мировоззрение, политическую систему и так далее.

Коммерческая деятельность требует: самостоятельно принимать решения, реализовывать их и нести всю полноту наступающей ответственности. Иными словами, требует выражено субъектных характеристик человеческой личности. В этой ситуации субъектность, самостоятельность и независимость формируются с необходимостью. Базовый тип человека традиционных восточных обществ — верноподанный, исполнитель повелений иерархии. Субъектная природа коммерсанта вступает в конфликт с требованиями традиционно восточного общества. А поскольку человеческая психика целостна, успешный купец не принимает и тяготится ролью холопа.

Однажды в истории человечества складываются общества, основной род деятельности в которых составляет торговля. *Эти общества с необходимостью тяготеют к политическим моделям демократии и гражданскому обществу*, исключая традиционную модель общественного устройства государств первого поколения, опиравшихся на государственную экономику и сакральную власть. Модели демократической государственности нащупываются, совершенствуются и оттачиваются в торговых республиках, городах-государствах, конституционных монархиях, ставших на путь капиталистического развития. Демократическая государственность фундаментально противостоит тенденции сакрализации власти, рассматривая власть как социальный институт, создаваемый и воспроизводимый гражданами.

Вот как описывает карфагенское общество Олег Ивик: «Карфаген был республикой, и, хотя руководили государством олигархические советы и избираемые из числа богатых и знатных граждан магистраты, народ имел огромные права. Высшая власть принадлежала народному собранию; была очень развита общинная собственность, и даже имущество храмов контролировалось общиной. Это приводило к тому, что каждый карфагенянин чувствовал себя, прежде всего, частицей своего государства и ставил общественные интересы выше личных. Когда родине грозила опасность, большинство граждан были готовы пожертвовать ребенком ради государства»³.

Произошел исторический прорыв к новому качеству. Город-государство, товарное хозяйство, торговля как системное основание общества и культуры, утверждение гражданского самосознания, качественно отличающегося от сознания традиционного подданного. Отсюда — конкурентное преимущество по отношению к соседним обществам, хозяйственный рост, рождение массы инноваций.

К примеру, первая в истории человечества реклама дошла до нас от финикийцев. Финикийцы писали рекламные тексты на скалах и отрогах бухт, в которые входили и из которых выходили корабли. Стены римского города Помпеи, погибшего в результате извержения Везувия в 79 году, исписаны разнообразной рекламой, как коммерческой, так и политической, но это уже I век новой эры.

Самое главное порождение финикийского гения — создание алфавита, что стало культурной революцией общемирового значения. Переход от иероглифического или слогового письма к алфавиту резко упростил обучение грамоте. Из замкнутой касты грамотные люди превращаются в активный слой общества, а общество обретает мощный инструмент саморазвития.

Однако в сфере познания и осмысления мира финикийцы остались в рамках предшествующей восточной традиции. Здесь необходимо еще одно отступление. Историки философии и науковеды выделяют вавилонский и греческий пути развития научного знания. Так, вавилонская, как и египетская, математика лишены си-

³ Ивик О. История человеческих жертвоприношений. М., 2010.

стемы доказательств, раскрывающих закономерную связь между теми или иными параметрами исследуемого объекта. Вавилонские писцы могли измерить диаметр круга и из таблицы узнать, чему равняется площадь такого круга. Грек же имел перед собой формулу, позволяющую вычислить площадь любого круга, исходя из диаметра. Но различие между вавилонской и греческой стратегией познания реальности гораздо шире геометрических компетенций.

Обобщая, греки (которые пришли существенно позже финикийцев в VII—IV веках до н. э.) сделали следующий шаг на пути формирования новой исторической реальности и заложили основания европейской цивилизации.

Античная культура сформировала знание особого типа — систематическое, объективированное и доказательное. В обществах, где вся субъектность стягивается к иерархии, власть выступает интерпретатором традиции и источником истины. Апелляция к авторитету — решающий аргумент. Личностная установка и демократическая традиция требуют опоры на собственные силы гражданина в познании реальности. Отсюда вкус к рассуждению, логика, опора на рациональное сознание, культура дискуссии.

Люди полиса целыми днями сидели на форуме, участвуя в обсуждении внутри- и внешнеполитических вопросов, участвовали в судебных заседаниях, избирали должностных лиц. Этот род деятельности требовал умения формулировать свои мысли, ясно изложить свою точку зрения, адекватно понимать высказывания другого, то есть способности к рациональному мышлению. Высокий уровень развития экономических отношений (частная собственность, товарное производство) определял и преимущественное развитие абстрактного мышления. Развивая рациональный способ постижения мира, греки создали метод мышления и технологию рационального рассуждения — дискуссию как базовую стратегию познания.

Греческий автор так описывает типичную картину воспитания и профессионального образования карфагенянина. Финикийский купец брал шестилетнего ребенка на корабль, и он плавал с отцом до совершеннолетия. К этому времени ребенок постигал все тонкости купеческого ремесла. Перед нами — сквозное экономическое образование, о котором можно только мечтать. Чему же конкретно учили карфагенского подростка? В наших терминах это можно назвать так: математике, бухгалтерскому учету, иностранным языкам, географии Ойкумены, правовым нормам, актуальным как на родине, так и в странах пребывания, правилам вождения корабля, искусству ориентироваться в море по звездам, искусству вести переговоры и договариваться.

Как можно обобщить целевую функцию такой стратегии образования. Она сугубо прикладная, направленная на формирование знаний, навыков и компетенций, необходимых активному члену карфагенского общества в его профессиональной и гражданской жизни.

А сына состоятельного грека после усвоения азов — навыков чтения и письма, знакомства с сакральными текстами (Гомер) — обучали риторике, логике и философии. Погружали в нескончаемую школу обучения и оттачивания искусства диалога и дискуссии. И только в контексте освоения этого базового пласта культуры античного мира погружают в специальные дисциплины: математику, географию, историю, формируют практические навыки и обучают необходимым технологиям.

Заметим, что восходящая к традиционной культуре и вырастающей из нее модели социализации российская система образования тяготеет к финикийской модели. В России учат компетенциям, алгоритмам решения задач, а не мышлению, как универсальной стратегии познания и разрешения любых практических задач. Российское образование категорически отторгает искусство дискуссии, понимаемое

на Западе как базовый способ постижения реальности и выработки согласованных решений.

Одним словом, в Греции, а затем в Риме складывается качественно отличный от древневосточного универсум культуры, со своим образом жизни, практиками общения, иерархией социальных статусов, новым местом женщины. Здесь показателен Перикл — знаменитый оратор и полководец, государственный деятель эпохи максимального могущества Афин. Его гражданская жена Аспасия, говоря современным языком, держала салон, в котором принимали философов, художников, ученых. По свидетельству Плутарха, «Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми... чтобы послушать ее рассуждения». Восточный владыка общается со жрецами, военачальниками, придворными. Это общение пронизано иерархическими отношениями. Греческий лидер, за рамками служебных отношений, как частный человек общается с интеллектуальной элитой, творческими людьми.

В этом отношении Перикл выступает как модельный персонаж. Имя друга Октавиана Августа, Гая Цильния Мецената как поклонника искусств и покровителя поэтов потому и стало нарицательным, что этот род увлечений обрел высокий культурный статус. Культура греко-римской античности пронизана гуманитарными интересами, предполагает погруженность состоявшегося, образованного человека в ценности высокой культуры.

Общий блок культуры, лежащий за рамками прикладных знаний и технологий, определяет архитектуру сознания и имеет огромное значение. Он задает масштаб человеческого мышления, диктует качество принимаемых решений и определяет *стратегические* преимущества общества, овладевшего описанным рубежом постижения и переживания реальности. Последние пять веков глобального доминирования западнохристианского мира, того целого, которое сегодня называют евроатлантической цивилизацией, заданы описанным нами качеством сознания.

Рациональное мышление — стратегия, дробящая синкретизм в сознании человека. Она переводит процессы постижения сути некоторой проблемы и выработки пути ее разрешения из пространства вживания в проблему, магического уподобления, схватывания (а все эти процессы непостижимы для субъекта действия, ответ приходит как озарение), в пространство осознанной работы интеллекта, где каждый элемент осмыслен, поддается критике, гносеологической и методологической рефлексии.

Такая трансформация сознания революционна. Она задает переход на стадийно последующую ступень исторического развития, а в синхронном аспекте несет решающие стратегические преимущества. Все это произошло в рамках греко-римской античности. О вкладе греков было сказано выше. Рим развивал и продвигал описанный нами универсум, а от себя внес два ключевых момента — римское право и империю. Доминирование евроатлантической цивилизации задано описанной нами трансформацией сознания, закрепленной в базовых параметрах культуры, институтах образования и социализации.

Наконец в Греции оформляются и закрепляются на века само понятие античного полиса и традиция полисного жизнеустройства, которая не прерывалась в Европе на протяжении двух тысяч лет и участвовала в рождении Нового времени. По определению И. Сурикова, полис — городская гражданская община, конституирующая себя в качестве государства⁴. По словам Фукидида, «полис — это люди, а не стены города и не корабли». Этот вклад древних греков в общемировую историю неоценим.

⁴ Суриков. И. Е. Солнце Эллады. СПб., 2008. С. 23.

Характерно, что карфагеняне осознавали дистанцию между культурами Греции и Карфагена. То, что у конкурентов культура качественно иная, финикийцы и карфагеняне понимали. Однако их реакция на это соответствовала реакции старообрядцев, проклиная любые заимствования с богопротивного Запада. В Карфагене существовал старинный закон, запрещающий изучать греческий язык. Отец Ганнибала, пренебрегая этим законом, учил сына языку и вводил его в греческую культуру. И это характеризует интеллектуальный уровень Гамилькара Барки.

Для того чтобы завершить список интересующих нас народов, надо добавить в него евреев, родивших, выстрадавших и выносивших идею единого Бога. Монотеизм отсекает общества первого эшелона мировой истории и зримо, на идеологическом уровне, утверждает наступление другой эпохи. Евреям не слишком повезло в истории. Они были лишены своего государства, пережили рассеяние, но самосохранились, воздействуя на страны пребывания в качестве диаспоры.

Четыре торговых народа Средиземноморья — финикийцы, греки, евреи и римляне — сформировали новое историческое качество, развивали и совершенствовали его в течение полутора тысячелетий. В результате первое поколение цивилизаций ушло в прошлое. А традиционные общества, наследующие системным основаниям первых цивилизаций, навсегда ушли в тень, превратились в периферию исторического процесса.

В римлянах характеристики торгового народа были выражены в меньшей степени. Хотя такие черты, как практичность и расчетливость, не только прослеживаются в римском характере, но в той или иной мере наследуются романоязычными народами Европы.

Итак, греки реализовали следующую итерацию рождения нового качества. В силу особенностей климата и почвы Греция мало подходит для земледелия (каменистая почва), зато омывается Средиземным морем, берег полон проливов и бухт, страна окружена островами и островками, которые на первых порах развития мореплавания облегчают каботажное плавание. К тому же Греция находится на перекрестках морских торговых путей. Так же как и Финикия, Греция пережила так называемые «темные века», или предполисный период с XI до VIII века до н. э., который начался после дорийского вторжения и заката микенской цивилизации и закончился с началом расцвета греческих полисов.

Рост греческих городов, так же как и в Финикии, привел к расселению греков по всему Средиземноморью. Разворачивается неизбежная конкуренция с финикийцами. Поскольку греки воплощали следующую итерацию процесса рождения нового качества, они в этой конкуренции скорее доминировали. Однако греки не смогли выйти за рамки полиса и создать эффективную государственную структуру, интегрирующую большие пространства. Здесь мы касаемся еще одной темы, требующей развернутого комментария.

«Италию мы уже создали, теперь надо создавать итальянцев», — говорил Камилло Кавур, один из объединителей Италии, и эти слова стали лозунгом итальянских патриотов. Для людей, далеких от исследования истории, они могут звучать как парадокс. Между тем Кавур фиксировал реальную и серьезную проблему, которая имеет отношение не только к Италии.

К примеру, та же проблема стояла перед национально мыслящими германскими патриотами, которые, обращаясь к соплеменникам, призывали их к национальному единству. В 1841 году Гофман фон Фаллерслебен написал текст — «Патриотический гимн немцев». «Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt...» (Германия, Германия превыше всего на свете). Положенные на музыку Гайдна эти слова позже стали гимном Германии. Речь идет о том, что единая Германия выше

локальных идентичностей, выше тех 35 суверенных монархий и четырех свободных городов, входивших в 1841 году в Германский союз.

Дело в следующем: на заре истории товарное хозяйство, феномен гражданина, рациональное сознание, демократические институты и автономная личность могли сложиться *только в торговом городе-государстве*. В этом случае все перечисленные характеристики сплавлены воедино с *локализмом* полисного сознания. Следующая итерация всемирно-исторического процесса требовала перехода нового качества, обретенного в полисе, на уровень большого государства. Задача интегрирования больших пространств вступала в неразрешимое противоречие с полисным локализмом. Империя как универсальная модель, монотеизм и мировые религии как интегратор поверх различий «эллина и иудея, варвара, скифа, раба, свободного» (Павел 1: 1); наконец, национальные государства, складывающиеся в эпоху утверждения секулярного сознания, — все эти феномены требуют преодоления локализма: полисного, племенного, территориального.

Преодоление локализма — задача огромной важности, возникающая на определенных этапах государственного строительства. Вне общей идентичности нет единого государства, нет готовности бороться и умирать за большую, общую родину. И эти соображения имеют прямое отношение к теме нашего исследования. Как пишет И. Кораблев: «Победила римская государственная и военная организация, позволившая Риму более эффективно, чем это сделал Карфаген, мобилизовать свои ресурсы»⁵. Он же указывает на то, что карфагенские колонии в Испании не участвовали во Второй Пунической войне.

Путь от полиса к большому государству — процесс сложный и внутренне противоречивый. Интегрирование больших общностей подталкивает эволюцию в направлении традиционных моделей общества и культуры, хорошо отработанных Древним Востоком. Сильная власть, необходимая для создания больших государств, утрачивает зависимость от породившего ее общества. Сословие правителей начинает воспринимать граждан как подданных, а свою власть как исконную и богоданную. Медленно, но неотвратимо вчерашний гражданин превращается в холопа.

Первая попытка была сделана греками. Собственно греческие полисы энергично сопротивлялись гегемонии Афин и стремились сохранить свою независимость. Однако к середине IV века до н. э. переживавшие «кризис полиса» города-государства были завоеваны македонским правителем Филиппом II. А его сын Александр Македонский завоевал огромные пространства Востока и реализовал политический курс на создание единого государства, объединявшего греков и варваров⁶.

Наследовавшие ему диадохи ушли на Восток, в центры завоеванных государств. Взяв от Востока сакральную власть и устойчивую имперскую традицию, они обрели себя на жизнь в азиатской реальности, в обществах, для которых деспотия — естественное и единственно возможное состояние. В объемном отношении традиционно восточный человеческий материал резко превосходил тяготевших к городам греков. В результате, обживая новые пространства, греки утрачивают собственно греческое полисно-античное качество и незаметно для себя превращались в привилегированное сословие традиционных азиатских империй. За три-четыре века государства диадохов деградировали и превращались в нормальные восточные империи.

Создать эффективную государственную структуру, интегрирующую большие пространства, при условии сохранения исходного социокультурного целого, удалось Риму, в рамках которого сформировалась греко-римская целостность, впитав-

⁵ Кораблев. И. Ганнибал. М.: Наука, 1976. С 153.

⁶ Античные греки называли «варваром» всякого не грека.

шая достижения греческой античности. Ко всему этому Рим добавил римское право, железную волю и неиссякаемую энергию молодой империи.

Работа по созданию империи разворачивалась на северном побережье Средиземноморья, в зоне, не охваченной древневосточной традицией. Стоит иметь в виду, что Южная Италия и Сицилия были охвачены греческой колонизацией с VIII века. Сам город Рим складывается как полис. Формируется городская община, складываются полисные традиции и институты (Народное собрание, Сенат). К 287 году до н. э. плебеи добиваются политического равноправия. Общество консолидируется, и Рим продолжает территориальную экспансию на континенте.

Важно зафиксировать, что рост римского государства происходил таким образом, что входившие под власть Рима города сохраняли полисное самоуправление. Построение централизованного государства происходит с сохранением полисно-античного качества. Государство берет на себя функции внешней политики, вводит единое законодательство, общегосударственное налогообложение. Однако внутренняя жизнь провинций соответствует полисной традиции. Демократические институты, самые разнообразные объединения и коллегии позволяют сохраняться сознанию и формам социальности, сложившимся в мире греческой античности.

Заметим, что Римская империя, давно пережившая стадию города-государства, веками держалась за символы прошлого. Со слов «Urbi et orbi» (Городу и миру) начинались важные объявления в Древнем Риме, а затем эту традицию унаследовали римские папы. Вплоть до рубежа III и IV веков римляне называли свое государство республикой.

Кроме того, формируя империю и отработывая модели отношений «центр-периферия» Рим демонстрирует известную гибкость: привлекает элиту покоренных провинций перспективой включения в римский образ жизни и культуру, распространяет нормы полисного самоуправления, использует дарование римского гражданства как действенный рычаг ассимиляции. Наконец, Римская империя формирует систему гибких договорных отношений с провинциями, а также формирует особую категорию граждан — «федератов», которые создавались из варваров, селившихся на «эвакуированных» территориях и защищавших римские границы от нападавших. Все это существенно отличает Рим от традиционных восточных империй древности.

Добавим к этому следующее важное замечание: институты и традиции, сложившиеся в греческом полисе и веками оттачивавшиеся в теле Римской империи, пережили Рим и расцвели по завершении «темных веков» в средневековом городе. Коммунальная революция XII—XIII веков в практическом плане привела к городской независимости. А в более широком — возвестила о рождении нового исторического качества. Причем это качество преемственно по отношению к античному городу. Иными словами, описываемые нами формы культуры и социальности относились к базовым характеристикам европейского (античного по своему происхождению) города. Волны варваров, крах государства, жестокий упадок городов не размыли названные основания, которые возрождаются при первой возможности.

Часто под новыми названиями, однако, сохраняется суть, *spiritus* исходного феномена. Цеховые корпорации средневековья со своей иерархией, праздниками, корпоративной солидарностью восходят к римским коллегиям, объединявшим людей, в том числе и по общности профессий и таким же самосознанием, формами общения, солидарностью. Милиция, то есть вооруженное ополчение средневековых городов-государств, восходит к милиции греко-римской античности. Цеховое, а вслед за ним и городское самоуправление на территориях, связанных с наследием Рима, обычно копировало позднеримские институты. Обобщая, подъем

городов и расцвет городского строя в Европе стал полем восстановления и дальнейшего, качественного развития античной традиции.

Итак, в отличие от греков, Риму удалось решить проблему интегрирования больших пространств в рамках нового — античного — качества, не свалившись в болото азиатской империи. Понятно, что в таком виде эту задачу не формулировал никто из субъектов действия. Однако история хитрее людей. Она варьирует ландшафтно-климатические, геополитические и другие условия таким образом, что однажды складывается ситуация, благоприятная для рождения нового феномена. Именно поэтому у Рима получилось. Тем не менее дальнейшее развитие событий толкало империю к трансформации в традиционную имперскую структуру. В I—II веках, охватив Средиземноморье со всех сторон и ассимилировав государства диадохов, Рим выходит в соприкосновение с Персией и инкорпорирует огромные массы традиционно азиатского человеческого материала. Античное общество не складывается на новообретенных пространствах и вырождается на пространствах собственно европейских. При императоре Диоклетиане (284—305) происходит важное символическое событие: завершается эпоха принципата и начинается эпоха домината⁷. В правительственном письме от имени прокураторов⁸ Диоклетиан написал: «Государь наш и бог повелевает (*Dominus et deus noster sic fueri iubet*)...» Правитель как живой бог — тот образ сакральной и абсолютной власти, который давно отработан Востоком. Республиканские традиции не были уничтожены полностью, но отступили в отдельные зоны и спустились на более низкий уровень.

Римское качество сохраняется от дальнейшей деградации с разделом империи в 405 году. Западная Римская империя потихоньку угасала, отрабатывая новые социальные модели, по-настоящему востребованные позже, средневековым обществом: формировала сословия, переводила рабов в статус колонов (то есть посаженных на землю крепостных) и т. д. Но дальнейшая трансформация в направлении восточных моделей прекратилась. Восточная Римская империя выдержала натиск варваров и просуществовала тысячу лет. И хотя подданные византийского императора называли себя «ромеями», то есть римлянами, сама Византия и ее подданные были качественно иными относительно античного Рима.

Собственно европейское историческое качество, преемственное от греко-римской античности, возрождается на нашем континенте и формируется заново с разворачиванием средневековья. Суммируя, примерно полторы тысячи лет европейский эйдос развивался более или менее изолированно⁹. Во время Первой мировой войны начинается процесс массовой миграции афро-азиатского населения в Европу. И с этого времени ситуация меняется.

Здесь мы касаемся еще одной важной проблемы: Рим и средневековая Европа могли ассимилировать варваров. Носитель культуры и сознания, соответствующего предшествующей стадии исторического развития, с большим или меньшим трудом вписывается в конкретную цивилизацию. Другое дело — стадийно соотносимый человеческий материал. Переход из одной цивилизации в другую — исключительно сложный, энергоемкий и болезненный процесс. Такого рода трансформация возможна (подчеркнем, не обязательна и неизбежна, но возможна) при соблюдении важнейшего базового условия — выдерживания пропорций в соотношении ассимилирующего целого и корпуса мигрантов.

⁷ Принципат — глава государства «принцепс» формально считался первым гражданином республики. Доминат — император становится господином, а все остальные — сыновьями или рабами.

⁸ Прокуратор — крупный государственный чиновник в империи.

⁹ Можно вспомнить арабов в Испании и турок на Балканах, но эти эпизоды носили локальный характер и разворачивались на периферии Европы.

Условно говоря, устойчивое социокультурное целое может ассимилировать в течение жизни двух-трех поколений 10 % своего объема. Гарантий никаких нет. Мигранты могут оуклиться, встать на путь противостояния, сконцентрироваться на небольшой территории и пытаться обрести политическую независимость. А могут пойти по пути постепенного, неуклонного вписания в культуру своей новой родины. На некотором этапе этого процесса (чаще во внуках и правнуках) происходит признание исповедальных ценностей и более или менее полная ассимиляция.

Однако если пропорции существенно нарушены и/или, не дай бог, мигранты обретают политическое господство — вектор ассимилятивного процесса меняется и разворачивается обратная ассимиляция. Эти процессы можно было наблюдать на территориях Византийской империи, захваченных Арабским халифатом, либо на территориях Малой Азии, вошедших в Османскую империю. Миллионы потомков «ромеев», крестоносцев, эллинизированного населения Малой Азии переходили в ислам и смешивались с завоевателями.

Иногда это происходило по историческим меркам стремительно. После турецкого завоевания жители Боснии, исповедовавшие еретическую с точки зрения ортодоксии религию попа Богомила, вместе со своими князьями перешли в ислам. То же после арабского завоевания происходило с жителями Египта. Монофизиты и несториане Ближнего Востока, которым Константинополь навязывал халкидонскую веру, с чувством облегчения переходили в ислам.

Надо сказать, что сегодня на наших глазах драма трагической диалектики Запада и Востока разыгрывается в третий раз, после диадохов и Римской империи. Колониальное господство Запада в XVII — первой половине XX века завершилось ожидаемо. Разогретый Восток наносит «ответный удар». На этот раз необозримо возросшая мощь современной цивилизации позволила охватить весь земной шар. Соответственно, тренд торможения, блокировки и деградации, задающий перерождение Запада, вызван активизацией разбуженных обществ и обратным движением, исходящим из всех уголков и зон традиционного мира. Восток, понимаемый в самом широком смысле, восприняв от Запада элементы нового качества, активизировался и устремился (людьми, ресурсами, идеями) на Запад, стараясь снять мучительную дистанцию между этими сущностями, сделать из Запада нормальное восточное общество. Модернизированное, в той или иной мере продвинутое по шкале исторического развития, но восточное, органичное для себя, естественное.

Мы не знаем, чем закончится эта итерация диалектики Запада и Востока. Но то, что результат задаст судьбы мира, не подлежит сомнению.

Возвратимся к грекам и римлянам. Как показала история, безудержный империализм — плохая альтернатива локализму. Захват без разбора всего, что плохо лежит, обрекает народ-имперостроитель на сосуществование в рамках неинтегрируемого, взаимно противоречивого целого. Эта политика рождает непреодолимые проблемы и в стратегическом аспекте обрекает государство на распад. Именно поэтому безудержный империализм — достояние прошлого. К рубежу XVIII—XIX веков европейские политики начинают осознавать, что захват конфессионально и культурно чуждых территорий в Европе — занятие не только бесполезное, но и опасное.

Мучительно, шаг за шагом преодолевающий локализм человек двигался к модели национального государства. К примеру — объединение Германии. Когда Бисмарк утверждал: «Мы никогда не должны позволить прусской монархии терять свой характер в ленивой закваске южногерманского уюта», — им руководила точная историческая и культурологическая интуиция¹⁰. Деятельная протестантская Пруссия качественно отличалась от склонной к созерцательной жизни католической Юж-

¹⁰ Пальмер А. Бисмарк. Смоленск, 1998. С. 69

ной Германии. Для объединения Германии потребовалось длительное вызревание Пруссии. Подчеркнем, вызревание вне общегерманского единства. Только в такой конфигурации могло сформироваться и закрепиться то качество, которое после объединения было навязано всей Германии и обрело характер общенациональной ментальности. Немцы часто говорят о том, что знаменитый «Ordnung» и общегерманский энергетический импульс были принесены Пруссией. Для того чтобы «перелопатить» всю нацию, эти качества прежде должны были вызреть в отдельном локусе, войти в ментальность и социальную природу общества. Должно было быть накоплено, аккумуляровано некоторое количество движения. И только потом, опираясь на эту энергию, можно было не только объединить немецкие земли, но и претворить их в соответствии с прусским духом.

Обратим внимание и на такой момент. В рамках итерации, связанной с именем Бисмарка, совокупного импульса или преобразующей потенции Пруссии как общества, несущего новое качество, было достаточно для интеграции северо- и южногерманских земель, но явно не хватало для интегрирования, во-первых, католической и, во-вторых, не изжившей (в силу первого обстоятельства) имперское сознание Австрии. Аннексия Австрии (а после битвы при Садовой (3 июля 1866 года) в ходе австро-прусской войны эта перспектива была вполне реализуема) привела бы к откату новообразовавшегося целого назад. Пруссия неминуемо растворилась бы в той самой «ленивой закваске», которой так боялся Бисмарк. Итак, в диалектике локусов реализуются универсальные законы социокультурной самоорганизации, пронизывающие собой различные уровни европейского целого.

Надо сказать, что Бисмарк хоть и консерватор, однако — рационально мыслящий европеец. Для того чтобы прийти к пониманию всего сказанного, потребовались две тысячи лет, войны Контрреформации, наступление секулярного сознания (вспомним политику «Культуркампа»). История разворачивается в своем темпе. Впрочем, на восток от Германии политическая элита традиционной православной империи не осознавала стратегические риски интегрирования больших объемов иноцивилизационного и иноэтического целого еще целый век. Ту же картину не так давно можно было наблюдать в Королевстве сербов и хорватов.

Вернемся к истории Рима. В ходе Самнитских войн Рим превратился в гегемона всей Средней Италии. К 280 году до н. э. Рим проникает в Южную Италию и за десять лет подчиняет всю Великую Грецию (историческая область с древнегреческими колониями на территории современной Южной Италии). Иными словами, Рим становится крупнейшим государством Западного Средиземноморья и оказывается лицом к лицу с другим гегемоном этого региона — Карфагеном.

Столкновение Рима и Карфагена было битвой первой и третьей, завершающей версии нового исторического качества. Понятно, что в этой борьбе конечная победа Рима была неизбежна.

Вторая Пуническая война (218–201 до н. э.) стала важнейшим событием в истории стран и народов Средиземноморья. Победа Рима в соперничестве за мировое господство с другой величайшей державой эпохи — Карфагеном — на пять веков определила судьбы всего античного мира и историю человечества. Никогда, вплоть до своего распада, Рим не был так близок к гибели. Вторая Пуническая война породила большую историографическую традицию. Военные и политические обстоятельства конфликта, развертывавшегося на огромных пространствах в течение без малого двух десятилетий, описаны на удивление подробно разными авторами.

Вот что писали победители о Ганнибале — Тит Ливий: «Насколько он был смел, бросаясь в опасность, настолько же бывал осмотрителен в самой опасности.

Не было такого труда, от которого бы он уставал телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с равным терпением; ел и пил ровно столько, сколько требовала природа, а не ради удовольствия; выбирал время для бодрствования и сна, не обращая внимания на день и ночь, — покою уделял лишь те часы, которые у него оставались свободными от трудов; при том он не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины, чтобы легче заснуть; часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спит на голой земле среди караульных или часовых. Одеждой он ничуть не отличался от ровесников; только по вооружению да по коню его можно было узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставлял за собой прочих; первым устремлялся в бой, последним оставлял поле сражения»¹¹. Это не панегирик, написанный по случаю вступления на престол очередного солдатского императора, и не ода к юбилею «отца народов». Это характеристика *смертельного врага*, принадлежащая перу одного из классиков римского исторического знания. При всем этом Ганнибал был жестоким и вероломным. Тот же Тит Ливий продолжает: «Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности, его вероломство превосходило даже пресловутое пунийское вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святынь»¹².

Позволим себе одно замечание относительно обвинения в адрес карфагенян. «Пресловутое пунийское вероломство» состояло в том, что карфагеняне отказывались признать свое поражение и снова и снова поднимались на борьбу.

На момент разворачивания Пунических войн Карфаген был городом-государством, а Рим — молодой и энергичной империей. Город-государство в принципе не может одолеть империю в войне на истощение¹³. Заметим, что именно поэтому Великий Новгород был обречен на поглощение Московской. Для того чтобы победить в такой схватке, городу-государству надо было перестать быть самим собой. Перед нами типологически различающиеся структуры. Каждая из них может переживать эволюцию, но только в рамках системного качества. Выход за эти пределы невозможен. Если же предел перейден, то город-государство трансформируется в империю.

Города-государства появляются на морских торговых путях, переживают расцвет, могут объединяться в широкие федерации, обеспечивают социально-культурный подъем своих регионов, рост городов, по возможности создают колонии. Но однажды наступает неизбежный закат. Модель города-государства выработана, а переход в новое качество невозможен. Заметим, что интеграция этих пространств в некоторую целостность происходит только после уничтожения или буквального умирания предшествующего системного качества. Ни Ганзейский союз, ни средневековые морские республики Италии не породили ни империй, ни национального государства. Более того, на этих пространствах историческая альтернатива городу-государству — национальное государство в собственном виде (как Италия) или в форме достаточно эфемерной империи, менее чем за сто лет трансформировавшейся в нормальное национальное государство (Германия), возникают очень поздно — в 70-е годы XIX века.

В чем причина? В истории огромное, часто определяющее значение имеет структура идентичности. Родо-племенное мышление не равно мышлению человека государства. Имперская идентичность, политическим измерением которой выступает

¹¹ Тит Ливий: 21, 4, 5–8.

¹² Там же: 21, 4, 9.

¹³ Так же как азиатская традиционная империя в принципе не может одолеть империю европейскую и, шире, значительное европейское целое. Смотри опыт противостояния Османов и Европы.

сознание подданного правоверного императора, задает особое позиционирование в космосе, неравное позиционированию человека полисной культуры. Механизмы мобилизации ресурсов, чрезвычайно жесткие формы и механизмы консолидации, безжалостное уничтожение противника — все это вытекает из природы традиционной империи¹⁴.

Космос человека города-государства устроен совершенно по-другому. Локальное мышление предполагает взаимодействие на договорных началах. Ставку не столько на принуждение, сколько на оплату либо соучастие из сознания собственной пользы, оставляющее за союзниками право выбора, — все это делает торговую республику проигрывающей стороной в деле мобилизации ресурсов, что жизненно важно в войнах на уничтожение. А империи (особенно на этапе исторического подъема) сплошь и рядом ведут войны на уничтожение. Либо покоряют, либо буквально уничтожают противника, как Рим уничтожил Карфаген. Римская имперская армия состояла из ополченцев, армия Карфагена — из наемников. А это очень разные субстанции. Наемники склонны к бунту или дезертирству при малейших задержках жалования. Ганнибалу не раз приходилось решать подобные проблемы со своей армией. Римские воины стояли до последнего, а если бежали с поля боя — безропотно шли на децимацию.

Великий воин древнего мира Ганнибал не был владыкой традиционной империи. Его политическое и человеческое мышление не восходило к моделям Ассирии и разворачивалось в иной плоскости. Наказать, показать бесперспективность захватнической политики и физически уничтожить — существенно различающиеся стратегии.

Вторая Пуническая война длилась 17 лет (218—201 до н. э.). На первом этапе этой войны Ганнибал совершил главную стратегическую ошибку: после разгрома Рима в битве при Каннах (крупнейшее сражение Второй Пунической войны 2 августа 216 года до н. э.) он не двинулся срочно на город, но ждал послгов. Судя по всему, Ганнибал был не готов к реализации имперской стратегии *уничтожения* противника. После битвы начальник карфагенской конницы Магарбал сказал, что мечтает через четыре дня пировать на римском Капитолии. Ганнибал ответил, что ему нужно подумать. Тогда Магарбал произнес: «Не все, конечно, дают боги одному человеку. Ты умеешь побеждать, Ганнибал, но пользоваться победой ты не умеешь». Ганнибал видел цель войны не в уничтожении противника, а в установлении гегемонии Карфагена в Западном Средиземноморье и возврате Сицилии, Корсики и Сардинии.

Если Карфаген имел шанс победы в войне, то единственная возможность такой победы была связана *со взятием и разрушением Рима*. В августе 216 года Ганнибал обрел этот шанс, но не реализовал его. Все, что происходило после Канн (а война длилась еще 15 лет), было войной на истощение, которую Карфаген не мог выиграть в принципе.

Здесь мы сталкиваемся с качественной дистанцией в мышлении человека торговой республики и империи. Вспомним высказывание Марка Порция Катона Старшего прославившийся фразой: «Кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен», которой он заканчивал всякое выступление в Сенате. Оно отчетливо демонстрирует природу политического мышления Рима. Побывав в Карфагене, активно восстанавливаемом после поражения во Второй Пунической войне (218—201 до н. э.), Катон выступил в Сенате и, потрясая гроздью спелого винограда, привезенного из Карфагена, убеждал коллег в необходимости разрушения Карфагена.

¹⁴ Смотри римскую практику наказаний в армии (децимация — казнь десятого солдата за бунт и дезертирство), а также казнь за засыпание на страже и т. д.

Этот эпизод в высшей степени выразителен. Карфаген — наш геополитический конкурент, он демонстрирует впечатляющую динамику. Именно потому, пока это в наших силах, его необходимо уничтожить. Катон говорил до прихода в Рим мировых религий. Ему не надо было облекать устремление к намеченным имперским целям в тогу священной борьбы за продвижение божественной истины. Есть социал-дарвинистская реальность: мы или они. Лучше стрелять первыми.

Что-то подобное мы слышали в 70-е годы прошлого века. Мысли эти звучали в узком кругу, но неизбежно расходились волнами и доходили до заинтересованной аудитории. Речь шла о судьбах европейского континента. Идея состояла в том, что если внезапно, решительно и по всему фронту, то в считанные дни можно дойти до Атлантического побережья. В этой ситуации США не решатся на ядерный ответ. В противном случае, рано или поздно, нас одолеют. Эти планы увязывали, в частности, с главнокомандующим объединенными вооруженными силами Варшавского договора маршалом И. И. Якубовским.

Надо сказать, что история, подобная ситуации после битвы при Каннах, произошла с Карлом XII в ходе Северной войны (1700—1721). В 1700 году, после разгрома российской армии при Нарве, Петр ждал шведов под Москвой. Однако Карл, вопреки мнению части своих генералов, остановился, полагая, что задача выполнена. И это была его главная ошибка. Война, которая длилась после этого два десятилетия, была проиграна Швецией, поскольку то была война на истощение государств со стадияльно соотносимыми армиями, но разительно отличающимися ресурсами. Швеция империя притязала на статус лидера в регионе, Россия же была огромной империей, переживающей модернизацию. Так же как и Ганнибал, Карл XII провел годы в изгнании (в Османской империи), затрачивая свои силы на провоцирование успешной войны Османов с Россией. В отличие от Ганнибала, покончившего жизнь самоубийством, Карл XII был убит при сомнительных обстоятельствах (то ли шальная пуля в траншее, то ли заговор шведской аристократии).

Вернемся к судьбе Карфагена. В конечном итоге в 146 году до н. э. полумиллионный город Карфаген был полностью уничтожен, а оставшиеся в живых жители проданы в рабство. Место, где располагался город, засыпано солью. Впоследствии римляне вновь заселили Карфаген, однако поставили город на новом месте, неподалеку. Он стал главным городом римской Африки и одним из крупнейших городов империи (вначале Римской, а затем Византийской) вплоть до арабского завоевания.

К противнику Рим относился по-разному. Бесчисленные племена и народности завоевывал и приводил к покорности. Восставших — громил и наказывал. Если же Рим сталкивался с онтологическим противником, который не примирится с римским господством ни при каких обстоятельствах, — физически уничтожал. (Разумеется, если это было в его силах. Так, Персия не интегрировалась в пределы Рима, и на ее поглощение и удержание не было ни ресурсов, ни смысла.) Если бы карфагеняне лежали за рамками сферы геополитических притязаний Рима, они бы его не интересовали.

Посмотрим на то, как трудились на ниве уничтожения исторического противника римляне. Нам известны два народа — карфагеняне и евреи. Как же сложились их судьбы?

Карфаген разрушен, его население уничтожено (частично перебито, а остальные поставлены в условия, блокировавшие сохранение этнической и культурной идентичности). Живших в Карфагене потомков финикийцев уничтожили как этнокультурную реальность. Говорят, что потомки карфагенских колонистов в Испании

со временем влились в этнически близкий им еврейский народ. Сами же карфагеняне исчезли.

Карфаген был итоговой, суммирующей тысячелетний опыт развития версией финикийского города-государства. Оставаясь в рамках собственного, то есть исходного системного, качества, он не мог стать ни античным полисом, ни тем более эффективной и энергичной империей, в основании которой лежат полисная структура столицы метрополии и существенные компоненты полисного сознания. Ему оставалось биться до последнего. Неандерталец мог конкурировать, сражаться и отступать в противостоянии *homo sapiens*. Стать им он не мог по фундаментальным обстоятельствам. Такова жестокая диалектика истории.

Мы говорим о событиях, разворачивавшихся две с лишним тысячи лет назад. Вспомним, как сложно идут процессы догоняющей модернизации в странах второго эшелона, сколько проблем порождают, какими потрясениями — революциями, диктатурами развития, депопуляцией — сопровождаются. Наконец, оценим, все ли страны, включившиеся в догоняющую модернизацию, смогли преодолеть исходное системное качество и перейти порог, разделяющий экстенсивные и интенсивные общества. В описываемую нами эпоху не существовало ни понимания качественной дистанции между разными странами, ни идеи ее преодоления.

С Иерусалимом произошла сходная история. В ходе подавления восстания (Первая Иудейская война 66—71 годов) Иерусалимский храм и большая часть города были уничтожены. Половина жителей изгнана из города, а другая половина продана в рабство. В 117 году император Адриан посетил развалины Иерусалима и принял решение основать на этом месте новый город — Элию Капитолину с храмом Юпитера Капитолийского на месте храма евреев. Город заселялся римскими легионерами. После жестокого подавления восстания иудеев под водительством Бар-Кохбы в 132—135 годах евреям под страхом смерти было запрещено входить в город, за исключением одного дня в году — день поста, когда евреи оплакивают разрушение храмов. Запрет на посещение города евреями пережил Западную Римскую империю и продержался вплоть до VII века. Только в 614 году Иерусалим был захвачен сасанидами. Шахиншах Хосров II отменил запрет на доступ нехристиан в Иерусалим и отдал город в управление еврейской общине. Далее веками евреи, наряду с христианами и мусульманами, жили в Иерусалиме, который переходил от византийцев к арабским халифам, затем к крестоносцам, мамлюкам, монголам. Наконец в 1517 году город захватили турки-османы, которые владели Палестиной четыре века. Иерусалим превратился в маленький провинциальный городок. Захватившие Иерусалим в 1917 году англичане открыли эпоху британского мандата в Палестине. Британский мандат завершается в 1948 году с возникновением государства Израиль.

Итак, карфагеняне уничтожены. Евреи изгнаны из исторической родины, причем изгнание это пережило Римскую империю на многие века. Только через пятьсот лет после падения последнего остатка Рима — Византии произошло восстановление еврейского государства. В основе этого чуда — монотеистическая религия еврейского народа, верность которой спасала евреев от растворения, далее энергия и неукротимая воля этого народа, нацеленная на сверхценную идею возвращения на Святую землю и выстраивания на ней еврейской теократической государственности. В результате евреи не только самосохранились и пережили римлян, но и восстановили свое государство.

Посмотрим, что стало с государством и народом Рима. Государство пережило Ганнибала лет на шестьсот. Как и все под луною, римский народ смертен. Однако римляне породили романские народы Европы, охватившие более половины конти-

нента. Языковое, культурное наследие, история Рима сохранились в максимально возможной степени. Кроме того, романские языки выплеснулись в Латинскую Америку и стали родными для сотен миллионов людей. А от Карфагена остались фундаменты зданий, отдельные надписи и описания войны, сделанные римскими и греческими авторами.

И наконец, клятва Ганнибала наводит на размышления об основаниях и формах экспликации российского антизападничества. О картине мира и судьбах культуры, отторгающей Запад по метафизическим основаниям. Дело в следующем: на самых разных уровнях культуры и в разных зонах российского социального пространства возникает типологически единый феномен: А. Ф. Лосев и эмигрант Иван Ильин, Троцкий и маршал Тухачевский (помните «Даешь Варшаву, даешь Берлин»), старые марзматики на московских улицах с плакатом «Дошли до Берлина, дойдем до Вашингтона», наши незабываемые телеведущие, упоминать фамилии которых нет нужды, неоевразиец Дугин, лауреат Международной премии Ким Ир Сена Александр Проханов и политолог Сергей Кургинян — все эти персонажи объединяет рефлексорное, до любых мыслей и соображений, отторжение Запада, коренящееся на уровне спинного мозга.

Отторжение Запада исходно, и переживается носителями российскоимперской идентичности как метафизическая характеристика бытия. В глубинном основании этого феномена — качественное различие локальных цивилизаций и, соответственно, ментальных конституций носителей российской идентичности. Европейское образование и европейский по внешним формам образ жизни маскировали такую дистанцию. Заданный образованием язык диктовал общий дискурс. Однако глубинная дистанция в понимании Вселенной, Божьего замысла о мире и человеке, месте этого человека в мире, целях и смысле его существования оставалась и диктовала варварски амбивалентное отношение к Западу: взять как можно больше самых разных благ цивилизации Запада, предметов, практик, моделей поведения и образа жизни, а потом разрушить этот богомерзкий мир, стереть его с лица земли. А если не удастся — отвернуться и пойти своей дорогой.

Дискуссии в данном лагере если и происходят, то по частным проблемам, Фундаменталисты предлагают с порога отринуть все, что идет от Запада, оставшись пусть с голой задницей, но в чистоте от душегубительных соблазнов, а люди, в большей мере затронутые потребительским аспектом вестернизации, предлагают взять как можно больше (разумеется, очистив от скверны — см: «пролетарская наука» и т. д.) и двигаться по собственному пути.

В этом отношении исторически регрессивный феномен обречен на клятву Ганнибала и борьбу до окончательного разгрома, перехода в другое качество или схождения в историческое небытие.

Есть особое, всепоглощающее чувство ненависти вымирающего динозавра к очевидно побеждающим млекопитающим. Интеллектуальное мужество на то, чтобы признать неумолимую логику исторического процесса, в соответствии с которой «мы» обречены уступить мир более успешным, дано далеко не каждому. Остается ненавидеть, обращаться к Баал-Хамону и уповать на последний бой.

Ганнибал — фигура великая и трагическая. Нам по прошествии двух тысяч лет легко анализировать, сопоставлять, указывать на альтернативы. Он был сыном своей эпохи, и эта диспозиция диктовала ему один путь — битвы до последнего. Величие проигравшего, да еще закрепившееся в исторической традиции победителей, уникально.

История человечества зафиксировала одну печальную закономерность развития истории как научной дисциплины. Дело в том, что история — это такая дама, ко-

торая каждый раз ложится в постель с победителем. Для того чтобы историки исследовали некоторое событие с объективно-отстраненных позиций, необходимы отсутствие идеологической преемственности и существенная историческая дистанция.

Тем значительнее для нас образ Ганнибала.

Завершая, скажем несколько слов об исходном предмете настоящей работы. Клятва Ганнибала — знак исторической обреченности. Силы, верные этой клятве, обрекают себя на крах дела всей жизни, а свои народы на катастрофу и стремительное схождение с исторической арены.

Во многих отношениях Рим не сахар. В системе реакционно-романтического сознания борьба с символом всемирно-исторической динамики может представлять занятием возвышенным и героическим. Но при всех обстоятельствах надо понимать, что эта борьба обречена на провал. Логика мировой истории заставляет субдоминанта кидаться навстречу гибели. Таковы безличные и жестокие законы живой природы. Так же ведет себя полный энергии самец, кидающийся в схватку с безусловным доминантом. Инстинкты. Для молодых самцов динозавра или тигра подобное поведение нормально. Что же касается человека, то ему дана способность мыслить, а значит, шанс пройти путь осознания природы вещей и бессмысленности описанной битвы.

Карфаген погиб и практически не оставил по себе следов. Все, что мы знаем о нем, узнаем из уст победителей. Это страшная судьба. Дело не в личных качествах Ганнибала или Сципиона Африканского, дело не в тех или иных частных решениях, которые могли быть верными или ошибочными. Дело в логике всемирно-исторического процесса. Мир устроен таким образом, что семья жертвует индивидом, род — семьей, племя — родом, а биоценоз — отдельным биологическим видом. Повинуясь гормонам и инстинктивным программам, можно идти в мясорубку, а можно осознать диалектику истории и совершить спасительный выбор.

Ольга ГЛАЗУНОВА

«НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ» ИОСИФА БРОДСКОГО: МОНОЛОГ ИЛИ СКРЫТАЯ ПОЛЕМИКА?

Нобелевскую лекцию Иосиф Бродский прочитал 8 декабря 1987 года в Стокгольме в Шведской королевской академии наук. Через два дня, 10 декабря, в городской ратуше король Швеции Карл XVI Густав вручил поэту Нобелевскую премию по литературе. Бродский выступил с благодарственной речью, которую начал словами: «Уважаемые члены Шведской академии, Ваши Величества, леди и джентльмены, я родился и вырос на другом берегу Балтики, практически на ее противоположной серой шелестящей странице».

Лекция и речь — это разные жанры, хотя очень часто в публицистике и даже в работах, посвященных выступлениям нобелевских лауреатов, их путают. Цель речи определяется ситуацией, в рамках которой она произносится (различают надгробную речь, торжественную речь, юбилейную речь, благодарственную речь, нобелевскую речь и т. д.) Цель лекции заключается в другом — изложить свои представления о той сфере, в которой специалист достиг значительных результатов.

Согласно сложившейся традиции лауреат Нобелевской премии должен подготовить и прочитать лекцию по «своему предмету». При этом жанр и тематика лекции не определены, то есть лауреат может строить свое выступление, исходя из своих собственных представлений. Не стал исключением и Бродский. О том, как поэт готовил лекцию, рассказал Бенгт Янгфельдт в «Заметках об Иосифе Бродском»¹.

По словам Янгфельдта, «Бродский написал лекцию по-русски и сразу отдал ее для перевода на английский». В то время «он не знал, на каком языке ее прочтет». Когда Янгфельдт был у него в Нью-Йорке, «он только что закончил русский вариант». Они обсуждали этот вопрос. «Я, — пишет Янгфельдт, — высказал мысль, что выбор языка должен зависеть от того, как он воспринимает премию, в каком качестве он ее принимает — как русский поэт или англоязычный эссеист. Он склонялся к тому, что прочтет ее по-русски, но окончательно еще не решил. Это было 29 ноября».

«Даже 8 декабря, в день выступления, он еще не решил, на каком языке прочтет лекцию. При вхождении в зал Шведской академии у него в кармане были оба текста. Он вынул русский». Это интересный факт, учитывая то, что Иосиф Бродский

Ольга Игоревна Глазунова — лингвист, литературовед, специалист по русскому языку как иностранному. Работает на филологическом факультете СПбГУ, доцент.

¹ Янгфельдт Б. Заметки об Иосифе Бродском // Звезда. 2010. № 5. Интернет ресурс: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/5/be12.html>

был номинирован на Нобелевскую премию как «российский, американский поэт». Согласился ли Бродский с такой трактовкой? Судя по его выступлениям — нет. Не случайно в 1988 году в интервью Арине Гинзбург Бродский дает исчерпывающий ответ по этому поводу: «Я чувствую себя русским поэтом, англоязычным эссеистом и гражданином Соединенных Штатов Америки»².

«Нобелевская лекция» Бродского строится по классическим канонам. Она состоит из трех частей: вступления; центральной части, в которой поэт размышляет о предназначении литературы в целом; и заключительной части, в которой он говорит о поэзии, роли языка в жизни общества и духовной миссии тех, «кем язык жив», то есть поэтов.

Обычно во введении нобелевские лауреаты подчеркивают факт случайности в присуждении им этой премии и отдают дань уважения своим предшественникам, соратникам и современникам — тем, кто не удостоился такой чести и не имел возможности обратиться с посланием с высокой трибуны Шведской академии наук. Следует этой традиции и Бродский, называя в качестве своих предшественников Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Анну Ахматову, Роберта Фроста и Уистена Одена. «Быть лучше их невозможно ни в жизни, ни в творчестве»; «И это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они ни были, заставляют меня часто — видимо, чаще, чем следовало бы — сожалеть о движении времени», — признается Бродский.

Возможно, сожаление, которое высказывает поэт, связано с тем, что их уже нет в живых. Но могут быть иные интерпретации: ведь движение времени для человека частного — это его собственная жизнь. Назвав имена русских и американских поэтов, чье творчество ему дорого и чей след в поэзии вызывает у него восхищение, Бродский считает необходимым отметить: «Их, этих теней — лучше: источников света — ламп? звезд? — было, конечно же, больше, чем пятеро». Особенно в его жизни, благодаря двум культурам, к которым он принадлежит.

На протяжении всей лекции Бродский подчеркивает свое положение как положение человека частного. И это не просто случайность: для поэта это был сознательный выбор, намеренное отстранение от роли трибуна, властителя масс. Ибо, как говорит Бродский, «лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии».

От рассказа о себе и своих предшественниках Бродский переходит к разговору об искусстве и творчестве, развивая во второй части лекции ту же самую тему частного, необщественного, его характера. Для того чтобы убедительно и как можно более доходчиво изложить свои взгляды, Бродский прибегает к несколько необычным, но понятным для слушателей соответствиям. «Будучи наиболее древней — и наиболее буквальной — формой частного предпринимательства, оно (искусство. — О. Г.) вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности — превращая его из общественного животного в личность». Если предметы материального мира можно разделить с кем-то, то ощущения человека после прочтения стихотворения всегда уникальны. «За это-то, — считает Бродский, — и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости».

Именно произведения искусства, по мнению Бродского, создают из безликой массы людей — «ноликов» — пусть не всегда привлекательные, но «человеческие рожицы», вписывая в эти нолики «точку-точку-запятую с минусом». И в этом своем представлении о роли искусства в жизни общества поэт не одинок. «Великий

² Бродский И. Остаться самим собой (Интервью Арине Гинзбург) / Бродский И. Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000. С. 367.

Баратынский, говоря о своей Музе, — замечает Бродский, — охарактеризовал ее как обладающую „лица необщим выраженьем“. В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования»; «прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь».

Художественная литература формирует среду, которая готовит человека к частной форме существования. А потому «подлинной опасностью для писателя, — считает поэт, — является не столько возможность (часто реальность) преследований со стороны государства, сколько возможность оказаться загнипнотизированным его, государства, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему — но всегда временными — очертаниями». Каким бы это государство ни было.

Преимущества индивидуализма как особой формы мировоззрения очевидны: независимость от общества предполагает личную ответственность человека за то, что происходит в его жизни, помогая ему избежать участи «жертвы истории». «Обладающее собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство, — подчеркивает поэт, — не синонимично, но в лучшем случае параллельно истории, и способом его существования является создание всякий раз новой эстетической реальности».

Среди способов, с помощью которых осуществляются попытки подчинить или приспособить произведения искусства к истории, Бродский выделяет расхожее мнение о том, «будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы». Подобные требования поэт считает неприемлемыми: «Только если мы решили, что „сапиенсу“ пора остановиться в своем развитии, литературе следует говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы»³.

Развивая эту мысль, Бродский отмечает особую роль эстетики в жизни общества, ее первичность в его преобразованиях и развитии: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятие „хорошо“ и „плохо“ — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории „добра“ и „зла“. В этике не „все позволено“ потому, что в эстетике не „все позволено“, потому что количество цветов в спектре ограничено». Представления о красоте лежат в основе этических норм, которые должны регулировать работу государственных структур и поведение человека в обществе.

Литература отвечает за формирование эстетических взглядов читателей, в дальнейшем этот опыт определяет нравственный выбор человека, делаая его свободным. «Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее». Таким образом, литературу и поэзию как высшую форму развития словесности, по мнению Бродского, следует рассматривать не как побочный продукт, а как «видовую цель» человечества. Ведь «произведение литературы — искусства, по выражению Монтале, безнадежно семантического — обрекает его на роль только исполнителя», — говорит Бродский (ср. Цветаевское: «Чтение есть соучастие в творчестве»). И это равенство между автором и читателем гарантировано природой, в силу того что каждый из нас рождается человеком разумным.

³ В Интернете (со ссылкой на И. Яковенко) этот отрывок из лекции Бродского представлен в качестве «прямой антитезы Нобелевской лекции Алексиевич, прочитанной 28 лет спустя» (см., например: <http://systemity.livejournal.com/3279737.html>). С этим трудно не согласиться. Создавать произведения искусства и заниматься публицистикой, фиксирующей «повседневность чувств, мыслей, слов», — это разные вещи. Отсюда, видимо, и многословность речи Алексиевич, неспособность не только выразить свои мысли языком художественной литературы, но и их структурировать.

Однако у этого процесса внутреннего освобождения есть и негативные стороны, связанные с «все возрастающей атомизацией общества, то есть со все возрастающей изоляцией индивидуума». Но и на это обстоятельство, считает Бродский, можно смотреть с определенной долей оптимизма, потому что «в качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная». А потому «в истории нашего вида, в истории „сапиенса“, книга — феномен антропологический, аналогичный по сути изобретению колеса».

Словесность не удел избранных, это уходящая в глубь веков система сохранения и уточнения нравственных приоритетов общества. Развивая человека, формируя его эстетические и этические представления, «литература оказывается надежным противоядием от каких бы то ни было — известных и будущих — попыток тотального, массового подхода к решению проблем человеческого существования. Как система нравственного, по крайней мере, страхования она куда более эффективна, нежели та или иная система верований или философская доктрина».

Вторую часть «Нобелевской лекции» Бродский заканчивает неожиданным предостережением. «Живя в той стране, в которой я живу (то есть в США. — О. Г.), — обращается к аудитории Бродский, — я первый готов был бы поверить, что существует некая пропорция между материальным благополучием человека и его литературным невежеством; удерживает от этого меня, однако, история страны, в которой я родился и вырос. Ибо сведенная к причинно-следственному минимуму, к грубой формуле, русская трагедия — это именно трагедия общества, литература в котором оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской интеллигенции».

В приведенном отрывке (возможно, намеренно) упускаются важные логические переходы, но восстановить мысль можно. Что же мы имеем? С одной стороны, в Америке, где большинство пребывает в состоянии финансового благополучия, процветает литературное невежество (то есть чем богаче люди, тем невежественнее, по мнению Бродского). То же самое до 1917 года было и в неблагополучной России, где литература тоже была прерогативой меньшинства, правда, другого меньшинства — относительно благополучной интеллигенции.

И если в 1917 году в силу невежества большинства в России произошла революция, то же самое может случиться и в США, где большинство, по словам Бродского, пребывает в том же состоянии. И не только в США: «Русский опыт, — пишет Бродский, — было бы разумно рассматривать как предостережение хотя бы уже потому, что социальная структура Запада в общем до сих пор аналогична тому, что существовало в России до 1917 года».

То есть «в определенном смысле, — считает Бродский, — XIX век на Западе еще продолжается», а в России он уже закончился, и закончился трагедией «из-за количества человеческих жертв, которые повлекла за собой наступившая социальная и хронологическая перемена». Последняя фраза Бродского: «В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор» — тоже наводит на размышления.

В третьей, заключительной части лекции Бродский переходит к разговору о поэзии. Но прежде чем обратиться к этой теме, стоит вспомнить некоторые факты. Как известно, Иосиф Бродский стал пятым по счету русским писателем, удостоенным Нобелевской премии по литературе: в 1933 году ее присудили Бунину, в 1958 году — Пастернаку, в 1965 году — Шолохову и в 1970 году — Солженицыну. Непосредственным предшественником Иосифа Бродского был лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын, эмигрант, который тоже вынужден был уехать из СССР на Запад.

Любопытно, что в США Иосиф Бродский и Александр Солженицын никогда не встречались, хотя и жили недалеко друг от друга. Но, конечно, с творчеством друг друга они были знакомы. Лев Лосев пишет: «Если Бродского спрашивали о Солже-

ницыне как о писателе, то он неизменно повторял то, что некогда слышал от Ахматовой: „Для меня Александр Исаевич — это совершенно замечательный писатель, чьи книги должны прочесть все триста миллионов людей, проживающих в Советском Союзе“. Или: „Советская власть обрела в Солженицыне своего Гомера. Он сумел открыть столько правды, сумел сдвинуть мир с прежней точки...“⁴.

Безусловно, мнение Анны Ахматовой чрезвычайно много значило для Бродского. Кроме того, Солженицын был старше Бродского на 22 года; к тому времени, когда они вместе оказались в Америке, он был всемирно известным писателем, удостоенным Нобелевской премии. Однако (и этого Бродский никогда не скрывал) его взгляды на литературу кардинальным образом отличались от взглядов Солженицына.

Обратимся к двум интервью, в которых Бродский говорит о стилистических особенностях прозы Солженицына и его взглядах на литературное творчество. Из первого интервью: «Что касается языка Солженицына, могу сказать лишь одно: это не русский язык, а славянский. Впрочем, это старая история. Солженицын — прекрасный писатель. И как каждый знаменитый писатель, он слышал, что у такого писателя должен быть собственный стиль. Что выделяло его в 1960—70-х годах? Не язык, а фабула его произведений. Но когда он стал великим писателем, он понял, что ему должна быть присуща своя собственная литературная манера. У него ее не было, и он поставил задачу ее создать. Стал использовать словарь Даля»⁵. Из второго: «Он писатель. Но он пишет не с целью создать некие новые эстетические ценности. Он использует литературу, стремясь к древней, первоначальной, ее цели — рассказать историю»⁶. Если для Бродского история и литература должны двигаться параллельно, то для Солженицына, по мнению Бродского, литература и есть история.

Интересным представляется и тот факт, что Бунин и Шолохов на церемонии вручения Нобелевской премии произносили речи, и только Солженицын прочитал лекцию. То же самое сделал Бродский, который стал следующим русскоязычным лауреатом премии. Сопоставив их лекции, можно отметить, что Бродский строит свою речь на оппозиции к лекции Солженицына.

Первое, что бросается в глаза, это упоминание знаменитой фразы Достоевского: у Солженицына она звучит как «Мир спасет красота»; у Бродского — как «Красота спасет мир». Так как в романе «Идиот» эта мысль дается в пересказе, то в зависимости от ситуации она предстает то в том, то в другом варианте. Стоит отметить, что, включив вслед за Солженицыным эту фразу в свою лекцию, Бродский во многом разделяет и мысли своего предшественника.

У Солженицына: «Есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи». В лекции Бродского: «Человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. <...> Зло, особенно политическое, всегда плохой стилист». Очевидно, что во взглядах на красоту и на политику между Солженицыным и Бродским противоречий нет.

⁴ Лосев Л. Иосиф Бродский. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 223.

⁵ «Чаще всего в жизни я руководствуюсь нюхом, слухом и зрением...» Беседа А. Михника с И. Бродским. Пер. с польск. Б. Горобца // Старое литературное обозрение. 2001. № 2 (278). Интернет-ресурс: <http://magazines.russ.ru/slo/2001/2/mihn.html>

⁶ «В Солженицыне Россия обрела своего Гомера». Интервью И. Бродского журналу The Iowa Review. 1978. № 4. / Иосиф Бродский. Большая книга интервью. Изд. 2-е, испр. М.: Захаров, 2000. С. 49.

Вместе с тем в своей лекции Бродский говорит о том, что искусство делает человека свободнее, а Солженицын — о том, что искусство делает человека лучше, благодаря слову правды, которое ему несет. И в этом принципиальная разница. Солженицын более оптимистичен в оценке роли искусства в современном мире: «Искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру». Бродский в нобелевской лекции делает акцент не на сегодняшнем мире, а на человеке: «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно». Таким образом, если для Солженицына красота ведет к добру и истине — понятиям довольно абстрактным, то для Бродского — к этическим нормам, то есть к нравственному выбору каждого отдельного человека. Следовательно, по Солженицыну, красота, которая ведет к добру и истине, противостоит злу и лжи; а для Бродского красота противостоит несвободе. В данном противоречии заключается суть их разногласий.

В третьей части «Нобелевской лекции» Бродский переходит в наступление, отмечая, что «разговоры о политическом зле», столь же естественные для тех, кто разговаривает на русском языке, как пищеварение, «развращают сознание своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты». По природе своей они сходны «с соблазном социального реформатора, зло это порождающего». За зло в мире несут ответственность все, и писатели здесь не исключение. А потому их желание изменить мир к лучшему, считает Бродский, мало чем отличается от взглядов так называемых «социальных реформаторов».

Если Солженицын видит предназначение писателя в активном воздействии на политику и противодействии уродливым формам развития общества («И кому же, как не писателям, высказать порицание не только своим неудачным правителям (в иных государствах это самый легкий хлеб, этим занят всякий, кому не лень), но — и своему обществу, в его ли трусливом унижении или в самодовольной слабости»), то для Бродского заслуга поколения литераторов, к которому он принадлежит, состоит в «сохранении наследственного благородства известных» им форм культуры, которые для них «были равнозначны формам человеческого достоинства».

Свою нобелевскую лекцию Бродский во многом выстраивает на противопоставлении. Для Солженицына язык является средством доведения до общества взглядов автора; для Бродского он выступает в качестве самоцели — «одушевленного существа», подсказывающего поэту следующую строчку: «не язык является его инструментом, а он (поэт. — О. Г.) — средством языка к продолжению своего существования». В этом сосуществовании языка и поэта у последнего есть неоспоримое преимущество, потому что «стихотворение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения». «Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя».

Немаловажным является еще одно обстоятельство. Уже было сказано, что в начале лекции лауреаты традиционно говорят о своих предшественниках — о тех, кто им дорог и на кого они ориентировались в своем творчестве. И здесь, отдавая дань их памяти, Бродский использует то же самое слово «тени», которое было у Солженицына. Однако в лекции Бродского это слово относится совсем к другим людям. Для Солженицына это «тени павших» — тех, кого он встречал «в тюремных камерах и у лесных костров», кто умер безвестным и остался навеки погребенным под толстым слоем снега и льда архипелага ГУЛАГ. Для Бродского — это поэты, которые внесли огромный вклад в развитие не только его самого как личности, но поэзии в целом, сохраняя высокую ее планку и преемственность.

Солженицын видит свою миссию писателя в том, чтобы довести до мира слова тех, кто был вместе с ним, но кому «не удалось вернуться. Целая национальная ли-

тература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги». Слова этих людей должны были быть явлены миру, потому что «в томительных лагерных переброях, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей, — говорит Солженицын, — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас». Ему удалось выжить, однако, выполняя долг перед погибшими, Солженицын чувствует сомнения в том, что ему удастся полностью передать смысл их послания: «И мне сегодня, сопровождаемому тенями павших и со склоненной головой пропуская вперед себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать они?» Но он говорит за них, чтобы «ни на миг не прерывалась русская литература!»

У Бродского таких обязательств нет, нет и уверенности в том, что он с нобелевской трибуны вправе говорить за своих великих предшественников — «тех, кого эта честь миновала, <...> чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода», потому что «писатель не может говорить за писателя, особенно — поэт за поэта», «по причинам прежде всего стилистическим». Да и задачи у Солженицына и у Бродского разные. Для Солженицына главное — говорить правду, способствуя преобразованиям к лучшему («Одно слово правды весь мир перетянет»), для Бродского — быть поэтом, следовать за «диктатом языка», сохраняя и развивая эстетические законы Вселенной.

Индивидуализм, о котором Бродский говорит в нобелевской лекции, выступает в качестве противовеса идее и практике подавления личности обществом или государством. И в этом смысле разногласий между ним и Солженицыным быть не может. Едва ли кому-то придет в голову обвинять Солженицына в том, что он выступал за несвободу личности; всей своей жизнью он доказал обратное. Очевидно, что он просто по-другому видел и понимал эту свободу.

Индивидуализм для Солженицына неприемлем, так как в его основе лежит отрицание принципа общности, а Солженицын выступает за коллективизм как форму национального существования, за возрождение русской соборной традиции. «В интервью 1979 года он ведет скрытый спор с Андреем Синявским и его журналом „Синтаксис“ — со всеми лжелитераторами, кто лишен „русской боли“»⁷. Возможно, именно этот спор подтолкнул Бродского к скрытой полемике с Солженицыным.

Со времени выступления Бродского в Шведской академии наук прошло тридцать лет. Трудно представить, какими стали бы взгляды поэта, если бы он жил в сегодняшнем мире. Откровенная слабость политических лидеров, настойчивое внедрение в сознание постмодернистских форм искусства, не имеющих ничего общего с эстетикой, профанация в сфере образования вряд ли остались бы незамеченными. Не говоря уже о печальных последствиях политики пренебрежения национальными интересами, которая привела к уничтожению целых государств, исходу из них мигрантов и возрождению крайне радикальных форм национализма. И все это сложилось в условиях преобладания индивидуалистического сознания, а не коллективного. Свобода без обязательств по отношению к другим людям привела к возникновению целого ряда маргинальных течений, целью которых является уже не просто попытка заявить о себе, но стремление одержать победу — подавить традиционные взгляды, вытеснив их из сознания общества.

Неудивительно, что в искусстве такого рода течения находят поддержку в массовой аудитории, ведь ни от художника, ни от читателя или зрителя они не требуют профессиональной подготовки, мастерства и таланта. В результате творчес-

⁷ Нива Ж. Феномен Солженицына. Интернет-ресурс: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/9/16n.html>

тво — это уже не удел избранных, а сфера деятельности людей случайных, из числа которых заинтересованные СМИ выбирают и продвигают «лидеров». Как писал Бродский в «Нескромном предложении», «демократия без просвещения — это в лучшем случае хорошо патрулируемые полицией джунгли с одним поэтом, назначенным на должность Тарзана». И это уже не преувеличение. Очевидно, что в наши дни многое из того, о чем тридцать лет назад говорил поэт, пытаясь предостеречь Запад, начинает сбываться.

Спор между индивидуалистами и коллективистами возник не сегодня, но именно сегодня мы наблюдаем результаты утраты равновесия между ними в обществе. Причины и следствия этого сдвига еще не изучены, однако в изложении двух нобелевских лауреатов, чьи доводы для многих являются весьма авторитетными, это противостояние приобретает особый смысл. Хотя позицию Бродского в этом вопросе нельзя назвать однозначной.

В 1964 году в ссылке Бродский пишет стихотворение «Мой народ, не склонивший своей головы», о котором Анна Ахматова сказала: «Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорил Достоевский в „Мертвом доме“: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович». Однако в тогдашнем окружении поэта «Народ» был воспринят как «стихи на случай», «послушное стихотворение», написанное исключительно для того, чтобы «задобрить власти», как «циничная попытка приспособиться к советским условиям». В то время, пишет Л. Лосев, «для многих, скорее всего для большинства читателей, почитателей, приятелей Бродского, единственным объяснением неиронического, лишенного эзоповских *double-entendres* произведения, посвященного „народу“, мог быть либо прямой конформизм, <...> либо неодолимое давление обстоятельств»⁸. Насмешки и обвинения достигли цели, и Бродский не включил «Народ» в сборники своих стихотворений.

Та же самая история произошла и со стихотворением «На независимость Украины». Накануне 75-летия со дня рождения поэта в Фэйсбуке на странице Бориса Владимировского (бывший одессит, в настоящее время живет в США) появился отрывок из выступления Иосифа Бродского 30 октября 1992 года, где он читает стихотворение «На независимость Украины». Эта публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы, потому что до этого вокруг стихотворения не утихали споры. Многие не верили в то, что написал его Бродский. Теперь же все встало на свои места, однако возникли и вопросы:

1) В еврейском центре в Пало-Альто в момент выступления Бродского присутствовало, по словам Владимировского, «почти тысяча слушателей». Почему же они так долго молчали? Подобное поведение по отношению к Бродскому тех, кто не мог не разделять его взгляды, вызывает недоумение. А как же права человека и право личности на свободу творчества? Неужели ими можно пренебречь, составив коллективный заговор против поэта?

2) Фонд имущественного наследия Иосифа Бродского не мог не знать о том, что впервые стихотворение «На независимость Украины» было публично прочитано Бродским в 1992 году. Однако в Интернете на странице, где проходило его обсуждение, присутствует информация: «Текст стихотворения был удален из статьи по требованию Алексея Гринбаума, представителя Фонда по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского, *The Estate of Joseph Brodsky*». Подобная деятельность по отношению к творчеству поэта никак не может соответ-

⁸ Лосев Л. О любви Ахматовой к «Народу» // Мир Иосифа Бродского: Путевод. СПб.: Журн. «Звезда», 2003. Интернет-ресурс: <http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/losev-o-lyubvi-ahmatovoj-k-narodu.htm>

ствовать целям создания фонда. Ведь в результате сокрытия этой информации сведения в книгах, посвященных жизни и творчеству Бродского, оказались неверными.

3) Как эта видеозапись попала к Борису Владимировскому и в чем состояла его личная заинтересованность в ее обнародовании через 23 года после выступления Бродского? Те объяснения, которые он приводит на своей странице в Фэйсбуке, выглядят крайне противоречиво и неубедительно. В одном из комментариев их даже назвали «страданиями либерала».

Похоже, индивидуализм Бродского дорого стоил поэту, и первыми среди тех, кто его предавал, оказывались близкие ему люди — те, кто был рядом или разделял его убеждения. Какими бы благими намерениями ни объяснялись запреты и требования к поэту (или к его творчеству) не выходить за рамки какой-то одной (в данном случае — либеральной) идеологии, они обрекают его на несвободу и искаженное восприятие со стороны читателей. По сути, подобные желания скорректировать чужую жизнь, вогнать ее в свои представления ничем не отличаются от позиции тоталитарного государства, направленного на подавление свободы личности и свободы творчества.

Очевидно, что человек разумный не может ограничиваться никакими навязанными ему установками, в разных ситуациях он будет вести себя по-разному. Если все вокруг знакомо и вызывает чувство скуки, он становится индивидуалистом — то есть тем, кто ищет новые пути и развивает идеи, которых раньше не было. Если, наоборот, ситуация складывается угрожающе и противостоять ей можно лишь сообща — бок о бок с теми, кто находится рядом, — он придерживается принципов коллективизма. Даже самый убежденный и непримиримый индивидуалист при решении трудных задач вынужден будет обратиться к здравому смыслу — этому коллективному бессознательному, которое помогает справиться с сомнениями, сориентироваться, оценить обстоятельства и сделать первый шаг в правильном направлении.

В отличие от Запада, Россия могла только мечтать о спокойных, наводящих скуку временах, и нет ничего удивительного в том, что коллективизм стал неотъемлемой частью сознания людей, которые в ней проживали. Игнорировать подобное положение вещей неразумно, но это не отменяет возможности обсуждения преимуществ той или иной позиции. А потому споры о том, что лучше — индивидуализм или коллективизм, продолжатся и в нашей стране, и на Западе.

Николай НАБОКОВ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ И НОВАЯ МУЗЫКА»

Мы завершаем журнальную публикацию глав из книги русско-американского композитора и общественного деятеля Николая Дмитриевича Набокова не совсем обычно — двумя начальными главами. В них автор свободно, остроумно и весело рассказывает о счастливой детской и юношеской поре своей жизни в России и о тех людях (родных, близких, сверстниках, учителях и наставниках), благодаря которым открылся ему мир музыки и сочинительства (позже ранний период жизни Н. Д. Набоков подробно опишет в мемуарном романе «Багаж», вышедшем несколько лет назад в издательстве журнала «Звезда»).

Но когда в 90-е годы прошлого столетия я впервые увидел книгу «Старые друзья и новая музыка» в квартире кухни Набокова, профессора истории русской литературы Т. В. Летковской (она называла ее автора «дядя Коля») на окраине Нью-Йорка и пролистал оглавление и указатель, пестревший именами Стравинского, Дягилева, Жана Кокто, Сати, Прокофьева, Жоржа Орика и многих других, у меня возникло желание как можно скорее познакомиться с ней русских читателей и вернуть имя автора на родину.

Так и случилось, и сегодня невозможно представить историю русской музыкальной культуры и русского зарубежья без книги Николая Дмитриевича Набокова. Вот почему мы начали публикацию книги Н. Д. Набокова с глав, посвященных русским и зарубежным композиторам, «старым друзьям» Николая Дмитриевича. Конечно, не менее интересны и познавательны и другие главы, открывающие Н. Д. Набокова как замечательно тонкого и зоркого писателя (например, глава о Берлине 1945 года, заметки об опере и балете).

Выражаю искреннюю благодарность за помощь в подготовке настоящей публикации М. Е. Белодубровской, П. В. Дмитриеву, Н. Д. Лобанову-Ростовскому, М. П. Калинин, Елене Севен, В. И. Шубинскому. Наша особая признательность живущей в Париже вдове композитора госпоже Доминик Набоковой, кухне Н. Д. Набокова — профессору Т. В. Летковской, сыну писателя В. В. Набокова — Д. В. Набокову, а также научным сотрудникам и хранителям музея-квартиры В. В. Набокова на Большой Морской, 47 и коллективу редакции журнала «Нева».

В том, что главы из книги Н. Д. Набокова появились на страницах журнала «Нева», главная заслуга, несомненно, ее переводчика — моего беззвременно ушедшего друга Михаила Александровича Ямщикова, физика-теоретика, поэта и знатока английского языка. Всесторонняя образованность, широкие познания во многих областях позволили ему составить исчерпывающий комментарий к каждой из опубликованных глав.

I. ПИКНИК

«Подожди минутку... не будь нетерпеливым», — говорила мать, садясь за фортепьяно и снимая кольца с пальцев.

Я, полноватый мальчик пяти лет, во французском матросском костюме, стоял рядом, наблюдая, как кольца падают в мои ладони, сложенные в виде чаши.

«Что ты хочешь, чтобы я сыграла?» — спросила она, в то время как я относил кольца на юпитр и осторожно складывал их сверкающей кучкой на верхней полке.

«Не говори мне, что это опять Рахманинов», — сказала она с дразнящей улыбкой.

«О да, пожалуйста, — воскликнул я, — пожалуйста, сыграй *Элегию*, или, может быть, ту, другую вещь... ту, что быстрая в середине и шумная в конце... ты знаешь...»

«Ты имеешь в виду *Прелюдию*, — сказала она, — ну хорошо. Только сиди тихо и не вертись»¹.

Она взяла ноты с верха фортепиано, открыла и начала растирать руки одна о другую, словно только что вернулась с бодрой зимней прогулки. После длительных растираний, подстройки фортепианного стула и нескольких предварительных арпеджированных, то есть слабых, аккордов, что когда-то было в моде у виртуозов девятнадцатого столетия, она наконец начала играть.

Свернувшись около басового (низкочастотного) конца клавиатуры на одном из устройств с двойным покрытием, называвшихся «пуфами», которые заполняли большинство гостиных моего детства и состояли из двух обширных кушеток, покрытых дамасовой тканью и витиевато украшенных кисточками, я слушал внимательно музыку, которая возникала из-под ее пальцев. Постепенно состояние полного восхищения, сочетание изумления и восторга охватило меня, вызывая мурашки вдоль спины и останавливая воздух в легких. К тому времени, когда она перевернула первую страницу, ничего, казалось, не существовало в мире, кроме ее полных рук («Мои руки похожи на руки толстого епископа», — говаривала она) с быстрыми пальцами, бегающими по клавиатуре наподобие тысяч исчезающих вопросительных знаков.

Как легко она могла достичь широких растяжений интервалов и аккордов (включая те опасные черные клавиши, на которых мои собственные подгибающиеся пальцы всегда спотыкались) и как осторожно она ударяла по тем сочным басовым тонам, звук которых был похож на звук бархатисто звучащих колоколов и которые обеспечивали такую теплую, такую цельную основу для мягкого потока мелодии! И превыше всего: как хорошо она умела заставить эту музыку петь, плакать и смеяться, становиться больше, обильнее, богаче, становиться интенсивней и роскошней по мере того, как пьеса продвигалась к своей неизбежной центральной кульминации.

Да, действительно, ее руки были чудом проворства и ловкости, гораздо более ловкими, думал я, чем руки фокусника, который пришел однажды на нашу виллу в Дрездене и вытащил яйцо из моего носа и двух попугайчиков-неразлучников из уха моего брата.

Но наивысший трепет всегда охватывал меня в тот самый момент, когда ее руки проделывали пробег через весь диапазон клавиатуры, предвосхищая кульминацию. Затем левая рука обычно повторно пересекала правую и, при постоянно увеличивающейся скорости, тянулась или, скорее, направлялась на высшую клавишу клавиатуры, которую эта рука достигала и с силой ударяла по ней указательным пальцем, словно убивала комара.

¹ Рахманинов С. В. (1873—1943). *Элегия* — пьеса-фантазия для фортепиано, 1892 г. *Прелюдия* для фортепиано — 1901 или 1903 г. Всего им написано 24 прелюдии, из них большая часть после 1908 года.

Как всегда, я ждал с нетерпением этого прогона, подготовившись получить удовольствие от каждой его частицы. Для этого я подполз на коленях, опираясь обеими руками и подбородком на край фортепиано.

«Сейчас, сейчас настанет этот момент», — думал я возбужденно, помня каждый поворот музыки. Уже левая рука ударила по большой черной клавише прямо под моим носом и застыла на мгновение, ожидая начала своего бега вверх. Ее партнер-соперник, другая рука, была высоко в воздухе, готовая ринуться на клавиатуру и в соответствующий момент поддержать ее опасную музыкальную гонку.

Но внезапно, в то время как мать замахнулась мизинцем на черную клавишу в напрасной попытке извлечь из нее запоздалое тремоло, что-то щелкнуло, рука резко дернулась и затрепетала, словно раненая птица.

«Ай!» — вскрикнула она и прекратила играть. Она отдернула левую руку и схватилась за больной палец.

«Боже, как он болит, — простонала она. — Должно быть, я что-то сломала. — Слезы текли из ее глаз, когда она раскачивалась из стороны в сторону на фортепианном стуле. — Иди скорее, дорогой, — сказала она мне, — и приведи фроляйн Абциер».

Вместо этого я разразился ревом и со слезами, ручьями текущими по воротнику моего матросского костюма, рванулся к моей бедной, дорогой жертве тремоло и уткнулся лицом в ее колени.

ПРОПУСК В ТЕКСТЕ

Так летом 1908 года возникло и оборвалось первое и самое любимое музыкальное воспоминание моего детства. Никогда больше не довелось мне проводить приводящие меня в восторг часы на пуфе. Моя мать достаточно сильно повредила мизинец, ей пришлось держать его в гипсовой повязке (я представлял ее, как маленькую белую шкатулку). Она носила руку на перевязи несколько месяцев, и когда наконец возобновила музыкальную практику, доктор не разрешил ей играть что-либо, что включало физическое напряжение. С того времени ее травма стала в моем сознании неповторимой чертой ее индивидуальности, как большая круглая родинка на ее правой кисти или крохотные морщинки, которые возникали в уголках глаз, когда она улыбалась.

Я всегда предполагал, хотя никто никогда не говорил мне этого, что во время гипнотических занятий у фортепиано моя мать, должно быть, сделала вывод о том, что я прирожденный композитор и поэтому должен немедленно начать брать уроки музыки. Спустя несколько недель после несчастного случая она уговорила нашу австро-американскую гувернантку, фроляйн Абциер, учить меня, несмотря на определенные возражения моего отца и моей степенной тети Каролины, нашей дальней родственницы, которая жила с нами с незапамятных времен и играла роль «заместителя руководителя матриархата» во всех случаях, когда моя мать отсутствовала.

Я хорошо помню первые мучительные, несносные занятия с фроляйн Абциер за нашим мрачным концертным роялем. Добрая фроляйн, бывало, помещалась высоко надо мной, безнадежно пытаясь заставить мои запястья оставаться на одном уровне с моими пальцами. Вскоре я обычно раздражался слезами, в то время как фроляйн Абциер, или мисс Слипковер (английский эквивалент ее имени, которым мы называли ее за глаза), настойчивый и требовательный человек, называла меня *Kleiner Dummkopf* (Маленький олух, бестолочь, нем.) и угрожала лишить десерта, если до конца часа мои руки не будут вести себя как надо.

Я обычно вырывался из комнаты и мчался к понимающей тете Каролине, чтобы выплакать страдание и быть утешенным несколькими мятными мягкими кара-

мельками, которых у нее всегда был обильный запас. Тетя Каролина, в свою очередь, всегда высказывала протесты моей матери, призывая прекратить «мучить бедного ребенка глупыми уроками» и запретить мисс Слипковер, этому «бессердечному зверю-гувернантке», издеваться над «бедным ангелом».

Однако, невзирая на все трудности и страдания во время моего несчастного фортепианного медового месяца с нашим старым Беккером (который, несмотря на немецкое имя, был продуктом санкт-петербургской фортепианной фирмы), я вскоре начал наслаждаться уроками. Пальцы начали терять вобуляцию (отклонение), запястья стали координировать с движениями пальцев, и к середине сентября я был способен извлечь робкие, но вполне правильные звуки из белых зубов сверкающего черного чудовища².

Я даже начал практиковаться в исполнении первого номера шумановского *Детского альбома*, которое, как надеялись мисс Слипковер и я, можно было предложить моей матери вместо более осязаемого рождественского подарка³.

ПРОПУСК В ТЕКСТЕ

Из трех осенних и зимних сезонов моей жизни, которые я провел в русской деревне, этот первый остается самым ясным в моей памяти. Я, может быть, не в состоянии восстановить полностью последовательность событий, но около дюжины образов, четко вырисовывающихся в моих воспоминаниях, их яркое сияние, глубина и сила таковы, что, когда бы они ни были разбужены, мне начинает казаться, что ранняя пора моего русского детства возвращается во всей своей свежести, сверкающей тысячами тайн и неожиданностей.

Перед той первой зимой в России я жил за границей с моей семьей, воспитываемый разнородной группой иностранных нянек и гувернанток. Когда я вернулся в Россию в 1908 году, я едва говорил на родном языке и как средство внутрисемейной коммуникации использовал несовершенную смесь примитивного немецкого и английского или, в более избранных случаях, очень старомодный и безнадежно непритязательный французский.

Наш дом в северо-западном углу Белоруссии — между Минском и Пинском — стоял на обнесенной рвом возвышенности, смотрящей на спокойные воды Немана, который извивался от северного выступа Припятских болот через постоянно враждующие земли Белоруссии, Литвы, Польши и Восточной Пруссии, пока не достигал Балтийского моря у древнего города Мемель⁴.

Я вспоминаю слова моего отчима за несколько дней до Первой мировой войны, когда он смотрел с террасы нашего дома на кружевные сложные узоры Немана: «Эта река — чудо дипломатии. Посмотри, как беззаботно она путешествует по такому большому числу стран без паспорта!».

Неман вытекал примерно в двух милях к северу от нашего дома из темного края леса, который простирался от самого восточного до самого западного горизонта. Река текла к усадьбе моей матери, но прямо перед ней, словно делая реверанс, поворачивала резко на запад в крохотной гавани, где стоял милый старый экскурсионный пароход, который тетя Каролина любила называть «нашей яхтой». Отсюда Неман вычурно петлял через болотистое, ярко-зеленое пастбище, словно искал ощупью солнце в точке его захода.

² Фортепианная фирма, основанная Якобом Беккером (1811—1879) в Санкт-Петербурге в 1841 году.

³ Шуман Роберт (1810—1856) — немецкий композитор, педагог и музыкальный критик. Детский альбом (Альбом для юношества), 43 фортепианные пьесы, 1848 г.

⁴ Литовское название города — Клайпеда, по величине это третий город Литвы.

За садом нашего дома располагались церковь, полицейский участок, почтовое отделение и различные дома, магазины и амбары деревни Любча, которая, следуя течению реки, простиралась более чем на милю на запад, мимо ненадежного наплавленного моста, который связывал два берега и всегда стонал и захлебывался от тяжелых и разнообразных перевозок⁵.

Позади деревни болотистая равнина вскоре сменялась холмистой местностью, в низинах которой были расположены обычные деревни Северной России с бревенчатыми избами; их серая бедность несколько оживлялась издали золотыми луковичками — куполами православной церкви.

Наш дом, или *Замок* (castle), как его называли (он был построен на фундаменте средневекового замка, который сгорел во время наполеоновских войн), занимал северную, береговую сторону прямоугольного холма. Это был построенный без плана двухэтажный большой помещичий особняк с высоким главным зданием и двумя более низкими и узкими восточным и западным крыльями. Подобно многим русским сельским домам, он был облицован желтой штукатуркой и имел восемь мавританских башенок, поднимавшихся с его крыши и поддерживаемых тонкими минаретоподобными шпилями. Две из этих башенок были постоянно заняты гнездами семейств журавлей, чьи бесцеремонные туалетные привычки испортили штукатурку вокруг гнезд и чья шумная трескотня во время спаривания и гнездования часто будила меня на рассвете.

Кроме этих двух викторианских черт — мавританских минаретов и неопрятных журавлей — наш дом был полностью лишен моды. Ему было всего шестьдесят лет, однако одна из двух массивных башен возле дома была возведена в тринадцатом столетии и была старейшим каменным строением нашего края, сооруженным первыми правителями Литвы, Ягеллонами⁶.

Там, как гласит легенда, высоко в древней восьмиугольной башне, в огромной круглой комнате, где через восемь романских смотровых окон вы могли сквозь шестифутовые стены видеть все четыре стороны горизонта, я был рожден ночью 4 апреля 1903 года (согласно несовершенным вычислениям юлианского календаря). Громкое приветствие прозвучало от супружеской пары журавлей, которые до этого свили гнездо вокруг громоотвода прямо в центре башенной крыши⁷.

Жизнь детей в обширном сельском доме моей матери была подобна жизни большинства детей обеспеченных русских семей, чьи дома были наполнены воспитателями, гувернантками и слугами, в чьих конюшнях было изобилие лошадей и экипажей и чьи поместья были способны обеспечить этих детей всеми видами удовольствий и роскоши, и во сне не снившихся большинству русских людей.

Только позже, после начала Первой мировой войны, я начал понимать исключительную несправедливость нашей беззаботной жизни, со всеми ее незаслуженными привилегиями и незаслуженной, размеренной беспечностью.

ПРОПУСК В ТЕКСТЕ

Однако в то время, в годы моего раннего детства, внешний мир казался таким же неосознанным, как миражи в степях южной России, в которых в палящей жаре недолговечные деревни погружались в несуществующие озера. Было много увлека-

⁵ Любча — теперь городской поселок в Новогрудском районе Гродненской области Белоруссии. Упоминается с 1401 года.

⁶ Ягеллоны — королевская династия, правившая в государствах Центральной Европы в XIV—XVI веках.

⁷ Романские окна — окна так называемого «романского стиля», примерно с 1000 года до возникновения готического стиля в XIII веке. В таких окнах оконный проем завершался полуциркулярной аркой.

тельных развлечений и занятий. Летом мы ходили в долгие прогулки по лесу, собирать ягоды или грибы или охотиться на мотыльков и бабочек, которые мой брат и Це-Це начали собирать для коллекции на память. Петр Сигизмундович Цеценьев (для краткости Це-Це) был нашим новым воспитателем, частично польским, частично русским, к которому мы оба испытывали большую симпатию. По праздникам, вроде дней рождения моей матери или отчима, устраивался тщательно подготовленный пикник, после которого вечером следовало так же подготовленное зрелище фейерверка. С террасы нашего дома мы могли видеть, как звездные ракеты взрывались над Неманом с глухим звуком и как за ними следовали голубые бенгальские огни, которые плыли по течению и гасли на блестящей поверхности реки.

Эти пикники тщательно планировались заранее самоназначенной конспиративной комиссией, состоявшей из тети Каролины, горбатой экономки Марии Филипповны, старой поварахи Елизаветы и важного, импозантного дворецкого Никифора, «сердееда» наших деревенских девушек, который своими седеющими усами и разделенной надвое бородой, пахнущей земляникой, щекотал мою шею, когда прислуживал за столом.

Собрания комиссии проходили в строжайшем секрете в комнате тети Каролины. Никому не разрешалось туда входить. Предполагалось, что пикники должны быть полным сюрпризом для каждого члена семьи, за исключением членов комиссии. Но, к счастью, наша подслушивающая служба была способна проникнуть сквозь защитную занавеску тети Каролины и, следовательно, точно узнать, в какой день, в какое время и где должен состояться пикник.

Рано утром в день пикника я выскальзывал из кровати и на цыпочках пробирался через темный коридор вверх по узкой винтовой лестнице в мансарду. Оттуда, через окно «бычий глаз», я наблюдал за слугами, которые грузили в большую телегу стулья, столы, корзины с фарфоровой посудой и едой, большие ящики с различной кухонной утварью и огромный медный самовар. Спустя час я мог видеть, как эту телегу влекла пара лошадей по бездорожью через пастбище, которое отделяло наш дом от «Дубравы», то есть от той части нашего леса, под каждым из древних дубов которого Наполеон, как предполагалось, спал во время русской кампании.

Участники пикника обычно не трогались раньше полудня из-за огромного количества церемоний, которые предшествовали нашему отъезду и которые все имеющие к ним отношение переносили с безропотностью, словно это был незыблемый, священный ритуал. Церемония начиналась в будуаре моей матери с поздравления с днем рождения от детей и преподнесения ими подарков. В то время, когда мы произносили наши заученные поздравления с днем рождения и вручали свои подарки, Клара, горничная моей матери, причесывала ее. Клара служила своего рода греческим хором, комментируя красоту, полезность и качество наших подарков ручной работы. «Ах, мадам, — бывало, восклицала она, глядя на вырезанную раму для картины, представлявшей рисунок цветным карандашом красноголового мухомора. — Посмотрите! Как тонко вырезаны все эти изгибы и повороты на дереве и как похож на живой этот прекрасный гриб!» Или с равным энтузиазмом она, бывало, приветствовала пресс-папье, инкрустированное бабочкой с хвостом ласточки и утяжеленное свинцом. Свинцовые пластинки для таких пресс-папье поставлял нам доктор Зильберштайн, приглашаемый дантист, который приезжал к нам раз в год из Вильны и размещал в течение пяти дней свои ужасные зубные инструменты в кабинете моего отчима. После того как поздравления детей с днем рождения были закончены и волосы были уложены в гладкую прическу, украшенную несколькими гребенками с бриллиантами, моя мать обычно спускалась мимо лосиных и кабаньих голов, чучел гусей

и других охотничьих пустяков, которые украшали лестницу, ведущую в прихожую нашего дома. Там ее поздравляли с днем рождения священник, глава полиции, почтальон, толстый деревенский лошадиный доктор, изнуренный раввин, постоянно плохо выбритый и выглядевший язвенником управляющий домом и другие сельские знатные люди, в дополнение ко многим родственникам и друзьям, которые жили или гостили в нашем доме. После этих поздравительных церемоний по случаю дня рождения, которые продолжались около двух часов, следовало часовое тяжелое испытание *Молебном*⁸.

Молебен обычно проходил в главной гостиной, все присутствующие на нем должны были без конца преклонять колени, креститься и кланяться. Этот *Молебен* был пропет или, скорее, невнятно проговорен козлиным тенором отца Василия, нашего болезненного сельского священника, чей вид никак не соответствовал виду огромного диакона, с его бездонным басом, который, казалось, возникал из пятидесятитонной бочки в Мюнхенском *Браухаусе*⁹.

К концу *Молебна* переходил в процессию, следовавшую через все комнаты нашего дома, с многочисленным кроплением стен и мебели святой водой. После возвращения процессии в гостиную церемония завершалась всеобщим помазанием лбов мирром и раздачей *просфор*¹⁰, нарезанных аккуратными, крохотными кубиками, и передачей серебряной чаши с жертвенным вином и теплой водой, называемой *теплота*. *Просфора* и *теплота*, согласно православной традиции, являются символами Святых даров¹¹.

К тому времени, когда в мою мокрую ладонь была вложена доля *просфоры* и мне дан глоток смеси вина и воды, я был так голоден, так сильно страдал от жажды и был так рад тому, что *Молебен* подошел к концу, что навсегда с тех пор вкус черствого хлеба и разбавленного вина остался самым притягательным.

Расположение сил, вторгшихся в «Дубраву», было следующим.

ПЕРВЫЙ ЭКИПАЖ. В роскошной коляске, обитой темным красным сафьяном, на козлах восседал Антон, главный кучер, в цилиндре, в голубой ливрее и в белых лайковых перчатках, который правил парой перекормленных арабских лошадей чалой масти в ремнях из черной лакированной кожи и серебряной сбруе.

Пассажиры: моя мать и отчим, сидевшие лицом к «мальчикам» (к моему брату и ко мне) и к нашим сачкам, сетям, зеленым металлическим ящикам для насекомых, корзинкам и другому энтомологическому снаряжению¹².

ВТОРОЙ ЭКИПАЖ. Точно такая же коляска, но менее роскошная.

Пассажиры: Тетя Каролина, мисс Слипковер, зажатая на одной четверти заднего сиденья. Напротив них: м-ль Верriere, французская гувернантка и старая подруга семьи, и моя старшая сестра Оня.

ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ЭКИПАЖИ (аккуратный французский кабриолет на высоких резиновых колесах и огромная, скрипучая русская двуколка) вмещали оставшихся постоянных или временных обитателей нашего дома. Среди них приглашенные гости и родственники, дворецкий, Це-Це и обычно одно или два деревенских высокопоставленных лица, включая, конечно, священника и его гигантского коллегу, дьякона.

⁸ Прим. пер.: православный эквивалент Te Deum. Тебя, Боже, хвалим — христианский гимн.

⁹ Ресторан в Мюнхене.

¹⁰ Sacrificial bread — жертвенный хлеб.

¹¹ Eucharist (Святые дары, причастие) представляют дружеский обед или ужин ранних христиан.

¹² Энтомофильные растения — растения, опыляемые насекомыми. Вариант перевода — к другому снаряжению для ловли насекомых, опыляющих растения.

Все четыре экипажа быстро трогались с места и двигались друг за другом, следуя раз и навсегда заведенному порядку. Копыта лошадей громко стучали по мосту, поднимая тучи черных как смоль грачей с кустов сирени и бузины, окружавших западную башню нашего «замка». Мы ехали через сельский двор нашего поместья, мимо кузницы, плотницкой мастерской, сарая, сеновала, конюшни и коровника с его новым драгоценным приобретением — современным высоко-удойным молочным скотом, который моя мать купила вопреки мнению моего отчима и управляющего: они рассматривали ее поступок как сумасбродство, несмотря на выдающиеся гигиенические достоинства новой скотины, которыми моя мать не без основания гордилась.

Гуськом экипажи прибыли в «Дубраву». Мы вышли, нас приветствовали буфетчик и другие слуги, ожидавшие в лесу с раннего утра и уже приготовившие стол длиной в пятьдесят футов под двумя из старейших и высочайших дубов на опушке леса. Стол был покрыт белой скатертью, украшенной гирляндами из папоротника и можжевельника, а между тарелками и столовым серебром стояли пучки ландышей в низких, широкогорлых кувшинах. Тотчас же все принялись за еду. Она была долгой и обильной и ничем не отличалась от обычной праздничной трапезы в нашем доме, за исключением того, что здесь, в лесу, праздничная жареная телятина была приготовлена на шампуре на открытом огне и печеный картофель, или «картошка в мундире», как ее зовут в России, блистала крапинками соли и белой золы оттого, что ее пекли на земле в куче углей. Шампанское было подано к десерту — это была огромная башня цвета слоновой кости из ванильного мороженого с нитью из жженого сахара, падающей вниз с вершины башни, и решетчатой ограды, также из жженого сахара, вокруг нее. С шампанским начались тосты и речи, провозглашенные большинством взрослых мужчин за столом и заканчивавшиеся каждый раз громким троекратным «ура». Наконец, после речи священника, нить которой вилась спиралью вокруг предположительно счастливых супружеств Старого и Нового Завета (Авраам и Сарра, Иаков и Рахиль, Константин и Елена)¹³, тщательно обходя менее счастливые пары (мистер и миссис Лот, Самсон и Далила, Юдифь и Олоферн), дьякон, со дна своих кузнечных мехов, начал произносить нараспев молитву о «Здравии, процветании и долголетию» Их Высочеств Императора и Императрицы, их Императорских Детей и всего Императорского дома, Святого Синода Русской православной церкви, моей матери, ее супруга, ее детей, ее братьев, ее дядюшек и тетюшек, ее племянников и кузенов, друзей и доброжелателей, отсутствующих или присутствующих, за границей или дома, путешествующих или отдыхающих, наших наемных работников, наших слуг и деревенских друзей, и так далее, с постепенным расширением страстного желания Божественного Благословения все увеличивающемуся и всеохватывающему кругу лиц; постепенно он достиг вершины своих возможностей и протрубил последние слова молитвы с таким неистовством и силой, что стаканы на столе начали трястись, а мисс Спилвер заткнула уши от натиска дьяконовской звучной мольбы:

И каждому и всем дай,
О Бо— о— о-же, долгие ле-та, —

взвыл он, сделав максимальное глиссандо в высшую точку своего диапазона. Все мы, стоящие вокруг стола со стаканами шампанского в руках: семья, друзья, родственни-

¹³ Жена Лота, нарушив запрет, оглянулась на Содом и Гоморру и превратилась в соляной столп. Любовь Самсона к Далиле погубила его, по ее приказу ему остригли волосы, лишив его силы. Юдифь, проникнув к ассирийцам, осадившим ее город, и понравившись их вождю Олоферну, отрубила ему голову, тем самым спасла свой город.

ки и слуги — подхватили самую высокую точку дьяконовской последней ноты и громыхнули в ответ ему известную мелодию последней молитвы *Молебна*:

Многия лета —
 Мно-о-о-гия лета —
 Мно-о-о-о-о-о-о-о-гия ле-та...

После всех этих усилий требовался отдых даже для наиболее неугомонных членов компании. Мы рассеялись по лесу, подобно любителям природы из романов восемнадцатого столетия, развалились на мягком, пушистом мху под тенью кустов орешника и погрузились в дремоту под действием шепота дубовых деревьев и тихого щебетания птиц. Мы вдыхали аромат раннего летнего леса, состоящего из запахов папоротников, вереска, ландышей и прошлогодних листьев, в то время как наши желудки старательно усваивали поступление жиров и белков, которые мы получили в таком чрезмерном изобилии.

Способствующий перевариванию отдых был вскоре прерван всеобщим «объявлением мобилизации», то есть призыву к корзинкам, сетям и ящикам для насекомых нашей экспедиции. Сразу же, каждый для себя, мы стали прокладывать путь через подлесок, пытаясь поймать редкий образец бабочки-парусника (махаона) (*Papilio machaon* является редким образцом в северо-западной России) или романтический павлиний глаз, прячущийся под ореховыми листьями, или отыскать место, где растут в изобилии ландыши, или же сорвать пучок редких диких гиацинтов, которые прячутся в болотистой почве леса и из-за своего мягкого запаха называются «ночными фиалками», хотя их крохотные белые цветы, примостившиеся ненадежно на тонком гиацинтоподобном стебле больше напоминают орхидеи. Позже, в сезон, мы, бывало, собирали землянику, а потом чернику, клюкву, шикшу (водянику) и дикую малину (ежевику) и, наконец, чудесный и самый изысканный подарок лета — грибы. Они — тайные члены лесной семьи, ее неброские мастера маскировки, разноцветные образцы сыроежек, чей сезон в нашей части России начинался в июле и длился до первых сентябрьских морозов. Собираание их было нашим любимым занятием. Действительно, сбор грибов всегда был любимой состязательной забавой для всех русских детей и потому прожила дольше, чем затея с колхозами. Перефразируя известную формулу: «Ленины и Сталины уходят, а сбор грибов остается»¹⁴.

Тетя Каролина обычно была неподвижным полюсом и ориентиром для наших поисковых партий. Ее объем и обхват исключали любую форму ползания по мху под ветками ели или колючими ветками можжевельника и шиповника, или прогулки по покрытой мхом поляне, часто скрывавшей опасное болото. Поэтому она обычно выбирала один из пней около открытого места и сидела там с томом баронессы Орци — «Последних приключений Пимпернела-первоцвета», служа ориентиром любому, кто хотел ее окликнуть¹⁵.

Когда солнце склонялось к западу настолько, что наступало время чая, тетя Каролина обычно провозглашала: «Приходите... приходите все... время для чая-я-я». Немедленно, подобно обученным собакам профессора Павлова, мы собирались во-

¹⁴ Видимо, имеются в виду слова И. В. Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а германский народ, а государство германское — остается».

¹⁵ Баронесса Эмма Орци — британская писательница, драматург и художник венгерского происхождения (1865—1947). Речь идет о пьесе и романе, написанных в соавторстве с мужем, — «Scarlet Pimpernel», в котором герой, спасающий других от смертельной опасности, носит это прозвище. В русских переводах — «Алый Первоцвет» и др.

круг нее: каждый был озабочен, чтобы его добыча была по справедливости самой большой, самой лучшей и самой редкой.

В один из таких моментов и произошел случай, который стал знаменитым и вошел в историю нашей семьи. Вернувшись к месту, где в лесу отдыхала тетя Каролина, мы нашли ее, как обычно, восседавшей, как на троне, на одном из пней. Ее огромная белая муслиновая юбка (и многие подразумеваемые нижние юбки) покрывала внушительную часть древнего пня. Когда, после проверки наших корзин, ящиков и пучков (цветов), она наконец поднялась со своего сиденья, мы все вскрикнули. Там, на земле, которая была скрыта ее юбками, лежала мирно свернувшаяся крохотная черная гадюка, которая, вероятно, выползла из старого пня, чтобы немного поспать под теплыми и хорошо защищающими юбками тети Каролины.

Было много возбужденных комментариев и общего ликования по поводу счастливого избавления тети Каролины, и тотчас же было установлено правило, запрещающее любому, особенно детям, садиться на пни деревьев из-за страха перед змеиной угрозой нижним частям тела. Напрасно мой брат и я доказывали, что мы не носим никаких юбок и, следовательно, не можем вызывать таких соблазнов для змей, как тетя Каролина; правила в нашей семье устанавливались женщинами, и никакого различия не было сделано между панталонами и юбками.

Когда мы вернулись к чаю, самовар пыхтел, и стол был заново накрыт. Чай был в чем-то более спокойным и менее формальным делом. «Власти» удалились, отвезенные домой после отдыха, и число гостей сократилось до нормального семейного круга. После чая мы играли в игры или лениво бродили по опушке леса, собирая последние ночные лилии или ландыши, или задерживались за чайным столом, слушая стихотворения и сказки маленького старого крестьянина, бродячего певца и гадалщика по имени Мороз. Никто не знал ни его настоящего имени, ни откуда он пришел, но слава о нем как о местном поэте гремела в нашем районе. Он, бывало, появлялся, словно волшебник из чащи леса как раз для того, чтобы прочитать свои последние стихи и сказки и погадать по ладоням полудюжине членам компании, и уходил прежде, чем кто-либо замечал его уход, так же таинственно, как и появлялся.

Летние вечера были долгими в нашей части страны, а переход от дня к ночи медленным и незаметным. Солнцу требовалось много часов, чтобы решиться исчезнуть за горизонтом, и даже после того, как край горящего диска поглощал Неман, алая, оранжевая и розовая полосы еще нежно медлили в небе и на поверхности реки, словно не хотели забыть нашу тихую землю и покинуть полутень равнины и молчание леса.

Хотя и усталые от событий дня, мы всегда просили разрешения возвращаться домой пешком, а не ехать со взрослыми в экипаже. Мальчишки шли сзади с Оней, м-ль Верьере и Це-Це мимо стогов только что убранного сена, пробуждая по мере движения стаи уток, которые таились в кустах и камышах около низких берегов Немана.

Впереди нас, вдалеке, выделяясь четким силуэтом на фоне неба, светились окна нашего дома. «Выхожу один я на дорогу...» — пели мы хором, нарушая вечернюю тишину, вкладывая все сердце в медлительную, сентиментальную песню:

Выхожу один я на дор-огу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Бо-о-о-гу,
И звезда с звездою говорит.

II. ОТКРЫТОЕ ОКНО

Наша жизнь в Любче была посвящена не только семиразовому питанию и досужему наслаждению природой. Совсем напротив, мы были обеспечены сбалансированным рационом организованного обучения, упражнений и отдыха, постоянно поддерживаемого тетей Каролиной (мягкие упреки и награды мятным леденцом), Це-Це (доброжелательные, но строгие приказы), гувернантками (неизбежные сцены, часто приводящие к повторению заданий по чистописанию, например: *"Ich werde nie wieder Fraulein Abzieher ins Gesicht spucken"* — «Никогда больше я не буду фыркать в лицо мисс Слипковер (Slipcover)») и, в меньшей степени, скромным сельским священником, который приходил раз в неделю и учил нас «Кто есть кто» в православии. На самом деле все старшие в доме принимали участие в наблюдении за нашей дневной активностью, включая горбатую экономку и пахнущего земляникой буфетчика.

Выше всех, в ореоле непогрешимости святого духа, стояли два доброжелательных вершителя наших жизней: решительная, но добрая мать и не менее волевой отчим. Николас фон Паукер, или Коло, как мы его называли, был вторым мужем моей матери, дружески расположенный джентльмен консервативных взглядов и несколько надменного поведения, которое, как нам говорили, он унаследовал как от имперской Византии, так и от балтийских предков. Он заменил отца, когда я был едва двух лет от роду. Портрет маслом во весь рост отсутствующего родителя, чье имя никогда не упоминалось в присутствии матери и воспоминание о ком было всеобщим табу в нашем доме, висел прямо над моей кроватью. Он носил императорскую форму камергера и походил на чучело огромной птицы. Его левая рука исчезала в плече взбитых сливок треуголки, лишенной перьев, а грудь была украшена медалями, фантастическим шитьем и большой сияющей звездой, чьи бриллианты (толстые пятна желтой краски) я тщетно пытался поддеть ногтями. От золотого ошейника птицы поднималось красиво очерченное, но совершенно банальное лицо розового цвета, с бородкой клином и усами, как у принца Альберта. Поглощенный очевидным отсутствием мысли, он взирал рассеянно на противоположную стену нашей спальни.

Из различных мероприятий, включенных в наш рацион, я предпочитал послеобеденное чтение, с бутербродами между послеобеденным отдыхом в середине дня и вечерним чаем. В это время я был полностью предоставлен самому себе, а так как я был запойным читателем с шести лет, меня не надо было уговаривать или присматривать за мной. Из всех моих книг я любил больше всего роман Джiovаньоли о жизни Спартака, который Це-Це впервые прочитал нам вслух на сон грядущий и который я, должно быть, перечитал несколько раз, потому что даже сейчас помню детали жизни Спартака — от побега из гладиаторской тюрьмы до гибели в битве при Петелии. Этот роман навсегда сделал из меня антиитальянца и сторонника гладиаторов, и позже, когда я начал писать музыку, он преследовал меня долгие годы как героическая и революционная оперная тема.

Что я ненавидел больше всего и с ужасом ждал, были уроки фортепиано дважды в неделю и ежедневный час практики. Во время этих часов мисс Слипковер сидела с книгой в углу гостиной, около одного из двух больших окон, которые выходили на Неман. Она прерывала чтение и рывкала на меня: «Не играй так быстро! Почему ты не выдержишь такт? Послушай, твои пальцы похожи на студень!» или, совершенно раздраженно: «Что ты, ради Бога, *делаешь*? Ты не можешь даже ударять по верным клавишам?» Позже, когда я стал старше и погрузился в пыльные дисциплины гармо-

нии и контрапункта, мои страх и ненависть автоматически перешли к этим неизбежным пугалам. Только постепенно я понял, что уроки фортепиано и фортепианная практика, изучение гармонии и контрапункта и, кстати, большинство воспитательных занятий, которые предназначены для того, чтобы научить юных честолюбцев композиции, так ненавистны мне, потому что они не имеют (и, вероятно, никогда не имели) никакого отношения к музыке. Не способные пробудить удовольствие или даже отдаленнейшую форму наслаждения, они по этой причине противоположны природе музыки.

Меня не удивляет, когда после двух лет поверхностного знакомства с бессмысленными фрагментами григорианских мелодий и последующих попыток написать изнеженные мотеты в так называемом палестриновском стиле и анализа и разъединения инвенций и фуг Баха, юный честолюбец обнаруживает безразличие или даже неприязнь к жрецам полифонического мастерства. Живая красота их искусства умирает и оказывается погребенной под грудой мха, благоговейно внушенной «предписаниями», «открытиями», «увеличениями и уменьшениями» и всеми другими хитростями полифонического ремесла.

Подобная же картина с фортепианной практикой: так или иначе, полуосознанно или совсем неосознанно студент доходит до того, что уравнивает прекрасные сонаты Гайдна и Моцарта, величественные фуги Баха и прелюды Шопена (и это лишь немногие из жертв его ежедневной практической рутины) с тем отвратительным рокотом и перебиранием по клавиатуре, которые проходят под именами разных «Gradi ad Parnassum» (сборник «прогрессивных» упражнений для пальцев, подготовленный такими гениями анти-вдохновения, как Анон или Черни)¹⁶.

Все эти музыкальные пьесы так или иначе теряют свое значение при той роли, которую они играют как препятствия в гонке студента за техническим умением. Что касается фуг Баха и месс Палестрины, то «технические» музыкальные пьесы лишают их простодушия и очарования¹⁷.

Студенту понадобится много времени, чтобы восстановить безупречное чувство музыкального восприятия и вновь открыть их красоты и совершенство их мастерства. Нет, музыка находит другие пути, чтобы проникнуть в жизнь композитора и в его кровь. Некоторые из этих путей совершенно непостижимы и необычны. Не в ласковых кабинетах консерваторий, не во время исполнения Баха в протестантских церквях, при которых слушатели коченеют («холодные ноги» рождественских ораторий и *Страстей св. Матфея*, как Бузони, бывало, называл их), даже не во время сольных концертов и концертов дирижерской палочки Паттонов и клавиатуры и смычка Ромммелей¹⁸.

Когда я размышляю об этом сейчас, после многих лет преподавания, как в школах и консерваториях, так и вне их, о вбивании в другие души схем классики, то мне кажется, что музыка пришла в мою жизнь тем же путем, каким она приходила в жизнь большинства композиторов; через тайную связь с той плодородной почвой, с тем огромным подземельем жизни, где музыкальная сущность всех степеней красоты и безобразия живет свободно и в изобилии и постоянно обновляется, перестраивается, изменяется и вливается с новым значением через пространство воспоминаний и представлений.

Прежде всего музыка приходила ко мне через большое, открытое окно моего раннего отрочества, через окно моей спальни на втором этаже нашего дома в Белоруссии.

¹⁶ Gradus ad Parnassum — латинское выражение, переводится как «шаг к Парнасу». Часто используется в названиях руководств, обозначая постепенный прогресс, в частности в музыке. Анон Шарль Луи (1819—1900).

¹⁷ Палестрина Джованни Пьерлуиджи (1525—1594).

¹⁸ Видимо, имеются в виду генералы, прославившиеся во Вторую мировую войну.

Там, на широком подоконнике, я, бывало, сживал во время долгих летних закатов, наблюдая постепенное угасание желтых, красных и пурпурных оттенков на блестящей поверхности Немана, вдыхая мягкий воздух, наполненный ароматом липы и табака и слушая звонкий стук топора, падающего на бревно какого-то далекого сплавного плота и создающего кратковременный аккомпанемент для «перекликающихся песен» лесорубов, тех похожих на плач вечерних бесед людей, которые сплавляли плоты вниз, к границе с Германией.

Этот удивительный диалог или, скорее, антифон (попеременное пение хоров), бывало, наполнял призрачную тишину уединением и скорбью. Он поднимался издалека, с самого края северного горизонта, где темнеющие излучины Немана поглощали лес. Он начинался с вопроса, произносимого нараспев в самом высоком диапазоне человеческого голоса, печально скользя вверх и вниз по узкому интервалу малой терции, а в другой раз оставаясь совсем безрадостным и невыразительным. Затем, в конце вопроса, голос, словно задыхаясь, внезапно замолкал в похолодевшем на рыдание понижении, и тогда снова воцарялось полное молчание вечера, прерываемое только стуком топора. Мгновение — и другой голос, гораздо ближе, совсем вплотную, иногда прямо под моим окном, отвечал, гармонируя с последним звуком печального рыдания. И снизу, в той же грустной манере, но с четко произнесенным каждым словом, приходил ожидаемый ответ.

Мы сплавляем пять пло-о-тов
для купца Корнейчу-у-ука... —

пел силуэт, стоящий на плоту около небольшого костра.

Мы отчалим до рассвета...
А вы, когда вы поплывете?

После мгновенной паузы далекие печальные гласные вновь наполняли воздух, продолжая этот удивительный респонсорий¹⁹.

Или же ранними летними утрами то же самое открытое окно приносило к моей кровати голоса крестьянок, идущих в поля ворошить сено. Я выскальзывал из постели и наблюдал за ними из-за жалюзи. Они шли рядами, быстро и легко, словно танцуя, каждая несла на плече грабли, и когда они шли по наплавному мосту, их голые ноги шлепали по воде. Они пели быстрые веселые песни с короткими повторяющимися предложениями. В конце каждого куплета они делали паузу. Две или три продолжали петь в одиночку и, словно достигнув полностью недостижимого препятствия, их голоса поднимались в пронзительном глиссандо до верхнего уровня своего диапазона и там поддерживались на очень громкой и очень высокой ноте. Но скоро остальной хор снова врывался со следующим куплетом песни и с яростным и лихим натиском опрокидывал высокую ноту солистов. Голоса женщин были грубыми и резкими, и песни, которые они пели, были сильными и яркими, как были ярки платки на их головах, как ярким был летний рассвет, чьи первые острые лучи зажигали туман над равниной.

Вечером те же самые крестьянки возвращались в деревню, но они шли медленно и пели другие песни. Вечерние песни, хотя их пели во многом в той же самой ма-

¹⁹ В католическом богослужении повторяющаяся строфа, которую община поет в ответ на строфу, исполняемую священником, далеко за полночь, до тех пор, пока Венера не удалялась за последние малиновые полосы заката и дворовые собаки не начинали свою ночную перекличку.

нере, что и утренние, отличались по настроению и складу. Они были медленными и ленивыми. Их длинные плавные мелодии тянулись бесконечно на затяжных нотах, и их благозвучия были так ясны и так прозрачны, что рождали впечатление согласия. Казалось, словно эти крестьянки, идущие с трудом домой после дневной работы, подчинялись вечным подражательным законам, подстраивая свои песни к настроению вечера, к его мягкому, угасающему солнечному свету и к его ясной, успокаивающей мягкости.

Музыкальное окно моей спальни не ограничивало свой репертуар исполнением народных песен крестьянками и переключками сплавщиков. Другие звуки, другие частицы музыкального вещества проходили через мое окно, и моя фантазия их жадно поглощала. Я не говорю о переключках и звуках природы, ибо к ним я оставался полностью равнодушным. Я никогда не понимал склонности музыкантов, в частности романтических композиторов, к звукам природы. Для меня щебетанье птиц (включая надоедливого соловья), стрекот сверчков, бульканье ручьев и все такие, по общему мнению, приятные явления были приемлемы только тогда, когда я ничего не делал. Даже во время досуга они расстраивали меня нехваткой какого-то порядка и высотной точности и полным отсутствием симметрии или другого доступного для понимания структурного принципа. Когда я играл или импровизировал на фортепиано или когда размышлял о музыке, то плотно закрывал окна и запрещал кукушечьей фальшивой большой терции или иволговой неправильной малой триаде мешать мне и отвлекать меня.

То, к чему я любил прислушиваться через мое окно, были обрывки музыки, обрывки мелодий пьяных танцев, иггранных на аккордеоне на субботних танцах в деревне, или отрывки сентиментальных пустяков, полных алкогольной неприкаянности, которые горланил какой-нибудь отчаявшийся мужичок на речном берегу, или мягкие, более лирические песни девушек, которые пропалывали огород, скрытый за рвом, окружавшим наш дом.

В летние месяцы еврейские дети из деревни приходили купаться на северный берег Немана, напротив нашего дома. Я сидел на своем подоконнике и наблюдал веселых, голых купальщиков, бегающих по берегу реки и шлепающих по воде. Сквозь смех, крики и громкую тарабарщину их речи я слышал напевы быстрых еврейских песен с их странными восточными модуляциями и легко запоминающимися танцевальными ритмами.

В День искупления грехов все еврейское население деревни шло к реке и стояло, по колено в воде, целый день. В такие ранние сентябрьские дни воздух был спокойным и мягким, и я мог слышать вполне отчетливо низкое печальное бормотание верующих. Они плевали в воду, символически избавляясь от грехов, отдавая их реке, которая несла их вниз, в Германию, и погружала в мутные воды Балтийского моря. Изредка рыдание или вопль, бывало, поднимался над бормотанием молящейся толпы, или беспокойный ребенок начинал плакать на руках матери.

Но окно не было единственным входом, через которое музыкальное вещество входило в пробуждающееся сознание восьмилетнего мальчика, хотя оно было, возможно, самым сокровенным и самым заветным. У меня были и другие, более прямые и более очевидные контакты с музыкой. Во-первых, бесконечные православные службы в деревенской церкви; всенощные по субботам в 5.30 и воскресные обеды с 10.30 до часу дня, на которые мы ездили тремя или четырьмя экипажами и где хорошо спевшийся хор оглашал полностью бездарные создания русских церковных композиторов девятнадцатого столетия, перемежая их фрагментами традиционных или традиционно неправильных песнопений обеды.

О, какую бесконечную скуку вызывали без конца повторяющиеся диалоги между священником и хором, так называемая *Ektyenia*, когда священник умоляет Бога о божественном благословении! Каждое новое требование повторялось хором снова и снова в скучных и полностью банальных созвучиях. Первоначально, в средние века, ответы пелись в унисон и должны были соответствовать безмятежному ходу литургии, но после восемнадцатого века практика согласования простых и непритязательных мелодических линий посредством шаблонных каденций (от доминантсептаккорда, с седьмым в партии сопрано, и обратно к неизбежному тоническому трезвучию) стала и, к сожалению, остается традиционной практикой русской церкви. И какими мастерами провинциального вкуса были все те ничем не прославленные композиторы, которые заполнили славянскую литургию подражаниями худшим особенностям итальянской оперы и рецептами германской консерваторской классной комнаты!

Однако во времена моего детства я не делал различия между тем, какая музыка была подходящей и какая неподходящей для церковного поклонения. Также я не знал о существовании *Знаменного распева*, Невменного Хорала, русской ветви греческой православной церкви, которая замечательно и полностью пренебрегала богатством средневекового религиозного пения, равного по своей красоте и великолепию *cantus planus* («кантус плянус», григорианский напев) римской католической церкви. Совсем напротив, я наслаждался оперными отклонениями нашего церковного хора. Они вносили разнообразие в отчаянно скучную *Ektyenia* с ее чрезмерным вниманием к благословениям и надоедливым повторениям одних и тех же однообразных созвучий.

То, что я любил больше всего, была особенно мягкая музыка на слова *Господи, помилуй*, *Kyrie*, *Eleison* (кирие, елейсон) славянской литургии. В ней соло сопрано как бы каталось весело на роликах вверх и вниз по модуляциям укрепляющих и доминантовых трезвучий, аккомпанементом поющему с закрытым ртом или, скорее, участвующему в пантомиме хору. После ряда рулад и выкрутасов при каждом повторении двух слов священником она наконец воссоединялась с остальным хором и заканчивалась бархатистым пианиссимо, напоминающим последние такты любовной арии из *Джоселина*²⁰.

Более возбуждающий и, конечно, более важный контакт с русской церковной музыкой наступал во время Рождества или, точнее, в канун Рождества. В этот день на всех нас накладывалось строгое воздержание от приема пищи (говенье) до появления первой звезды, так называемой Вифлеемской звезды. Когда темнота окончательно воцарялась на покрытом снегом дворе, мы забирались в сани и ехали в церковь, чтобы принять участие в роскошной, освещенной свечами рождественской всеобщей. Церковь была заполнена до предела, и мы должны были с трудом пробираться через толпу к месту, зарезервированному для нашей семьи слева от алтаря. Эта служба отличалась от обычной субботней всеобщей тем, что содержала несколько традиционных молитв, которые пелись в более чистой, более средневековой манере, но с несколькими отклонениями в тривиальные благозвучия итальянской оперы.

Однако не рождественская всеобщая укрепляла мою прочную любовь к древним русским церковным песнопениям. Это была церемония, следовавшая за службой после нашего возвращения домой из церкви. Распевающие святочные гимны деревенские мальчики и девочки совершали обход соседей и появлялись у нашей парадной двери с рождественскими песнями. Они несли большую, освещенную свечой звезду, которую один из них держал высоко над толпой на покрытой позолотой палке. Двадцать или тридцать из них, бывало, входили в наш передний зал и после

²⁰ Джоселин — опера Бенджамина Годарда, премьера 25 февраля 1888 года, или изысканную смерть павловского Лебеда в пьесе Камиля Сен-Санса.

топанья и стряхиванья снега с валенок усаживались вокруг своей звезды и начинали петь русские хоралы и рождественские песнопения. Они пели их в параллель секстами и терциями с нерегулярным скачком в октаву, подчиняясь самой чистой и самой древней традиции русского церковного пения. Слова этих песнопений были удивительной смесью церковного славянского языка и белорусского диалекта. Подобно большинству хоралов, эти песнопения говорили о рождении ребенка в яслях, о добрых животных, которые сохранили его своим теплым дыханием в «холодную, холодную вифлеемскую ночь», о пастухах, которые слышали голос ангела и видели рождение новой звезды, и о трех королях «со своей звездой, которая двигалась, двигалась, двигалась сквозь дни и сквозь ночи». Мелодии большинства хоралов были простыми и детски непосредственными, но радостными до глубины души.

Еще более значительным, чем рождественские хоралы или песни крестьянок, было влияние, оказанное на мое музыкальное воображение странным маленьким стариком, который в течение летних месяцев работал ночным сторожем в нашем фруктовом саду. У Трофима, или Трошки, как его звали, ибо никто, включая его самого, не помнил его фамилии, был только один глаз. Согласно его собственной истории, он потерял левый глаз в Крымской кампании 1855 года или в Балканской кампании 1878 года. Он не был уверен, в какой из двух, в любом случае, он перескакивал в своем рассказе от Севастополя к Адрианополю и от 1855 к 1878 году с легкостью фокусника, путая даты, места и врагов. Для меня обе версии были достаточно убедительными, но дворовые не верили ни одной из них и говорили, что он был рожден одноглазым и, следовательно, был не кем иным, как старым *одноглазым чертом*, одноглазым дьяволом. (У дьявола в русских народных сказках два рога, два хвоста и один глаз.) Он отрицал это и, как доказательство своего боевого опыта, демонстрировал шрам на спине, который, согласно мнению нашего дворецкого, имел больше сходства с повадками имперской жандармерии, чем с опытом на поле сражения. Его единственный глаз был покрыт катарактой размером с гривенник, что делало его практически слепым. Подобно многим слепым людям, он развил чрезвычайное чувство слуха. Он слышал и знал источник малейшего шума, от самого тихого писка новорожденной ласточки до шелеста сухих листьев, производимым кротом, роющим нору.

Когда я приближался к небольшому соломенному шалашу, который он сооружал каждый год под одним и тем же старым грушевым деревом, он, бывало, приветствовал меня издали, узнавая по звуку шагов. Трошка был *Сказитель* русских народных сказок, то есть одновременно рассказчик и певец. Я провел много послеобеденных часов с ним, сидя на земле перед его шалашом и слушая его козлиную, дрожущую декламацию. Трошка рассказывал свои истории искусно и музыкально. Он произносил слова отчетливо и пел речитативом звуки, которые лежали много выше, чем нормальный уровень его крайне выразительного голоса. Иногда, в точках особого напряжения рассказа или когда слово казалось ему особенно торжественным (подобно многим русским, он любил длинные, многосложные слова с дактилическим окончанием), он считал момент достойным проявления специального внимания. Он наклонял голову и растягивал гласные в мягком вибрато, что заставляло его всклокоченную бороду дрожать, руки трястись, а одинокий глаз слезиться. В конце предложения он, бывало, украшал понижение голоса несколькими декоративными нотами. Однако во всех своих музыкальных повествованиях он никогда не превышал интервальный диапазон кварты.

Трошка был небольшим сморщенным человечком, таким мягким и таким дружелюбным по натуре, что когда я несколькими годами позже прочитал впервые роман Толстого *Война и мир*, мне непреодолимо захотелось сравнить Платона Ка-

ратаева, мягкого крестьянского философа, с его праведным благоговением перед жизнью, с Трошкой. Трошка никогда не рассказывал о подвигах героев и рыцарей русской мифологии или других хорошо известных сказок. Большинство его историй были малопонятными и совершенно неизвестными мне. Я никогда не читал и не слышал их, ни до, ни после. Его истории были все о любовях, о бракосочетаниях, о смертях и о предательствах принцев и принцесс, о великих засухах и смертоносных бедствиях, о голодных волках в лесу, о таинственных, красивых птицах, о коварной лисице, об усердном бобре, о тяжело работающем быке и изнуренной работой лошади. Больше всего он пел об обилии божьих даров для людей и о продолжении человеческого рода. Я забыл большинство его историй, но в тех немногих, которые я еще помню, речь шла об этой библейской теме — о вечном воспроизводстве человека, причем это было рассказано таким затрудненным и таким откровенным языком, что только много лет спустя я понял значение многих слов, которые я заучил, и значение многих образов.

Когда в нашей семье отмечали чьи-нибудь именины или день рожденья, мы обычно нанимали еврейский оркестр из нашей деревни, или из Новогрудка, столицы нашего округа. Оркестр состоял из скрипки, цитры, или гитары, или иногда малой вертикальной арфы, аккордеона и контрабаса. Оркестр играл чрезвычайно разнообразную музыку: попури из известных опер, военные марши, венские вальсы и самые томные цыганские песни и еврейские танцы, наподобие скачущего *Maifess*²¹.

Я особенно любил скрипачей, я наслаждался их небрежным, нервным звучанием, способностью скользить поверх кобылки инструмента и проворным, порывистым способом модулирования двойных остановок. Вспоминаю, как однажды после одного из таких представлений во время вечернего чая я сказал отчиму, как сильно я люблю скрипку и что я предпочел бы практиковать на скрипке, нежели на фортепиано или виолончели, для карьеры в которых меня секретно готовила мать. Отчим, который только что вернулся из Вильнюса, нашего ближайшего крупного города и древней столицы Литвы, ответил, что быть хорошим скрипачом очень трудно, и если игра нехороша, то скрипка становится ужасной неприятностью. «И если ты хочешь услышать хорошую игру, — добавил он, — в следующий раз, когда я поеду в Вильнюс, я возьму тебя с собой и ты услышишь, что я имею в виду под хорошей игрой».

«Следующий раз» наступил в январе или феврале 1910 года, может быть, годом позже. Помню, что это было зимой. Я вспоминаю поездку на санях в течение двух дней с несколькими сменами лошадей, и ночь, проведенную в доме известного польского поэта Мицкевича в Новогрудке, в доме, который мой отчим нанял, чтобы обеспечить членов нашей семьи и гостей ночлегом на пути от железнодорожной станции до нашего поместья. Я вспоминаю, каким ужасно холодным был этот дом и как вечером ярко сияли звезды, когда, лежа на спине в санях, завернутый в тяжелые меха и шарфы, я пытался следить за нашим курсом, направляя свой взор на Полярную звезду и Большую Медведицу. Я также помню, как в тот же вечер одни из наших саней перевернулись и как мы выпрыгнули и пошли, увязая в хрустящем, свежем снегу, чтобы спасти тетю Каролину из десятифутового сугроба.

Но я не помню ничего другого об этом путешествии: ни одного вида Вильнюса, ни отеля, в котором мы останавливались, ни даже комнаты в больнице, где моя мать выздоравливала после операции. Только короткий случай, одна или две несвязанных картины, остались в моей памяти. Но их я вижу ясно, так ясно, как если бы они были запечатлены фотокамерой, а не моей несовершенной памятью.

²¹ Маюфес — еврейский танец с глissандо, тремоло и слезливыми вибрато.

Первый моментальный снимок. Мы входим в маленький магазин во дворе трехэтажного дома. Я с отчимом и сестрой. Это музыкальный магазин, ибо там на стенах висят струнные инструменты, и еврейский джентльмен, который открыл дверь и впустил нас, держит скрипку в руке. Мы идем к прилавку. Джентльмен вынимает разные варианты скрипичных струн из длинного голубого ящика комода, при этом его круглая черная шапочка склоняется над прилавком. Он свертывает их кольцом и упаковывает поодиночке в квадратные черные конверты.

Второй моментальный снимок. Мы находимся в большой, темной гостиной, загроможденной мебелью. Это — гостиная позади музыкального магазина. С нами тот же еврейский джентльмен в черной шапочке. Он и другой человек (его лицо не в фокусе) стоят около моего отчима, который сидит в большом, широком кресле со мной на коленях.

Перед нами, около единственного окна в комнате, стоит мальчик в вельветовом костюме и воротнике как у лорда Фаунтлероя. Он выше меня, но намного более худой и на вид более слабый. На его спокойном лице отражается бледность комнатных детей. У него ярко-голубые глаза и две пряди длинных белокурых волос аккуратно завиваются вокруг виска. Под подбородком он держит скрипку, которая кажется великоватой для него. Он тщательно ее настраивает и, повинувшись сигналу человека в черной шапочке, начинает играть. Я не могу вспомнить, что он играет, но с первыми ударами смычка я чувствую восхищение и потрясение. Громкий, бархатный, мягкий звук наполняет комнату, проникая в самые темные углы душного помещения, заставляя оконные стекла дрожать от мощного напора. Сила, теплота, наполненность жизнью, которые он олицетворяет, таковы, что я чувствую, словно мои уши получили некий чрезвычайный, чудесный подарок. Этот звук заставляет меня трепетать от эмоционального наслаждения и задыхаться от восторга.

Тело мальчика качается взад и вперед в согласии с быстрыми и страстными взмахами смычка. Пальцы левой руки ходят вверх и вниз по грифу с невероятной ловкостью и точностью. В моменты особого внимания гриф скрипки взлетает вверх, в воздух, и мальчик наклоняет голову более резко к плечу и его глаза закрываются. Наконец чудесный звук прекращается. Комната в молчании кажется неприятнее, темнее и более затхлой, и мое тело болезненно ощущает свою нелепую неуклюжесть

Внезапно мужской голос нарушает тишину. Один из двух мужчин, стоящих за креслом, говорит что-то моему отчиму. Я помню только часть предложения: «да, он собирается учиться в Петербургской консерватории»

ПРОПУСК В ТЕКСТЕ

Несколькими годами позже, в 1913 или 1914 году, мой брат и я были взяты на концерт в Санкт-Петербургскую консерваторию. Мы собирались услышать молодое чудо, скрипача, уже названного одним из необыкновенных явлений нашего времени. Скрипичный учитель моей сестры, известный Леопольд Ауэр, из класса которого вышло так много лучших скрипачей нашего времени и чей метод обучения и игры на скрипке был в значительной части ответственен за высокий стандарт современного скрипичного исполнения, сказал моей матери, что он никогда не сталкивался с талантом такой силы и такой безотчетной мощи в сочетании с фанатичной склонностью к инструментальной технике²².

²² Ауэр Леопольд Семенович (1845–1930) — российский скрипач венгерского происхождения, педагог, дирижер и композитор.

Это был первый концерт в моей жизни, и все казалось мне странным, праздничным и красивым. Я помню серебряные трубы органа, которые образовывали фон для большой пустой сцены с фортепиано на ней. Я помню, как Це-Це указал мне на толстого мужчину с тонкими, отвислыми усами, который сидел прямо перед нами во втором ряду и лениво разговаривал с бородатым, пожилым генералом позади него.

«Это Глазунов разговаривает с Кюи», — сказал Це-Це уважительным шепотом. «А там, — он указал на другую пару бород, — тенор Альчевский со своим другом Александром Скрябиным».

Мои глаза бегали вокруг, возбужденные, жадные и восхищенные толпой людей, сверкающим светом, позолоченным украшением зала. Внезапно с левой части сцены появился бледный мальчик в темном бархатном костюме, белом воротнике и коротких, до колен, брюках. Он сошел вниз мимо органных труб, со скрипкой под мышкой, и когда приблизился к фортепиано, аплодисменты, которые начались, как только он появился на сцене, достигли высшей точки. Он поклонился несколько раз и начал настраивать струну А по А на фортепиано. И только тогда я узнал моего юного волшебника из вильнюсского магазина. Я потянул за рукав Це-Це и прошептал в великом волнении: «Я видел его, я видел его раньше, и я слышал, как он играл ...»

Но Це-Це не реагировал на мое возбуждение. «Да, я знаю, как ты слышал его, — он ответил негромко, — но теперь успокойся, сиди тихо и слушай.»

Но я не нуждался в его назидании, ибо спустя мгновение тот же самый сладострастный, энергичный звук заполнил зал консерватории со всей своей мощью и красотой, и опять я сидел, загипнотизированный совершенством чрезвычайного искусства юного мальчика.

Так второй раз в жизни я слышал Яшу Хейфеца, одного из самых совершенных артистов нашего времени (1901–1987).

ПРОПУСК В ТЕКСТЕ

К 1911 году скучные фортепианные уроки принесли плоды: я стал достаточно умелым за фортепиано, чтобы наслаждаться игрой для собственного удовольствия. Когда осенью того же года наша семья переехала в Санкт-Петербург, у меня появилась привычка проводить большую часть свободного времени, импровизируя и играя по нотам с листа за прекрасным новым беккеровским фортепиано, которое моя мать купила, чтобы украсить гостиную нашей квартиры. Вскоре у меня появился заметный репертуар различных типов музыки, в основном произведения, которые я подобрал из музыкальных стеллажей матери, сестры и брата. Я начал составлять свой первый набор критических суждений о музыке, которую я разбирал, и записывать те отрывки собственных импровизаций, которые застревают в памяти и которые я был способен повторить после ночного сна²³.

Моя первая оригинальная композиция, *колыбельная* для фортепиано, с вкраплениями кавказской культуры, была написана ко дню рождения матери в 1911 году. Я вспоминаю долгие часы постоянного вычеркивания, необходимого, чтобы занести небольшое меланхоличное музыкальное произведение на бумагу. Эта соль-минорная работа была написана в своеобразном смещении си-бемоль мажор и соль мажор. Первая половина мелодии содержала два бемоля и один диез, следовательно, казалось весьма естественным оформить их письменно во главе каждой нотной линейки партитуры. Произведение и нотная рукопись были приняты с энтузиазмом,

²³ Беккер, Якоб (1811–1879) — фортепианный мастер, основатель фортепианной мастерской, затем фабрики, в Санкт-Петербурге.

и моей новой преподавательнице по фортепиано, спокойной и застенчивой еврейской леди (так отличавшейся от строгой мисс Слипковер), было поручено преподавать мне начала музыкальной теории и гармонии.

Мой самый ранний музыкальный вкус сформировался вместе с музыкальными вкусами окружения. По сути, он был подобен вкусам большинства русских детей моего времени, в домах которых обучались искусству музыки. Но вскоре у меня появилось сильное увлечение музыкой определенных композиторов, которые внесли значительный вклад в мое избавление от влияния окружающей среды. Эти увлечения напоминали неизбежные детские болезни, такие как корь или скарлатина. Они пришли и покинули меня, оставив жажду новых открытий.

Прежде всего, у меня проявилась нежная привязанность к рокоту Северной весны Эдварда Грига — причиняющий беспокойство азарт музыки, одна из самых безобидных и, насколько я знаю, теперь исчезающих детских «болезней». Я, бывало, тратил часы, проигрывая учтивый любовный танец Анитры²⁴ из *Сюиты Пер Гюнт* и печальную смерть Озе, которую я воображал солидной, полной леди, почти такой же, как тетя Каролина²⁵.

«Сыпь» Грига пришла и ушла удивительно быстро. Следующей пришла «корь» Фредерика Шопена или, скорее, шопеновских прелюдий, нескольких ноктюрнов и одной или двух мазурок. Эта вторая «болезнь» длилась много дольше. В течение нескольких лет гостиная нашей квартиры наполнялась эхом, когда я пробивался через такие любимые произведения, как *Ноктюрн до-диез минор* или *Прелюдия ми-мажор*.

Недавно, в последние пять или шесть лет, «корь» Шопена поразила меня снова. Но на этот раз эта «болезнь» зарождалась очень медленно. Моя новая любовь к музыке Шопена приходила медленно, шаг за шагом. Сначала мне пришлось освободиться от нежелания снова братья за Шопена из-за банальной легенды, которая сформировалась вокруг его искусства. Клише, наподобие таких, как «Шопен, великий страдающий поляк», «Шопен, композитор самой известной фортепианной музыки в мире», «Шопен, жемчужина романтизма», заморозили мою потенциальную симпатию к его музыке.

Затем мне пришлось преодолеть определенные бессодержательные характеристики его музыки, такие как коварная, невротическая сентиментальность, романтическая напыщенность, чрезмерное украшение и много других внешних атрибутов музыкального вкуса его времени. Когда я научился не обращать внимания на эти клише, я открыл в Шопене композитора, сильно отличающегося от того Шопена, которого я знал в детстве и юности. Я знаю его сейчас как точного искусного мастера, изобретателя оригинального и образного стиля, который временами так же ясен и так же совершенен, как стиль Баха и Моцарта. Сегодня я благодарен Шопену за то, что он один из очень немногих композиторов своего времени, которые совершенно не уступили разгулу безудержного романтизма, заполнившего наш концертный репертуар таким количеством мусора и вздора. Он сохранил свое искусство внутри главного потока западной музыкальной традиции и создал шедевры стилистического и формального совершенства.

Следующим после Шопена пришел серьезный и длительный случай «сложной свинки»: музыка Александра Скрябина. Сначала она слегка коснулась меня при открытии шопеновских прелюдий *Опус 8* и первых трех фортепианных сонат. Постепенно она распространилась и стала более сильной, и я начал наслаждаться более «трансцендентными» (абстрактными) сонатами его более позднего периода, вплоть до мое-

²⁴ Одна из частей первой сюиты — «Танец Анитры», Анитра — дочь вождя бедуинов.

²⁵ «Смерть Озе» — одна из частей первой сюиты, Озе — старая мать Пера.

го необузданного (*Flucht in Krankheit*) полета в болезнь: я стал увлекаться эзотерическими вспышками таких произведений, как *Поэма экстаза*, *К пламени* и *Прометей*. Музыка Скрябина держала меня в полном подчинении по крайней мере три года, но затем внезапно покинула. Однажды утром я проснулся с пониманием, что чувственность Скрябина была хороша только для сильно возбужденных подростков, что его вспышки были подделкой и что его музыкальное мастерство было необыкновенно старомодным, неинтересным и формальным.

Удивительно, что в течение всех этих лет я чувствовал безразличие к более старым русским композиторам, таким как Чайковский, или к бородатой обойме русских националистов (Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский), не был я также тронут ни одним из «классиков», то есть Бахом, Моцартом, Гайдном или Бетховеном. Их музыка казалась мне сухой и устарелой, потому что то, что я чувствовал, было печально устаревшим благозвучием и скучными, тривиальными мелодиями. Только после того, как я стал принимать участие в наших неприятельных струнных квартетах, начал я реагировать на некоторые из ранних бетховенских квартетов. Но его симфонии, с которыми мы познакомились с 1911 года (когда стали посещать концерты Императорского симфонического придворного оркестра и концерты Императорского исторического музыкального общества), не только оставляли меня безразличным, но без промедления погружали в сон.

Я предполагаю, что мне должно быть стыдно за такое извилистое развитие музыкального вкуса. Однако я полагаю, что более естественно для детей и подростков предпочитать музыку Грига, Скрябина, Шопена и Вагнера музыке Моцарта и Баха. Ребенку нравятся главным образом внешние образы искусства; он не может постигнуть и полностью не осознает его внутренних качеств. Ему нравится гармонический язык своего времени. Более старая музыка кажется слишком простой и, следовательно, скучной. Вот почему большинство так называемых «детских произведений» не занимает детей. Они слишком просты для них. В действительности, эти произведения обычно представляют собой покрытое сахаром изображение того, на что взрослые хотят, чтобы были похожи дети или, другими словами, мечты взрослых о музыкальном вкусе ребенка. Ребенок редко чувствует глубину и красоту, спрятанные за общепринятым музыкальным языком прошлых столетий. Внешняя простота Моцарта, контрапунктные (полифонические) сложности Баха остаются одинаково недоступными для ребенка. Действительно, музыка Баха, Моцарта, Гайдна, Скарлатти и Бетховена не была предназначена для детей; следовательно, дети имеют право относиться к ней без энтузиазма.

Я всегда отношусь недоверчиво, когда подросток говорит восторженно о Моцарте или Бахе. Я чувствую, что он делает это только потому, что хочет вести себя как взрослые, или просто повторяет, как попугай, то, что слышал, или же это чудак, не по годам развитый ребенок с сомнительными, неестественными вкусами.

Моя последняя музыкальная болезнь, «скарлатина, пурпурная лихорадка» от музыки Рихарда Вагнера, пришла ко мне очень поздно. Она была сильной, поглотила меня целиком, но, к счастью, быстро прошла. Она возникла не в Санкт-Петербурге, а в Германии, когда, в возрасте семнадцати лет, как русский *émigré* (эмигрант), я изучал музыку в консерватории Штутгарта. Может быть, вагнеровская лихорадка не атаковала меня раньше, потому что единственная постановка оперы Вагнера, которую я видел в Санкт-Петербурге, была *Die Walküre* (Валькирия), на которую я был взят однажды в начале 1914 года. Ибо с момента начала войны оперы Вагнера перестали ставить в Императорских театрах России. Я помню только один эпизод из этой обремененной доспехами тевтонской драмы: облако сорок на тридцать фу-

тов, нарисованное на большом листе металла, медленно со скрипом двигалось поперек сцены. Его заслоняли невероятно толстые и невероятно блондинистые женщины в крылатых медных шлемах. Все эти женщины сердито кричали что-то, что, казалось, не имеет смысла ни на одном из четырех языков, которые я знал, но не имеет никакой связи и с тем, что я привык называть музыкой. Их красные, круглые лица и вопли создавали образ такой ярости и возмущения, что я подозревал: кто-то, должно быть, ущипнул их перед разрешением выйти из бронированного облака. Пересекая сцену справа налево, облако исчезло в левой кулисе и мгновение спустя начало скрипеть обратно. Свирепая громадная богиня резко повернулась и (при этом ее грудь указывала на правую кулису театра) протащила облако еще раз через все пространство сцены.

К счастью, *Валькирия* не была первой оперой, которую я видел на сцене Мариинского оперного театра. Мой ранний контакт с оперой был действительно предельно благоприятным для раннего развития глубокой привязанности к величайшей из музыкальных форм.

Перевод с английского и примечания **М. А. ЯМЩИКОВА**

Предисловие и публикация **Е. Б. БЕЛОДУБРОВСКОГО**

Александр БАЛОД

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОТОРОБИНЗОНАДЫ

Популярность Робинзона заставляет нас обратиться к более ранним, но забытым работам, которые считались подражаниями Дефо, в то время как некоторые из них сами стали основой для создания истории Крузо.

*Д. Фосетт. Странные удивительные
источники Робинзона Крузо*

Успех романа Даниэля Дефо «Удивительные приключения Робинзона Крузо», в котором рассказывалось о жизни отшельника на необитаемом острове, привел к рождению нового литературного жанра — так называемых «робинзонад».

Сам термин «робинзонада» был впервые использован немецким писателем Иоганном Шнабелем в 1731 году. Герои робинзонады, в силу обстоятельств вырванные из комфорта цивилизации, должны использовать всю свою изобретательность и силу воли, чтобы выжить в условиях необитаемого острова или дикой земли. Как отмечает Аникст, если традиционный авантюрно-приключенческий роман строится на конфликте между людьми, робинзонада имеет своим сюжетным стержнем борьбу обособленного человека с противостоящей ему природой (оговорим, впрочем, что в книге Дефо герои противостоят не только природные стихии, но и кроважадные туземцы-каннибалы, один из которых — Пятница — становится его слугой и другом)¹.

Сам Дефо никогда не признавался в авторстве «Робинзона Крузо». Не всем известно, что наряду с «Удивительными приключениями» и продолжением романа — «Дальнейшими приключениями» писатель выпустил и третью часть эпопеи — «Серьезные размышления Робинзона Крузо», не переведенную на русский язык. В предисловии к ней содержатся следующие слова: «Я, Робинзон Крузо, будучи в здравом уме и твердой памяти... подтверждаю, что эта история, хотя и аллегорическая, является также исторической и что она является превосходным изображением жизни, полной неслыханных несчастий, по своему разнообразию не имеющих чего-то подобного в мире»².

Александр Балод родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им Н. А. Вознесенского; занимался социологией и экономикой, работал в сфере науки, на фондовой бирже и в промышленности. Автор более трех десятков научных статей и книг социально-экономической тематики. В последние годы занимался историей и литературоведением. Публиковался в журналах «Нева» и «Новый мир», выпустил статьи о творчестве Виктора Пелевина. В 2017 году в издательстве «Вече» вышла его книга «Злоключения знаменитых путешественников. Кто был Робинзон?». Живет в Санкт-Петербурге.

¹ А. Аникст. Робинзонада. — Литературная энциклопедия. Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского, 1929—1939.

² The Serious Reflections During the Life and Surprizing Adventures of Robinson Crusoe. With His Vision of the Angelick World. Written by Himself. W. Taylor, 1720.

Мнимая «достоверность» приключений Крузо объясняется просто: в ту далекую эпоху европейский и, в первую очередь, британский читатель отдавал предпочтение документальным книгам, в которых содержалась «правда жизни», и признание того, что история отшельника была вымыслом, нанесло бы ущерб как репутации самого автора, так и прибылям его издателя. Сам стиль писателя, в котором фантазия была «загримирована под реальность, а невероятное изображено с реалистической достоверностью» и повествование от первого лица способствовали тому, что читатели, во всяком случае наиболее простодушные из них, поверили в правдивость истории, сколь бы невероятной и удивительной она ни выглядела.

«Робинзон Крузо» — произведение разноплановое. Как отмечают исследователи, авантюрное начало сочетается в нем с документальностью (действительной и мнимой), а традиции мемуаристики — со свойствами философской притчи³. Некоторые из этих черт были заимствованы позднейшими робинзонадами, сформировав своего рода канон жанра. Казалось бы, все очевидно: «Робинзон Крузо», роман-бестселлер начала XVIII века, дал импульс рождению нового литературного направления. Но факты — упрямая вещь, и они говорят о том, что робинзоны или, если угодно, «проторобинзоны» начали появляться задолго до выхода в свет «Робинзона Крузо».

Принято считать, что роман Дефо создан на основе морских хроник, таких, как записки знаменитого корсара-ученого Уильяма Дампира, «цейлонского узника» Роберта Нокса и капитана Вудса Роджерса (спасителя шотландского моряка Селькирка, долгое время считавшегося прототипом Крузо). Но так ли это на самом деле? Исследования ученых (не только британских) показывают, что в работе над своим знаменитым романом писатель использовал не только хроники, но и сочинения других литераторов, своих предшественников, — «проторобинзоны», из которых он заимствовал (или мог заимствовать) основные идеи своего романа, его фабулу и образы главных персонажей.

Так кто же были те «атланты», на плечах которых стоял автор Робинзона? Знаменитый Джеймс Джойс считал, что Дефо был первым британским сочинителем, пересказавшим в своем романе эпическую историю Одиссея, царя Итаки, и, наверное, тот факт, что Робинзон Крузо неоднократно упоминается в его «Улиссе», не случаен («Говорят, Робинзон Крузо, был на самом деле», — произносит один из героев романа Джойса). Сходство композиции произведений и в самом деле трудно отрицать; заслуживает внимания то обстоятельство, что «одиссея» героя Гомера, бесконечно странствующего от острова к острову, время от времени оборачивается «робинзонадой», а робинзонада героя Дефо в «Дальнейших приключениях» превращается в одно долгое странствие, своего рода «одиссею».

Героев Гомера и Дефо роднит не только общность судеб, но и мироощущение. Великий Гегель определял гомеровскую эпоху как идеальное и героическое состояние общества, в котором «все то, чем человек пользуется и окружает себя, он ощущает как произведенное им из самого себя и видит в лице этих внешних вещей нечто принадлежащее ему, а не отчужденные предметы» (Одиссей сам смастерил себе брачное ложе, и, таким образом, к нему вполне применимы слова Пушкина о герое, который был вдобавок «мореплаватель и плотник»), мир, где «повсюду проглядывает первая радость от новых открытий, свежесть обладания, завоевание наслаждения, все родственно человеку, во всем он имеет перед собой силу своих мышц, ловкость своих рук, изощренность своего ума или результат своей смелости и храбрости»⁴. Именно в таком мире, когда «все производится и употребляется человеком

³ История зарубежной литературы XVIII века. Под ред. Плавскина З. И. — М., 1991. Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения: Проблемы типологии. — Киев; Одесса, 1983.

⁴ Г.-Ф.-В. Гегель. Лекции по эстетике. Т. I. — СПб.: Наука, 2007. С. 310.

и человек сам приготавливает и наслаждается тем, что ему нужно», пребывал и Робинзон, для которого остров стал своего рода машиной времени, перенесшей его в далекую эпоху, когда каждому приходилось самому строить дом, изготавливать лодку и выращивать урожай.

Кроме гомеровской «Одиссеи», в числе возможных источников романа Дефо часто называют памятники средневековой арабской литературы. Писательница С. Аттат, в частности, высказывает предположение, что существуют два персонажа, которые могли стать прототипами Крузо: Хайя ибн Якзан и герой «Тысячи и одной ночи» Синдбад-мореход⁵.

С ней солидарен британский журналист М. Уэйнрайт. Он пишет: «Существует сказка, как раз для нашего бурного времени, о человеке на необитаемом острове, который держит коз, строит убежище и в конце находит отпечатки на песке. Но она не носит название „Робинзон Крузо“. Она была написана старым мусульманским мудрецом из Андалусии и является третьим наиболее переводимым текстом с арабского, после Корана и Арабских ночей. Она называется „Хайя ибн Якзан“ или „Живой, сын Бодрствующего“, и была сенсацией среди интеллектуалов времен Дефо»⁶. Хайя, главный персонаж книги, в младенческом возрасте волею судеб оказался в одиночестве на необитаемом острове, и его воспитала газель, потерявшая детеныша. Автор подробно рассказывает, как сознание отшельника развивалось от животного до человеческого, а потом и до высшего, божественного уровня⁷. Его герой обрел способность подчинять себе окружающую природу и отвлеченно мыслить, самостоятельно постигнув всю сумму философских знаний человечества и приблизившись к состоянию экстатического единения с божеством. Резонно предположить, что Ибн-Туфейль пытался доказать, что любой представитель «хомо сапиенс», даже человек, выросший вдали от цивилизации, способен, если пожелает этого, опираясь исключительно на внутренние ресурсы, познать сущность вещей и абстрактные первопринципы бытия. Роман, а точнее, философский трактат Ибн-Туфейля был переведен на латынь, а в 1674 году в Лондоне появился его первый английский перевод. Им зачитывались такие выдающиеся умы Европы, как Локк, Спиноза и Лейбниц. Дефо не был ни философом, ни глубоким мыслителем, однако содержащаяся в книге арабского мудреца идея самосовершенствования и поиска человеком собственного пути к пониманию тайн бытия (в сознании людей той эпохи неотделимая от религии), идеальным местом для воплощения которой казался необитаемый остров, не могла не импонировать будущему создателю Робинзона. Дружба Хайи и Абсалья, приехавшего на остров, заставляет вспомнить об отношениях Робинзона и Пятницы, с той разницей, что цивилизованный человек и туземец, учитель и ученик в книге Ибн-Туфейля меняются местами: Хайя, уроженец дикого острова, намного дальше продвинулся в постижении истины, чем прибывший с «большой земли» Абсаль, а в области философии и теологии далеко опередил свое время (эта ситуация обыгрывается в постмодернистских сиквеллах «Робинзон», в частности, романе М. Турнье «Пятница, или тихоокеанский лимб», главным героем которого является не сам Крузо, а его туземный слуга)⁸. Герой Дефо вырос в лоне цивилизации, но, попав на необитаемый остров, должен был идти тем

⁵ Attar, Samar. *Serving God or Mammon? Echoes from Hayy Ibn Yaqzan and Sinbad the Sailor in Robinson Crusoe*. — *Robinson Crusoe: Myths and Metamorphoses*. Eds. Lieve Spaas and Brian Stimpson. London: Macmillan Press, 1996.

⁶ Martin Wainwright. — *The Guardian*, Saturday, 22 March 2003.

⁷ Роман о Хайе, сыне Якзана. — *Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока*. — М.: Изд. Социально-экономической литературы, 1961.

⁸ Мишель Турнье. *Пятница, или тихоокеанский лимб*. — СПб.: Амфора, 2004.

же самым путем, что и Хайя — с той разницей, что ему практически не приходилось изобретать самому. В действиях и образе жизни, который они вели, отразилось глубокое различие между цивилизациями Востока и Запада: Хайя свел материальные потребности к минимуму, отдав все силы духовному развитию и познанию божественных истин, Робинзон же создавал материальный базис, обеспечивавший ему безопасность и комфорт, хотя при этом вел дневник и регулярно молился.

Отдельная тема — извечный конфликт личности и общества. Хайя, выросший в одиночестве, подобно ветхозаветному пророку, оказался чужим в мире людей; проповеди новоявленного гуру были ими отвергнуты, а его интеллектуальное и духовное превосходство вызывало неприятие и ненависть. Поняв это, отшельник был вынужден признать, что «семена идей, опущенные в неразрыхленную почву, могут произрасти плевелами, которые принесут людям больше вреда, чем пользы», и вместе с другом возвратился на остров, где вырос, чтобы провести там остаток дней. Крузо, в отличие от героя Ибн-Туфейля, не был ни мистиком, ни философом, и хотя во второй части книги возвратился на остров в устье реки Ориноко, где провел долгие 28 лет, пробыл он там недолго и снова, подобно Одиссею или Синдбаду-мореходу, отправился в долгий путь — морской, а потом и сухопутный.

В средние века, до наступления эпохи великих географических открытий, самыми искусными моряками в мире считались арабы; истории о путешествиях Синдбада-морехода из знаменитого эпоса «Тысяча и одна ночь» были не чем иным, как литературным отголоском их многочисленных путешествий.

Считать Синдбада прототипом Робинзона, разумеется, наивно, но Самар Аттар права в том, что оба эти персонажа имеют черты сходства, пусть и чисто формальные. И англичанин, и араб были не только мореплавателями, но и купцами и практически все их путешествия задумывались как торговые предприятия. Синдбад семь раз отправлялся в путешествие («Я совершил семь путешествий, и про каждое путешествие есть удивительный рассказ, который приводит в смущение умы»); Робинзон совершает примерно столько же морских поездок и несколько сухопутных. Оба героя посетили далекие страны и таинственные острова, а в конце жизни достигли богатства и благополучия. Для Робинзона самым длинным оказалось его четвертое путешествие, для Синдбада — последнее, седьмое. Сколько же времени оно продлилось? Что самое удивительное, практически столько же, как и пребывание Робинзона на острове (сам герой Дефо утверждал, что пробыл в плену острова 28 лет, но простой арифметический подсчет говорит, что речь идет скорее о 27 годах). «Мои родные высчитали, сколько времени я был в отлучке в седьмое путешествие, и оказалось, что прошло двадцать семь лет, так что они перестали надеяться на мое возвращение», — пишет автор сказки.

В XVII веке истории о морских странствиях, катастрофах на море и отшельничестве на далеких островах получили настолько широкое распространение, что фактически превратились в самостоятельный литературный жанр. В этом была своя закономерность: передовые европейские державы, в первую очередь Британия и Голландия вслед за испанцами и португальцами, встали на путь строительства глобальных колониальных империй, и главным инструментом владычества стал океанский флот. В эпоху паруса кораблекрушения были явлением почти столь же обыденным, как в наше время катастрофы на дорогах, и практически любой путешественник, отправлявшийся в дальнее плавание, подвергался риску очутиться на необитаемом острове и стать жертвой пиратов или кровожадных ликарей.

О трех практически забытых в наше время литературных робинзонадах, истории которых, с той или иной степенью вероятности, мог использовать в своем романе великий Дефо, и рассказывается в настоящей статье.

Герой с тысячью лиц

Итак, остался я один властелином всего острова и стал снова вести отшельническую жизнь, к чему у меня был не только довольный случай, но также твердое намерение и непоколебимая воля.

*Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен.
Симплициссимус*

В качестве одного из источников «Робинзона Крузо» иногда называют «плутовской роман» — литературный жанр, популярный в Европе XVII—XVIII веков, живописующий похождения «пикаро», то есть плута, жулика, авантюриста (в нашем понимании — приключенческий или авантюрный роман). Автором одного из произведений жанра, которое могло оказать влияние на творчество Дефо, был не англичанин, а практически забытый ныне немецкий писатель Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен. Гриммельсгаузен (1622—1676) ребенком был похищен солдатами, а когда вырос, участвовал в Тридцатилетней войне, был денщиком, мушкетером и полковым писарем в протестантских войсках. После подписания Вестфальского мира будущий писатель управлял поместьями, торговал лошадьми и даже открыл трактир. То ли все эти занятия не принесли богатства, то ли ему захотелось перемен, но в 1667 году Гриммельсгаузен становится претором в Ренхене; именно здесь он и написал свои главные произведения.

Книги Гриммельсгаузена, как и прозведения Дефо, выходили под различными псевдонимами, которые обычно являлись анаграммами имени писателя; настоящее имя автора «Симплициссимуса» удалось установить только в XIX веке.

Главный персонаж его самого известного романа — искатель приключений Симплициссимус. Как и положено истинному герою плутовского жанра, он постоянно меняет обличье: «Симплициссимус попеременно: пастух, отшельник, шут, повар, вор, охотник, слуга, гусар, богач, актер, лекарь, мушкетер, разбойник, пилигрим, офицер, нищий, пустынный»⁹. Обычно когда сравнивают «Симплициссимуса» с «Робинзоном», рассматривают одну из последних глав книги, в которой герой волею судеб оказывается на необитаемом острове; на самом же деле параллелей между двумя романами намного больше.

Прежде чем оказаться на острове, Симплициссимус (он же Симплиций), как и полагается доброму христианину, совершает паломничество в Иерусалим. Кораблю, на котором он плыл, удалось разминуться с пиратами, но, что называется, от судьбы не уйдешь, и неподалеку от египетских пирамид его с товарищами взяли в плен разбойники.

Симплицию, как и Робинзону, попавшему в плен к пиратам Сале, повезло: «...четверо самых отчаянных разбойников приметили, что глупые люди дивятся на мою косматую швейцарскую или капуцинскую бороду и длинные волосы... того ради взяли меня как свою долю в добыче». Сдрав с него одежду и опоясав красивым мехом, Симплиция в образе дикого человека водили по городам и весям побережья Красного моря, уверяя зрителей, что нашли его в пустыне¹⁰.

Прожить жизнь в качестве экспоната бродячей кунсткамеры не входило в планы героя, и, заметив в толпе уличных зевак нескольких европейцев, он обратился к ним по-латыни с просьбой помочь вызволить христианина из рук разбойников. Европейцы пожаловались паше, и тот, рассмотрев дело, постановил освободить пленника.

⁹ Литературная энциклопедия. — М., 1929—1939.

¹⁰ Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен. Симплициссимус. СПб., 1995.

Симплиций решил вернуться в Европу на португальском паруснике и вместо паломничества в Иерусалим «посетить святого Якова Компостельского», но судьба снова распорядилась по-своему. Неподалеку от острова Мадагаскар началась сильная буря; волны бросили судно на риф с такой силой, что корпус разломился и в одно мгновение все вокруг было усеяно ящиками и обломками корабля. Спаслись только двое — Симплиций и корабельный плотник, которых на обломках судна вынесло на мель неподалеку от какой-то земли. Они не знали, попали в обитаемую или необитаемую страну, на материк или одинокий остров, но почему-то сразу решили, что земля эта «изобильна и плодоносна». Обследовав при свете дня место, в которое попали, потерпевшие кораблекрушение нигде не заметили ни малейших следов человеческого обитания; вокруг летали диковинные птицы, которые не боялись людей и позволяли трогать себя руками, росли лимоны, померанцы и кокосовые пальмы (описание необитаемого острова, по-видимому, заимствовано автором из «Восточной Индии» братьев де Бри, в которой рассказывалось об острове Св. Маврикия, где текли ручьи с пресной водой и водилось множество птиц, совершенно не боявшихся людей).

Поднявшись на скалистую гору, они обнаружили, что находятся на острове, который можно обойти за полтора часа пути. Оставалось только утешать себя тем, что их вынесло на плодоносную землю, «а не в какое-нибудь иное бесплодное или населенное людоедами место». Придя к выводу, что им придется отныне жить вместе на острове, товарищи поклялись друг другу в нерушимой верности. Спускаясь с горы, на которой было множество птичьих гнезд, они обнаружили, к своей радости, ручей с пресной водой и решили построить рядом с ним жилище.

Итак, Симплиций, подобно Робинзону Крузо, оказался на необитаемом острове, однако не один, а со спутником. Из имущества у них были топор, ложка, три ножа, вилка и ножницы; с помощью пороха удалось разжечь огонь. «И когда были бы у нас только соль, хлеб и посуда, куда мы наливали бы напитки, то мы почли бы себя наисчастливейшими людьми на свете, хотя всего за сутки могли считать себя среди самых несчастных», — пишет Симплиций (сравним с рассуждением Робинзон о том, что «горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется какое-нибудь утешение, которое в балансе зол или благ можно записать в графу прихода»).

Долго скучать в одиночестве друзьям не пришлось, потому что вскоре они увидели в море странный предмет, плывущий прямо к ним, который оказался «полу-мертвой женщиной, лежавшей на ящике, который она обхватила обеими руками». Островитяне стали (не без удовольствия) приводить ее в чувство, и наконец она ожила и заговорила по-португальски. Товарищ Симплиция сразу же признал в ней эфиопку, служанку знатной португальской госпожи, которая плыла вместе с ними на корабле. Эфиопка, узнав старого знакомого, обрадовалась и тут же попросила взять ее в услужение. Пригодилась не только служанка, но и ее ящик; раскрыв его, они «нашли такие вещи, обзавестись коими для нашего домоводства мы по тогдашнему нашему положению не могли и помышлять».

Казалось, жизнь стала налаживаться. Но мнимая эфиопка, оказавшаяся мороком и бесовским наваждением, немедленно начала строить козни. Как пишет Симплиций, «пока я был в отсутствии, мой камрад, коему было около двадцати лет от роду, мне же перевалило за сорок, учинил уговор с нашею стряпухою, который должен был послужить к погибели нас обоих». Стряпуха, используя женские чары, уговорила плотника убить друга, чтобы он не мешал их счастливой жизни вдвоем, и в качестве бонуса показала ему залежи прекрасной глины, из которой она умела изготавливать красивую посуду. Ничего не подозревавший герой присоединился к тра-

пезе, которая могла стать последней в его жизни, но, на свое счастье, произнес застольную молитву и сотворил крестное знамение. Мнимая эфиопка и ящик со всем, что в нем было, тотчас же исчезли, оставив после себя зловоние. Товарищ, что попал во власть колдовских чар тотчас же раскаялся, упал перед Симплицинием на колени и рассказал о своем сговоре с эфиопкою. Симплициний, увидев его искреннее раскаяние, как мог, утешал нестойкого в вере и падкого на соблазны товарища и уверял его в своей дружбе. «С того времени повели мы жизнь более богобоязненную, нежели до того; и дабы мы могли святить и праздновать день субботний, делал я взамен календаря каждый день зарубку на палочке, а по воскресеньям ставил крест, — повествует Симплициний. — Тогда садились мы вместе и беседовали друг с другом о святых и божественных предметах; и я был принужден обходиться таким образом, ибо еще не измыслил, чем мог бы пользоваться вместо бумаги и чернил, чтобы записывать что-либо для памяти». Поняв, что им придется обустроиваться на острове «всерьез и надолго», товарищи приступили к реализации масштабной программы благоустройства острова. Плотник изготовил из твердого черного дерева мотыги и лопаты; они отвели от моря канавы, чтобы выпаривать соль, перегородили ручей запрудой и, как пишет рассказчик, «принялись насаждать приятный вертоград, ибо считали праздность началом нашей гибели». Невдалеке от ручья они нашли хорошую глину и, хотя не имели никаких инструментов, научились готовить из нее разную посуду, горшки и миски; со временем они научились обжигать ее. Хотя у них не было хлеба, они научились выпекать из яиц, сухих рыб и лимонной кожуры «вкусные лепешки на птичьем сале». Плотник, на свою беду, наловчился изготавливать пальмовое вино, которое употреблял практически каждый день, несмотря на увещевания Симплициния.

Возникли проблемы с одеждою, которая поизносилась, а потом и вовсе истлела. Климат острова позволял ходить и вовсе без одежды, нагишом, но отшельники хотя и жили на острове одни, однако «не хотели ходить по нему нагишом, как неразумные твари, а желали одеваться, как подобает честным христианам в Европе». Робинзон также признавал, что в жарком климате его острова не было надобности одеваться, но стыдился ходить нагишом, хотя на необитаемом острове никто не мог его видеть. Крупных зверей на острове не водилось, поэтому друзья начали сдирать кожу с больших птиц, дронтов и пингвинов, чтобы сшить штаны. Эта одежда прослужила недолго, но плотник, бывавший в Индии, знал, как можно изготовить одежду из пальмовых листьев.

Симплициний пишет, что они устроили свои дела так, «что у нас не было больше причины сетовать на какие-либо тяготы, скудость, недостачу или огорчения». Однако его товарищ смотрел на вещи не столь оптимистически и каждый день утолял тоску пальмовым вином, пока не умер. Оставшись единственным «властелином острова», Симплициссимус стал вести умеренную и правильную жизнь отшельника и благодарил Господа за то, «что он предпочел меня тысячам других и отечески привел в сие спокойное и мирное место».

Помня о душе, Симплициний не пренебрегал телесными упражнениями, «ибо человек рожден, чтобы трудиться, как птица, чтобы летать, тогда как праздность повреждает душу и тело тлетворными болезнями». Чтобы не сидеть без дела, он разбил сад, хотя, по его собственному признанию, он был нужен ему меньше, чем телеге пятое колесо, ибо весь остров можно было назвать не иначе как благоухающим садом, и, кроме того, изобрел чернила собственного изготовления (Робинзон, несмотря на всю свою смекалку, так и не додумался до этого), смешав сок бразильского фернамбука с лимоном и с их помощью на больших пальмовых листьях «описал все, что вспало на ум, в сей книге, которую изготовил из сказанных листьев».

В последней части главы рассказчиком становится уже не сам автор, а некий голландский капитан Корнелиссен из Гаарлема, посетивший удивительный остров и рассказавший об увиденных там чудесах своему другу. Больше всего его удивила «книга, кою некий муж, обитающий на одиноком острове посреди моря, написал на верхненемецком языке, по причине недостатка бумаги, на пальмовых листьях и поведал в оной книге всю свою жизнь». Высадившиеся на берег матросы были в восторге от острова, утверждая, что он напоминает скорее «земной рай, нежели неведомое пустынное место», и рассказали, что встретили там некоего немца, отшельника. По их мнению, «малый был не в себе и, верно, уж сущий дурень, ибо не могли добиться от него ни единого толкового слова или ответа».

Капитан, увидев, что деревья на острове покрыты благочестивыми изречениями из Библии, решил отыскать островитянина и поговорить с ним. «Однако нигде не могли его сыскать, кроме глубокой пещеры в каменной расселине, наполненную водою, где, как они предполагали, он укрылся, ибо туда вела узкая тропинка. Проникнуть же туда они не могли по причине стоявшей там воды и непроглядной темени». Казалось, вместе с отшельником начал капризничать весь остров; земля заколебалась, и стало казаться, что весь остров в одно мгновение погибнет от ужасного землетрясения. Тотчас же началась дискуссия в духе небезызвестной статьи «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Часть моряков полагала, что отшельник благочестивый и святой муж, а наказание ниспослано им за то, что они перебили птиц и разорили его обитель, другая же партия была уверена, что он темный волшебник, с помощью чар вызвавший землетрясение, чтобы выпроводить пришельцев с острова или погубить. Была предпринята новая попытка найти его, в результате которой моряки попали в ловушку и не смогли выбраться из чрева пещеры. На их счастье, отшельник все-таки смягчил свой гнев и заговорил. Пастор от имени команды принес извинения хозяину острова и сообщил о готовности взять его с собой на корабль и привезти в Европу. Отшельник ответил, что уже пятнадцать лет живет на острове в совершенном одиночестве, всем доволен и менять свое счастливое и спокойное житие не намерен. Впрочем, он согласился помочь морякам при условии, что они не будут принуждать его плыть с ними и не расскажут никому о том, где расположен остров.

Капитан описал островитянина как рослого, сильного и хорошо сложенного мужа; «волосы его спадали до самых бедер, а борода простиралась ниже пупа». Из одежды на нем был передник из пальмовых листьев и широкая шляпа из папоротника. Почтенный муж рассказал «понаехавшим» морякам, что если внутри пещеры возникает большой шум, то от этого содрогается весь остров и происходит землетрясение; это-то едва не стало причиной катастрофы. Матросы, которые разорили его хижину, казалось, сошли с ума. Один из них, оружейник, ползал на четвереньках, хрюкал, как свинья, и беспрестанно повторял: «Солод! Солод!», считая, что превратился в свинью и его будут откармливать солодом. Безумцев по совету немца накормили зернышками слив, и вскоре все они были «приведены в полный разум» (параллели с «Одиссеей» Гомера, в одной из эпизодов которой волшебница Цирцея превратила спутников царя Итаки в свиней, очевидна).

Отшельнику вернули тридцать дукатов и книгу; деньги он отказался взять, сказав, что будь у него целая бочка монет, он не ведал бы, куда их употребить, книгу же подарил капитану (стоит вспомнить слова Робинзона, нашедшего золото на затонувшем корабле: «Ненужный хлам! — проговорил я. — Зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из ножей»). Капитан приказал доставить с корабля лучшее вино, окорока и другие припасы, чтобы угостить немца, но тот остался равно-

душен к яствам и брал со стола только самые скверные кушанья, хотя и разделял общее веселье.

Когда капитан сказал, что ему бы лучше возвратиться к людям, чтобы не умереть тут в одиночестве, то отшельник произнес целую речь, в которой превозносил свою уединенную жизнь и обличал пороки «большого мира»: «Куда вы влечете меня? Здесь мир — там война; здесь неведомы мне гордыня, скупость, гнев, зависть, ревность, лицемерие, обман, всяческие заботы об одежде и пропитании, ниже о чести и репутации; здесь тихое уединение без досады, ссоры и свары, убежище от тщеславных помыслов, твердыня противу всяких необузданных желаний, защита от многообразных козней мира, нерушимый покой». Он сказал, что пока находился в мире среди людей, у него всегда было больше огорчений и врагов, нежели приятностей и друзей, да и друзья нередко доставляли ему больше неудобства, нежели можно было ожидать от дружбы. Но если тут и нет друзей, которые его любили бы и помогали ему, то нет и врагов, которые его ненавидели бы и вредили. Моряки уплыли, оставив в подарок Симплицинию зажигательное стекло и другую полезную утварь. Благочестивая жизнь на чудесном острове выглядела вполне логичным финалом необыкновенных приключений героя, но автор, как это нередко случается, не устоял перед соблазном продолжить историю, превратившуюся в настоящий приключенческий сериал.

Выпив пальмового вина, Симплициний прилегал отдохнуть в тени деревьев, как вдруг его разбудили «шестеро мужчин прегнусного вида», которых он сначала принял за бесов. После крестного знамения они не только не исчезли, но, напротив, бесцеремонно привязали владыку острова к палке и понесли на берег моря, где стоял странный плот с парусом и рулями спереди и сзади. Там находились еще четверо мужчин, три женщины и двое детей, на которых не было никакой одежды, кроме набедренной повязки. Туда же принесли вещи и снедь, которую взяли в хижине Симплициния. Отшельник решил, что попал к людоедам, в чьих желудках ему предстоит погибнуть, когда кончится пища, и даже огорчился, что они забрали так мало провизии. Когда море успокоилось, дикари пустились в путь. Днем они шли по солнцу, а ночью по звездам, которым, судя по всему, поклонялись, а воду пили прямо из моря.

Почти сразу же за похищением пришло спасение. Появившийся откуда-то португальский корабль дал плоту сигнал спустить парус. Дикари не могли или не захотели его понять, и моряки, выстрелив из пушки, убили нескольких человек и снесли мачту. Языка дикарей никто не понимал, поэтому португальцы сочли их людоедами и обратили в рабство. Симплиция, борода которого достигала колен и волосы свисали до поясницы, освободили от пут, сочтя диковинным монстром; ко всеобщему удивлению, странное существо заговорило по-португальски. Вскоре корабль встал на стоянку на острове Св. Елены (как отметил Симплициний, «остров сей, хотя и почитается благодатным, однако не может сравниться с тем, на коем я до того жил»), а потом взял курс на Лиссабон. Владельцы корабля выдали ему премию, а знатные люди города, узнав про его историю, одарили подарками.

Использовал ли Дефо историю Симплициния? Математик и поэт Абрагам Кестнер, живший в XVIII веке, обратил внимание на то, что еще задолго до Дефо жизнь человека на необитаемом острове описал один немецкий писатель, который, впрочем, приукрасил свой рассказ «диковинными вещами». Мы уже обратили внимание на сходство, пусть и не буквальное, некоторых эпизодов произведений. Робинзон воздвиг столб, на котором делал зарубки, чтобы не потерять счет времени и отличать будни от воскресений; Симплициний, чтобы «праздновать день субботний», делал взамен календаря каждый день зарубки на палочке. Крузо, пока у него не кончились чернила, вел дневник. Герой Гриммельсгаузена в данной ситуации проявил боль-

шую смекалку, изобретая собственные чернила, а вместо бумаги используя листья пальм.

Есть в книге и пещера, в которой отшельник скрывается от незваных гостей (впрочем, это не пещера Робинзона, а скорее сказочная пещера Голума, «вместилище всяческих чудес», с множеством ходов, водоемами и чудесными светляками). В романе Дефо, как мы помним, Робинзон едва не стал жертвой землетрясения, которое обрушило стены его пещеры. В обители Симплиция катастрофа скорее иллюзорная, чем реальная. «Когда внутри пещеры произведи большой грохот, то от этого содрогается весь остров и происходит землетрясение, а те, что находятся на поверхности, думают, будто им суждено погибнуть», — говорит отшельник. Поведение товарища отшельника — плотника, который предал его, но потом раскаялся, напоминает эксцентричные поступки Пятницы, встретившего отца, взятого в плен враждебным племенем: «Охватил он мои ноги, целовал колени и взирал на меня с такой тоскою и волнением, что я оттого сам онемел и никак не мог догадаться или узнать, что же все-таки стряслось с бедным малым».

Симплиций сравнивает свой остров с «благоухающим садом»; похожие выражения использовал и Крузо. Голландский капитан высказал мнение, что это был «наиздоровейший по климату остров, ибо все наши болящие в течение пяти дней снова обрели силы, а немец за все время, что он там пробыл, не ведал никаких болезней». Крузо, как мы помним, за долгие годы жизни на острове серьезно болел всего один раз. Отшельник, как и Робинзон, постоянно находил себе занятия. Он выращивал съедобные растения, охотился, ловил рыбу, научился изготавливать глиняную посуду, заготавливал припасы и обследовал остров, на котором жил. Не забывал он и о религиозных обязанностях и даже покрывал стволы деревьев изречениями из Библии. Стремление Симплиция планировать «на всякий день телесное упражнение, которое он совершал вместе с обычной молитвою», тоже вполне согласуется с жизненной стратегией Робинзона.

Робинзон хотя и был счастлив на острове, но с радостью покинул его, когда представилась такая возможность; в отличие от него Симплиций не хотел оставлять свое маленькое королевство и даже потребовал от гостей, чтобы они сохранили местонахождение острова в тайне. Симплиция похищают дикари, которых он принял за людоедов, скорее всего, потому, что «у страха глаза велики», а спасает его, как и Крузо, португальский корабль.

Во времена Дефо английского перевода романа Гриммельсгаузена не существовало, а голландским писателем как будто не владел (что, впрочем, не исключает того, что он был знаком с книгой). Совпадение отдельных линий и эпизодов повествования, конечно, могло быть и чистой случайностью.

Стоит упомянуть и о тех страницах романа Гриммельсгаузена, в которых рассказывается о приключениях Симплиция в Московии. В Германии шла Тридцатилетняя война; некий шведский полковник, узнав про военные познания Симплиция, предложил ему поступить на службу в его полк, который пока только формируется, «и когда он его получит, в чем он совершенно не сомневается, то тотчас же назначит меня своим подполковником». Подумав, Симплиций решил принять предложение. Полковник оказался шведским клоном барона Мюнхгаузена: «ибо ему не только никто не поручал нанять новый полк, но и сам он оказался пребезным дворянчиком». Бравый вояка ничуть не смутился, когда его разоблачили, и придумал новую приманку — «грамоту, которую он получил из Москвы, в коей, как он уверял, предлагали ему сан большого воеводы». Симплиций, простая душа, в очередной раз попался на удочку и «пустился с ним в путь с веселым упованием на будущее». Два командира без войска бодро отправились туда, где, по их представлению,

ям, находилось войско, испытывающее нужду в умелых военачальниках. Прибыв в «стольный город Москву», полковник занялся делами не столько военными, сколько гражданскими и даже духовными и «каждодневно имел конференции с тамошними магнатами, и притом более с митрополитами, нежели с князьями... Наконец объявил он мне, что война тут ни при чем, а что совесть понуждает его принять греческую веру». Он посоветовал Симплицинию последовать его примеру, и тогда он будет осыпан царскими милостями. Тот ответил, что готов служить его царскому величеству как солдат, но переменить религию не может, чем вызвал неудовольствие полковника, который считал, что человек должен сам ковать свое счастье, — а если не делает этого и при этом «хочет жить, как принц», то это его личные проблемы, в решении которых он не в силах ничем помочь. Ренегат-полковник принял православие и получил в подарок даже не шубу с царского плеча, а целое поместье. Честный Симплициний едва не угодил в Сибирь, но, на его счастье, бояре, очевидно уже знакомые с поговоркой: «Что русскому хорошо, то немцу смерть», сменили гнев на милость и приспособили гостя к делу, каковым явилось изготовление пороха и поиск селитры. Герой успешно справился с задачей, а вскоре ему представился случай показать не только свои познания, но и воинскую доблесть. К Москве приближалось татарское войско, и Симплициния отправили на поле битвы, выдав прекрасного коня и дорогие доспехи. Он проявил себя сущим Роландом и в лихой кавалерийской атаке обратил врагов в бегство. Храбрый командир рассчитывал на богатое вознаграждение, но после боя с него тотчас же сняли доспехи и дорогие одежды, чтобы вернуть их в казну: «А посему узнал я, как у русских обстояло дело со всею пышностью в одеждах...ибо они были заемными товарами, кои, как и все другие вещи во всем русском государстве, принадлежат одному только царю».

Когда он оправился от полученных в сражении ран, «то был отправлен на корабле вниз по Волге в Астрахань, дабы учредить там пороховой завод», и надеялся, что после этого его уж точно вознаградят и отпустят на родину. Но случилось иначе: его в очередной раз взяла в плен шайка кочевников, которые увели его вместе с другими невольниками в глубь страны, а потом обменяла на китайские товары «нючженьским татарам», которые презентовали его как диковинку королю Кореи. Там он обучал короля военной науке, и тот в благодарность даровал ему свободу и через Японию отправил в Макао к португальцам; Симплициний снова был захвачен в плен морскими разбойниками, но после множества приключений все-таки добрался до Европы.

Московитская история Симплиция имеет мало общего с российским путешествием Робинзона, которым завершаются его «Дальнейшие приключения», за исключением разве что повторения ходячих представлений о Московии, бытовавших тогда в Европе.

В числе штампов, использованных Гриммельсгаузенom и нашедших позднее отражение в романе Дефо (вообще-то интересовавшегося Россией и даже написавшего «Историю жизни и деятельности Петра Алексеича, царя Московии», вышедшую в 1723 году в Лондоне), можно назвать безграничную самодержавную власть царя, коварство и интриги двора, «буйство духов» варваров — татар и прочих кочевых орд за пределами крепостей и укрепленных городов Московии (Робинзон несколько раз подвергается нападению кочевников, Симплициний попадает к ним в плен), давление на иностранцев, которых принуждают перейти в греческую веру, и Сибирь, угроза быть сосланным в которую, подобно дамоклову мечу, висит над подданными царя и чужеземцами, оказавшимися волею судеб в Московии (один из иноземцев, побывавших в России уже в XVIII веке, писал, что на русском языке слово «Сибирь» означает «тюрьма»).

Книга Гриммельсгаузена свидетельствует о том, что сюжет об отшельничестве на необитаемом острове, использованный Дефо, был далеко не столь оригинален, как это могло показаться восторженным почитателям творчества писателя. Сам Симплициний имеет некоторые общие черты с Робинзоном, но как персонаж плутовского романа своей многоликостью напоминает скорее Одиссея, хотя и лишен изрядной доли хитрости и цинизма, присущих «исполненному козней» герою Гомера. Справедливости ради следует признать, что робинзонада героя Гриммельсгаузена — лишь один из эпизодов романа, который является, по сути, настоящей энциклопедией «плутовских» сюжетов той далекой эпохи.

Кроме «Симплициссимуса», Гриммельсгаузен написал еще несколько книг, в их числе — «Подробное и удивительное жизнеописание отъявленной обманщицы и бродяги Кураж» (1670). Не удивляйтесь, если это имя покажется вам знакомым: именно этот образ воскресит в своей пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» известный немецкий драматург Бертольд Брехт.

Остров Пайна: воспоминания о будущем

В этой книге так много уровней, что поколения ученых не смогли прийти к выводу о том, чем она является: утопией, мистификацией, описанием полигамии, политическим трактатом, сатирой на реставрацию или всем вместе.

Очарование острова Пайна (1668). —

Gaby Mahlberg. The History Woman's Blog. 2011, ноябрь

Еще одной забытой «робинзонадой» является книга «Остров Пайна» (The Isle Of Pines) Г. Невилла, вышедшая в 1668 году. Генри Невилл (1620—1694) учился в одном из оксфордских колледжей, хотя так и не окончил его; в гражданской войне он не участвовал и путешествовал по Европе, изучая языки и нравы. Вернувшись на родину, он избирался в парламент и занимался политикой, хотя и не слишком успешно, а в период реставрации был арестован по обвинению в заговоре, но вскоре отпущен. Остаток жизни аристократ посвятил литературной и научной деятельности, делая переводы с итальянского и латинского (среди прочего, переводил на английский труды Макиавелли).

«Остров Пайна», как и впоследствии «Робинзон Крузо», был издан под видом отчета о реальном путешествии, и читатели далеко не сразу поняли, что имеют дело с очередной мистификацией.

Из анонса книги, претендовавшей на абсолютную достоверность, читатели могли узнать, что в ней содержится «правдивое повествование» об англичанах, которые во времена королевы Елизаветы совершали путешествие в Ост-Индию, потерпели кораблекрушение и были выброшены на остров неподалеку от побережья Австралии; все, кроме одного мужчины и четырех женщин, одна из которых была негритянкой, утонули. В 1667 году голландский корабль, занесенный сюда штормом, случайно обнаружил их потомков, говорящих на хорошем английском языке, в количестве десяти или двенадцати тысяч человек. Утверждалось, что все повествование написано самим Пайном незадолго до смерти и передано голландским морякам его внуком¹¹.

Голландцы, посетившие остров, обнаружили, что люди, живущие там, ходили практически нагими, при этом говорили по-английски. Больших судов они нико-

¹¹ The Isle of Pines. By Henry Neville. Boston. The Club of Odd Volumes. 1920.

гда не видели и дивились на корабль, как если бы это было величайшее чудо природы. Гостей островитяне встретили приветливо и, накормив их, пригласили во дворец своего правителя. Размером королевская резиденция была с английский деревенский дом и построена очень примитивно, хотя и не без живописности. Правителем острова был некто Уильям Пайн, внук патриарха Джорджа Пайна; его женой была женщина необыкновенной красоты, одетая, как и все островитяне, очень скудно, но с непременным венком из цветов на голове.

Моряки подарили королю несколько ножей и топор; как оказалось, на острове уже был один топор, доставшийся от предков, тупой и ржавый. Правитель показал им рукопись, собственноручно написанную его дедом, которую тот просил показать первым приплывшим на остров чужестранцам. Как оказалось, их предок, Джордж Пайн, был счетоводом и плыл вместе со своим хозяином по торговым делам в Индию. Вместе с ним были дочь 14 лет, две служанки и рабыня-негритянка. Корабль потерпел крушение, спастись удалось только самому Пайну и четырем женщинам. Начало истории напоминает первые дни Крузо на острове. Потерпевшие кораблекрушение оказались в небольшой бухте, в которую впадала речка; Пайн видел многочисленных птиц, но не нашел ни малейших следов человеческого присутствия.

Часть корабельного груза вынесло на берег, однако из пищи, кроме коробки с бисквитами, спасти ничего не удалось. Пайн разжег огонь, и, сотворив молитву, потерпевшие крушение приступили к строительству хижины с помощью топора (ставшего впоследствии исторической реликвией) и других подручных средств. Остров, на который они попали, был весьма обширен, хотя и совершенно необитаем. На нем водилось множество птиц и росли разнообразные фрукты, а климат не оставлял желать лучшего. Были на острове козы, точнее, похожие на них животные, которые не боялись людей. Робинзон подробно рассказывал о птицах, живших на острове; Пайн обнаружил птицу величиной с лебедя, настолько «тяжелую и жирную, что из-за своего веса она не могла летать», мясо которой оказалось очень вкусным, а также редкий вид дикой утки. Петухи и куры, которых везли на корабле, уцелели и, выбравшись на сушу, начали усиленно размножаться. Недостатка в пище и свежей воде не было, и робинзоны проводили жизнь в покое и неге. Цивилизованный мир был где-то очень далеко, и шансы возвращения туда казались ничтожными, что способствовало раскрепощению нравов. Пайнс вступил в связь со служанками, а потом с дочерью хозяина и чернокожей рабыней. Атмосфера тропического острова действовала умиротворяюще, и чувства ревности и соперничества между женщинами не возникало. Через непродолжительное время все они попали в интересное положение и начали рожать детей.

Все были довольны, в особенности Пайн, ставший властелином гарема, а его семейство постоянно увеличивалось. Глава семейства имел 47 детей, взрослые дочери, когда подросли, начали рожать внуков. Чтобы избежать кровосмешения, Пайн следил, чтобы дети каждой из его жен находили себе пару среди отпрысков других женщин. Естественным путем на острове образовалось четыре племени, состоявшие из потомства каждой из жен. Глава семейства не забывал и о духовном воспитании своих чад: учил их английскому языку, и ежемесячно, на общем собрании племени, проводилось чтение отрывков из Священного Писания.

Население росло и постепенно освоило всю территорию благодатного острова. Между тем над его безоблачным небом постепенно начали собираться грозные тучи. Уже в правление старшего сына Пайна стали возникать конфликты, неизбежные в любом, даже самом идиллическом сообществе. Религиозные проповеди отца-основателя были забыты, и сильные стали притеснять слабых. За неимением других занятий, сексуальная распущенность, инцест и прелюбодеяние превратились едва ли не

в правило; девушек, которые противились чужой похоти, подвергали насилию. Правитель, чтобы навести порядок, велел своим приближенным вооружиться сучьями и камнями и отправился в поход. Отступники бежали в глубь острова и скрылись в лесах. Их преследовали; главный распутник Джон Филл, потомок чернокожей рабыни, был схвачен и приговорен к смерти. Его сбросили с высокой скалы в море, остальные же были милостиво прощены и вернулись в лоно общества.

Чтобы избежать конфликтов и сохранить мир, правитель с помощью советников придумал свод законов, за нарушение которых полагалась тяжелая кара. Неуважение к религии наказывалось смертью, мужчины, совершившие прелюбодеяние, подвергались кастрации, женщинам же вырывали правый глаз. Для контроля за соблюдением законов в каждом племени из числа наиболее уважаемых людей выбирался старейшина.

Голландцы дали попробовать правителю (которого они называли «губернатором» — именно так величал Крузо капитан прибывшего на остров британского судна) бренди. Напиток не понравился ему, и он заявил, что предпочитает простую отечественную воду иностранным хмельным напиткам. Выслушав все эти любопытные сведения, ознакомившись с обрядами и обычаями местных жителей и совершив экскурсию в глубь острова, голландцы уже собрались было уезжать, но тут произошел очередной прискорбный инцидент. Генри Филл, правитель племени Филлов, изнасиловал жену одного из вождей другого племени и, понимая, что его ждет суровое наказание, поднял мятеж. Началась смута, которая грозила привести страну в состояние неуправляемого хаоса. Губернатор стал просить помощи у иностранцев, каковая и была, в качестве платы за проявленное гостеприимство, оказана. Мятежники, как и полагалось дикарям, были вооружены палками и камнями, голландцы — огнестрельным оружием. Пушечный залп на фоне девственной природы произвел предсказуемый эффект; мятеж был подавлен, а распутный Генри Филл, подобно своему предку, сброшен со скалы в море под бурные аплодисменты присутствующих.

Стоит отметить, что вымышленная история острова Пайна превосходит реальную историю, случившуюся через сто лет на острове Питкэрн, где нашли убежище британские моряки, поднявшие мятеж на «Баунти». Понять же, в чем ее сходство с повествованием Дефо, намного сложнее.

Тем не менее «Остров Пайна» традиционно считается одним из возможных источников «Робинзона Крузо». «Справедливо говорят, что элементы шедевра существуют задолго до своего воплощения в реальность, что они носятся в воздухе, как бы ожидая подлинного мастера, который сумеет воплотить их в нужную форму, — пишет Уорthingтон Форд. — Жизнь на острове, полностью отделенном от остальной части человечества, является одним из элементов сюжета многих историй, но Невилл, по-видимому, был первым английским автором, кто сделал жизнь на острове основой своей истории»¹². Форд признает, что в первом томе «Робинзона» практически нет женских персонажей, которые играют ключевую роль в истории острова Пайна, но обращает внимание на то, что в «Дальнейших приключениях» они появляются и в жизни самого Крузо, и на его острове (впрочем, конфликта из-за женщин, несмотря на их дефицит, между поселенцами на острове Крузо не происходит).

Некоторое сходство с повествованием Дефо можно найти в описании самого острова и в рассказе о первых днях жизни на нем потерпевших крушение людей. Невилл использует фразу «Необходимость — лучший учитель», когда рассказывает о строительстве отшельниками хижины, Дефо в своем романе утверждает, что «ну-

¹² An Essay in Bibliography by Worthington Chauncey Ford. — The Isle of Pines By Henry Neville. Boston. The Club of Odd Volumes. 1920. Copyright, 1920, By the Club of Odd Volumes.

жда всему научит»; несмотря на смысловую близость фраз, в английском оригинале они звучат по-разному, и совпадение, скорее всего, является простой случайностью.

Главное различие в сюжетах заключается даже не в том, что Робинзон оказался на благодатном острове один, а Пайн — с четырьмя Пятницами женского пола. Невилла в первую очередь интересовало, что происходит с цивилизованными людьми, которые по воле судьбы снова возвращаются в естественное состояние, при этом условия жизни достаточно благоприятны и не требуют каждодневной борьбы за выживание. Жизнь Джорджа Пайна на острове поначалу выглядит идиллией, своего рода возвращением в утерянный Эдем, где спутницами Адама становятся четыре Евы. Автор сознательно идеализирует жизнь островитян: природа здесь щедра и благодатна, никто не болеет и не устраивает семейных сцен, враждебные племена обходят остров стороной, а штормы бушуют где-то в отдалении. Но дальнейший ход событий показывает более мрачную картину. Из-за высокой рождаемости население острова постоянно увеличивается, а его обитатели делятся на племена, между которыми вспыхивают частые конфликты. В райских условиях тропиков все довольствуются удовлетворением основных инстинктов, и никто не хочет трудиться или развивать навыки в каком-либо ремесле. Достижения цивилизации утрачены, и едва ли не единственным ее материальным свидетельством является тупой и заржавленный топор. Целостность общества поддерживается только авторитетом правителя и эпизодическим чтением религиозных проповедей, призванных оградить жителей счастливого отстоя от крайностей сексуальных излишеств, которым они, за неимением других занятий, с энтузиазмом предаются. Вывод Невилла очевиден: цивилизованные люди, попав в условия дикости, сами становятся дикарями, неотличимыми от тех детей природы, которых видели на островах южных морей европейские мореплаватели, хотя и сохраняют в памяти воспоминания о своем прошлом. Произшедшая более сотни лет спустя история, начавшаяся с мятежа на британском военном судне «Баунти», казалось бы, подтвердила правоту автора «Острова Пайна». Впрочем, события в ней развивались по иному сценарию, начавшись с мятежа и взаимного истребления друг друга моряками, нашедшими, вместе со своими туземными подругами убежище на удаленном острове Питкэрн, и закончившись своего рода идиллией: почтенный патриарх Адамс, глава клана, в окружении любящего семейства (сюжет, который произвел неизгладимое впечатление на актера Марлона Брандо, исполнителя роли вожака мятежников лейтенанта Кристиана Флетчера в голливудском фильме «Мятеж на Баунти»).

Основная идея «Робинзона» заключалась в том, чтобы доказать прямо противоположное: представитель европейской культуры, если он обладает силой воли и тем, что в наше время принято называть «позитивным мышлением», и в условиях необитаемого острова может избежать погружения в первобытное состояние и дикость, в какой бы форме она ни проявлялась, и способен построить цивилизацию, что называется, «с чистого листа» — в том случае, если несет ее в себе. Может быть, «Робинзон» был своего рода ответом на утопию (или, скорее, антиутопию) Невилла?

«Остров Пайна», как справедливо замечает один из комментаторов, — произведение очень непростое. До сих пор популярна версия о том, что он был антимоноархическим памфлетом, направленным против снова воцарившейся после реставрации на английском престоле династии Стюартов, а прообразом любвеобильного Джорджа Пайна был сам «веселый король» Карл II, распутник, имевший множество любовниц и внебрачных детей¹³. Заметим, что и роман Дефо многие тоже считали своего рода политической аллегорией, обращая внимание на то, что срок жизни

¹³ The Naughty Pines: Henry Neville's The Isle of Pines as Literary Hoax. Nat W. Hardy, McMaster University. 1993.

Крузо на острове (около 28 лет) прямо коррелирует с периодом реставрации монархии Стюартов в Англии, а страдания Крузо на «острове отчаяния» (как он иногда называл свой приют) были не чем иным, как иносказательным отображением репрессий, которым подвергались в ту эпоху противники монархии, в первую очередь религиозные диссиденты¹⁴.

Эль-Хо, голландский прото-Робинзон

Я охал и вздыхал, говоря: «Увы! Бедный я парень!
О! Что мне делать? Куда мне идти? О, Боже! Помоги мне!»

*Хендрик Смикс. Могущественное
королевство Кринке Кесмес*

Я был разбужен чьим-то голосом, звавшим меня по имени несколько раз: «Робин, Робин, Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Где ты был?»

*Даниэль Дефо. Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка*

Один из возможных источников «Робинзона» — рассказ о приключениях голландского юнги Эль-Хо из книги «Могущественное королевство Кринке Кесмес» голландца Хендрика Смикса, изданной в 1708 году, более чем за десять лет до выхода «Робинзона»¹⁵. Об авторе известно, что он был хирургом, жил в голландском городе Зволле и умер в 1721 году. В молодости он, судя по всему, плавал в качестве врача на судах дальнего плавания. Имя фантастического королевства (Kesmés) появилось не случайно: считается, что оно является анаграммой имени Смикса. Существует гипотеза о том, что Смикс написал еще одну книгу — знаменитых «Пиратов Америки», авторство которой обычно приписывается некоему А.-О. Эксквемелину. Александр Оливье Эксквемелин, корабельный хирург и участник буканьерских походов, был личностью загадочной, и ученые до сих пор спорят о том, использовал ли автор псевдоним, чтобы скрыть участие в пиратских рейдах Моргана, или все-таки подписался настоящим именем. Голландский исследователь Хоогеверф предположил, что разгадка кроется в анаграмме: при перестановке слогов и замене двух букв имя Энрике Смикс (Enrique Smeeks) без особых усилий превращается в Эксквемелин (Eksquemelin), и, стало быть, настоящий Эксквемелин — это не кто иной, как Смикс¹⁶. Использование техники анаграммы было модно в ту эпоху, однако дотошные историки не поленились изучить архивы и выяснили-таки, что имя «Эксквемелин» (равно как и Смикс) числится в книгах голландской гильдии хирургов, а стало быть, такой человек действительно существовал.

Еще подростком, в возрасте 12 лет, будущий гражданин могущественного государства Кринке Кесмес записался в качестве юнги на один из кораблей Голландской ост-индской компании, который отплывал в южную землю для спасения пропавшего судна «Goude Drauk». Прибыв в указанный район, моряки нашли пла-

¹⁴ Robinson Crusoe. Edited with an Introduction by Thomas Keymer. Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York. Introduction. Thomas Keymer 2007. P. XXXI.

¹⁵ The Mighty Kingdom of Krinke Kesmes (1708).

¹⁶ Hoogewerff G. J. Hendrik Smeeks, geschiedschrijver der boekaniers. — Tijdschrift voor Geschiedenis. 1930, N 45, S. 225–236.

вавшие в море обломки и начали стрелять из пушек, однако на сигнал так никто и не откликнулся. Поисковая команда обнаружила, что берег, на выжженной земле которого рос колючий кустарник, был пуст. На следующий день поиски возобновились, но не было найдено ничего, кроме следов голых ног на песке. Моряки не теряли надежды, и на сушу снова был послан шлюп с командой из 12 человек, в числе которых оказался и юнга. Как пишет Эль-Хо, он сошел на берег, чтобы отдохнуть, и не особо усердствовал в поисках пропавших моряков.

Через три часа ходьбы отряд достиг окраины леса. Юнга, в поисках воды и фруктов, незаметно отстал от товарищей, а когда решил вернуться, обнаружил, что заблудился. Наступил вечер, и Эль-Хо заснул, а когда проснулся, то темнота, шум деревьев и завывание ветра привели его в ужас. Утро принесло некоторое облегчение, но что делать и куда идти, он не знал. Возвышенности, с которой можно было увидеть окрестности, поблизости не было, и юнга просто пошел вперед, пока не наткнулся на болотистый пруд. Выпив воды, он начал вздыхать и плакать, повторяя: «Увы! Бедный я парень! Что мне делать? Куда мне идти?»

Упав на колени, он прочел вечернюю молитву, после чего сразу же заснул. Утром он изучил место, в которое попал, и обнаружил, что там растут дикие яблони. С помощью ножа юноша изготовил деревянный топорик и лопату, а из ветки дерева соорудил некое подобие копья, после чего приступил к строительству хижины из сучьев. Закончив работу, юнга предался размышлениям, имеющим вполне «робинзоновский» характер: «Что есть наша жизнь! Люди странствуют от страны к стране в поисках товаров и денег! У меня нет сейчас ничего, кроме воды и яблок, однако я вполне доволен, если я смогу иметь их и дальше. Даже если бы я мог обменять их на золото, я бы не стал делать этого». Утром он снова занялся изучением местности и вскоре обнаружил небольшую речушку, вокруг которой произрастала фруктовая роща. Двигаясь вдоль нее, юноша вышел из леса к горе, у подножия которой находился большой водоем с солоноватой водой.

Поднявшись на гору, он наконец увидел море и тотчас же направился туда в надежде найти корабль. На прибрежных дюнах он увидел вертикально торчащий столбик, к которому была прибитая жестяная табличка и написаны слова: «Юнга, копай за столбом». Эль-Хо так и поступил и вскоре обнаружил свой корабельный сундук. Там же лежало письмо от товарищей, в котором говорилось, что морякам не удалось обнаружить ни экипаж «Гауде Драак», ни его самого, поэтому было решено готовиться к отплытию. На случай, если юнге удастся вернуться и найти это место, они закопали сундук и вещи, которые могли ему пригодиться. В сундуке оказалась масса полезных предметов: белье, обувь, бриджи, табак и трубка, посуда, нитки с иглой, бумага, перо и чернила, а также книга псалмов. Рядом был установлен еще один столбик, под которым он нашел лопату, гамак, кусок брезента, зажигательное стекло, топор, оружие, рыболовные принадлежности, вино и сухари.

Часть вещей юнга взял с собой, большую же часть оставил в тайнике, который устроил неподалеку. Он чувствовал себя богатым человеком и на радостях записал на бумаге все, что с ним произошло, прочел молитву и спел псалмы. У подножия высокого холма неподалеку от реки Эль-Хо решил построить новую хижину, в которую перенес часть вещей и повесил гамак. Обследуя берега водоема, он нашел залежи красной глины. Вспомнив, как делал в детстве птички клетки из ивы, он решил сплести из веток корзины, а потом облицевать их глиной, превратив в подобие контейнеров; для переноски корзин он смастерил некое подобие коромысла («В детстве я очень любил ходить к одному корзинщику, жившему по соседству от нас, и смотреть, как он работает. Теперь это очень мне пригодилось», — пишет Робинзон).

Изготовив корзины, он принялся за стенки хижины и вскоре, укрепив глиной стены, превратил ее в настоящий замок; в стенах он проделал специальные смотровые отверстия. Чтобы поднять стены замка выше, он соорудил лестницу (Крузо тоже попадал в свой «замок» с помощью лестницы). Рядом с первой, круглой хижинной он построил еще одну, квадратную, с отверстием сверху и смотровыми щелями-бойницами снизу и таким образом «стал господином двух замков». В свободное время отшельник вел дневник, записывая туда все, что делал, и, часто перечитывая его, запомнил практически наизусть.

Неподалеку находился красивый холм, окруженный деревьями, который выглядел так, как будто был сделан человеческими руками. Юнга построил там еще одну крепость, которую превратил в свою главную резиденцию. «Мое существование было теперь вполне безопасным. Я не считал дней, недель, месяцев и даже лет и я не знаю, как долго я пробыл там», — пишет Эль-Хо. Отшельник был постоянно занят: он добывал соль в специальных ямах возле пруда, делал запасы сушеной рыбы, изготавливал сундуки, корзины и плетеную мебель, рубил древесину, запас которой всегда имел в хижине; из остатков тряпья он сшил себе новую одежду («Я жил счастливо и спокойно в моем одиночестве»). Питался Эль-Хо рыбой из пруда и мясом диких быков, водившихся в округе. Строительство, похоже, превратилось в своеобразное хобби героя. Он построил хижину, своего рода «домик рыбака», на берегу пруда, хижину на холме и не мог остановиться, пока не соорудил целый комплекс из тринадцати хижин.

Шли месяцы и годы. На море разразился суровый шторм, который продолжался два дня и две ночи. Когда буря стала стихать, Эль-Хо вышел на берег и обнаружил, что ветер вынес на берег множество предметов, бывших, по-видимому, грузом с потерпевшего крушение судна. Открыв несколько сундуков, юноша обнаружил, что их содержимое практически не вымокло. Вскоре из воды появился и корпус судна, который приливом вынесло к самому берегу (корабль Робинзона, затонувший в прибрежных водах, тоже через какое-то время вынесло на сушу). Надеясь, что кто-то из моряков выжил, он начал бегать вокруг и кричать, но, забравшись на судно, он нашел там никого, кроме большого английского дога, который, увидев человека, радостно замахал хвостом и залаял. На корабле осталось много груза, и практичный Эль-Хо решил использовать для перевозок собаку, которую в ознаменование знакомства накормил сытным обедом. Пес, получивший имя Драагер, был большой и сильной собакой, и юноша сначала изготовил для него упряжь, на которую крепилась корзина для груза, а потом и целую тележку. На корабле хранился большой запас спиртного, и отшельник мог позволить себе покапризничать, отбирая сорта горячительных напитков, как заправский сомелье.

Робинзон, как известно, устроил себе огромный склад из имущества, которое вынес с разбившегося корабля («Но мне все было мало», — записал он в своем дневнике). Эль-Хо поступал схожим образом, вынося все, что могло пригодиться (а пригодиться в условиях необитаемой земли могло практически все), отметив, что «не собирался останавливаться на достигнутом». Он, как и Робинзон, в своих записках буквально смакует перечень вещей (оружие, порох и пули, ящики с бутылками, запасы хлеба, сыры, горшки с маслом, бочонки с бренди, белье, посуда), которые находил в чреве корабля и переправлял к себе жилище. Продуктов было столько, что юнга выделил отдельные хижины под склады: «винную», «хлебную», «сырную» и хижину для хранения масла. Кроме того, он завел пороховую, соляную и дровяную хижины и даже хижину для хранения сухих камышей. «Теперь я жил как король в компании моей собаки», — добавляет Эль-Хо.

Шлюпку, найденную на берегу, он привел в пруд и плавал на ней, занимаясь ловлей рыбы; один раз на крючок попался настолько жуткий монстр, помесь ската и барракуды, что напуганный юноша тотчас же отпустил его. Еще одной уникальной добычей отшельника стали черные лебеди (птица, которая в естественных условиях водится только в Австралии и Тасмании). Гринписа пока не существовало даже в проекте, и, ничтоже сумняшеся, герой настрелял редких птиц ради жира и перьев, которыми набил постель.

Все шло прекрасно, но в один прекрасный день мир героя был нарушен. Осматривая окрестности в подзорную трубу, он внезапно увидел каких-то людей. Отшельник не знал, кто они такие и чего от них можно ждать; на всякий случай он зарядил ружья и закрыл окна крепости. Несомненно, это были туземцы: мужчины, женщины и дети, численностью около сотни. Увидев хижины, они начали делать непонятные жесты и кричать, а потом, взяв дрова из дровяного склада и запасы рыбы, зажгли огонь и расселись возле него несколькими группами. Обнаружив вражескую крепость, аборигены с громкими криками двинулись по направлению к ней. Юноша решил действовать, используя одновременно силу и дипломатию: выстрелив в воздух, он затем вышел из крепости с кортиком и заряженным ружьем наперевес.

Напуганные туземцы лежали на земле; он знаками показал им, что они могут подняться и встать, и раздал бисквиты, которые принес в корзине. Туземцы почувствовали себя непринужденнее и начали исполнять какой-то странный танец. Они были совершенно нагие, в чем мать родила; у одной части волосы были черные как смоль, у других рыжие; женщины имели толстые животы и длинные свисающие груди. Исполнив обряд, туземцы исчезли в лесу, и Эль-Хо мог вздохнуть с облегчением. Пищи и оружия у хозяина замка было столько, что он мог защищаться в одиночку против целой армии. Для усиления обороны юноша соорудил изгородь и теперь, прежде чем выходить на прогулку, осматривал окрестности с помощью подзорной трубы. Робинзон после того, как обнаружил на берегу следы ног, оставленные дикарями, тоже укрепил свой «замок» и соорудил там бойницы для стрельбы из мушкетов («Вид у меня был теперь самый устрашающий; ружье, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен», — пишет Крузо).

Опасения оказались не напрасными, и как-то ночью юноша услышал страшный шум. Утром возле реки появился большой отряд аборигенов численностью до тысячи человек, с копьями и дубинками; некоторые из них выкрасили краской все лицо, другие нанесли на него круги и полосы. Они разломали в щепки и сожгли все его хижины, и стало понятно, что начинается война. Несмотря на неравенство сил, отшельник не потерял хладнокровие и, зарядив аркебузы и ружья, приготовился к схватке.

Отряд туземцев, бросившись к укреплению, начал крушить его копьями и дубинками. Предупредительный выстрел в воздух не возымел эффекта, и тогда Эль-Хо произвел несколько прицельных выстрелов в толпу. Раздался страшный крик, и туземцы бежали, унося с собой мертвых и раненых. Вскоре они вернулись с шестью и дубинками и, взломав ворота изгороди, очутились у самой двери. Выскочив из крепости, юноша начал стрелять из аркебузы, а когда нападавшие снова разбежались, кортиком добил тех, кто был ранен и лежал на земле. Чтобы напугать туземцев, которые снова готовились к атаке, он отрезал голову одному из убитых и бросил ее в сторону врагов. Это не возымело действия, и Эль-Хо, немного поколебавшись, бросил следом несколько ручных гранат.

Всю ночь туземцы жгли костры и кричали, совершая странные ритуалы. Днем к хозяину замка явилась делегация в составе двенадцати воинов в боевой раскраске и с копьями в руке. При виде отшельника они пали ниц; один из них схватил кусок дерна, положил его на голову и склонился перед Эль-Хо (нечто подобное, как

мы помним, проделал и Пятница после того, как Робинзон спас его). Юноша принес сухари и вино и жестами показал туземцу, что он может прийти и забрать трупы. Ночью туземцы опять повторили прежний ритуал: жгли костры и протяжно кричали.

Праздновать победу было еще рано. Весь день Эль-Хо бодрствовал, ночью же вахту принимал пес. Он-то и поднял тревогу. Выглянув из окна, юноша увидел горящий остов корабля на берегу; когда огонь достиг порохового погреба, раздался страшный взрыв. Туземцы, толпившиеся вокруг, отпраздновали это событие единственным доступным им способом — криками и пляской.

Устроив фейерверк, туземцы в очередной раз исчезли, и Эль-Хо вместе с Драагером отправился осматривать место катастрофы; вернувшись, он обнаружил, что в его отсутствие противник овладел замком. Дикари, казалось, были настроены миролюбиво, и Эль-Хо попытался вступить с ними в переговоры, которые закончились тем, что у него отобрали оружие и раздели. Как ни странно, после этого туземцы снова пустились в пляс. Когда танцевальное шоу закончилось, отряд, захвативший его в плен, тотчас же пустился в путь. Юношу не обижали и даже кормили наравне со всеми, хотя внимательно следили за тем, чтобы он не убежал. Пройдя мимо болота, кишящего москитами, процессия вышла на берег большого залива, миновала реку и снова углубилась в лес, где росло множество фруктовых деревьев; там к ним присоединилась новая группа туземцев. Путешествие продолжалось семь или восемь дней; преодолев с помощью плотов несколько рек и пройдя песчаную равнину, они наконец пришли в родную деревню аборигенов.

Его провели в большую хижину, в которой восседал пожилой человек, по-видимому вождь. Он милостиво выслушал рассказ своих подданных и отдал какие-то распоряжения, после чего пленника отвели в дом, где находилось несколько юношей и девушек, которые осмотрели и ощупали все его тело. После непреременных песен и танцев одна из девушек подошла к нему и присела рядом. Вождь положил им руки на головы, что-то прокричав, после чего шоу продолжилось. Судя по всему, это был туземный обряд бракосочетания; когда представление закончилось, молодых отвели в пустую хижину, где оставили одних.

Медовый месяц был в разгаре, когда Эль-Хо услышал страшные крики и, выглянув в окно, увидел, что деревня объята пламенем. Молодая жена, рыдая, объяснила, что они стали жертвой нападения безжалостных врагов. Отважный юноша, бросившись к вождю, выказал желание возглавить сопротивление, но тот лишь печально покачал головой и зачем-то затрубил в рог. Выскочив на улицу, Эль-Хо обнаружил вооруженных людей, восседавших на конях. Командир отряда, увидев человека, отличавшегося внешностью от аборигенов, удивился и приказал выдать ему одежду и лошадь. Юноша просил пощадить его родных, и это желание было исполнено. Резня тем не менее продолжилась, при этом туземцы позволяли убивать себя, как скот, не оказывая ни малейшего сопротивления.

Наконец карательный отряд, включая Эль-Хо, которого опять-таки не обижали, но и не отпускали, отправился восвояси. Добравшись до берега, солдаты погрузились на плоты с парусами, которые взяли курс на Кринке Кесмес. По приезде в столицу пленника разместили в частном доме, откуда вызвали в ученую ассамблею, «где заседали двадцать четыре выдающихся человека». Некоторые из них владели голландским, и юноша получил возможность поведать свою удивительную историю, которая поразила всех, кто хоть что-то понял в его рассказе. Проблем, как поступить с ним, не возникло — после проведения ознакомительной экскурсии он был трудоустроен в качестве преподавателя голландского языка в одну из провинциальных школ рабочей молодежи. Профессия учителя, как пишет Эль-Хо, была весьма престижна в этом государстве, поэтому «ни одна из женщин не может быть школь-

ным преподавателем, равно как пьющие или плохо воспитанные люди». По его словам, он усвоил законы этой страны и теперь живет в соответствии с ними, за что и был награжден красным пальто и красной шапкой (местный знак отличия, своего рода аналог «революционных красных шаровар») и получил имя Эль-Хо, что на языке этого народа означало «свободный человек».

Книга Смикса содержит три самостоятельных сюжета. Во-первых, утопический (или антиутопический) рассказ о государстве Кринке Кесмес. Во-вторых, собственно робинзонаду, историю юнги, включенную в повествование в качестве «вставной новеллы», и, наконец, приключенческую линию в духе Хаггарда или Майна Рида, повествующую о схватке юноши с туземцами и его пленении.

Гипотеза о том, что история Эль-Хо послужила одним из главных источников «Робинзона», получила особую популярность среди немецких и голландских ученых, но наиболее горячим ее приверженцем стал американец Луций Л. Хаббард, который перевел труд Смикса на английский. Хаббард утверждал, что история голландского юнги содержит такое количество совпадений с романом Дефо — в эпизодах, сюжетной фабуле и характере героя, — что есть все основания говорить о том, что именно она послужила моделью для «Робинзона Крузо»¹⁷. Книга Смикса, по его мнению, имела реальную подоплеку, которая и придала ей атмосферу достоверности, — в частности, эпизод, связанный с посещением голландским кораблем Западной Австралии в 1697 году. Для поисков пресной воды на берег была послана команда, которая, выполнив поставленную задачу, благополучно вернулась на борт судна. Однако неясности, содержащиеся в корабельном отчете, позволяют сделать вывод о том, что один из членов команды — юнга — мог остаться на берегу и, таким образом, стать прообразом Эль-Хо¹⁸. Впрочем, как считает историк Дэвид Фоссетт, им мог стать и один из моряков, посланных на спасение потерпевшего крушение неподалеку от берегов Австралии судна «Вергулде Драк»; команде судна «Goede Hore» удалось высадиться на берег в районе крушения, однако трое моряков потерялись в буже, а вслед за ними исчезли еще восемь человек, посланных за ними¹⁹. От себя добавлю, что в этот список можно включить, едва ли не с большим основанием, и юнгу, принявшего активное участие в знаменитом мятеже на «Батавии»; он был приговорен к смертной казни, которую, учитывая его молодость, заменили высадкой на пустынный берег Западной Австралии.

Эпизод, в котором Эль-Хо находит следы в дюнах, по мнению Хаббарда, вдохновил Дефо на создание знаменитой сцены, в которой Робинзон обнаруживает отпечаток голы человеческой ступни на песке («Я остановился, как громом пораженный или как если бы я увидел привидение», — пишет Крузо).

Подобно герою Дефо, юноша не падает духом, оказавшись в совершенном одиночестве. И Робинзон, и Эль-Хо строят собственный укрепленный «замок». Герой Дефо имел два дома, голландец соорудил целый квартал хижин, которые использовал в качестве складов. Оба персонажа вступают в жестокую схватку с туземцами и одерживают над ними победы.

В одной из схваток юнга обезглавливает туземца, и это кровавое действие напоминает Хаббарду аналогичный поступок Пятницы. Американец, на основе анализа нескольких похожих эпизодов в «Крузо» и «Кринке Кесмесе», даже утверждает, что нашел метод, который Дефо использовал в работе над романом: пересказывал

¹⁷ A Dutch Source for Robinson Crusoe; the Narrative of the El-ho «sjouke Gabbes» (also Known As Henrich Texel), An Episode From the Description of the Mighty Kingdom of Krinke Kesmes, Et Cetera» by Hubbard, Lucius L. (Lucius Lee). Ann Arbor. George Wahr, Publisher. 1921. Introduction. P. XXXIII.

¹⁸ Там же.

¹⁹ The Strange Surprising Sources of Robinson Crusoe. David Fausett. 1994. P.180.

рассказ Смикса, но в концовке, чтобы скрыть заимствование, менял минус на плюс (съедобное на несъедобное или наоборот). Внимание исследователя привлекли и ошибки, допущенные в «Робинзоне», о которых писал еще первый и самый знаменитый критик писателя, некто Гидеон Гилдон (1665–1724), неудачливый литератор²⁰.

Робинзон, отправившись в очередной раз на затонувший корабль за припасами, раздевается догола; добравшись туда, он набивает несуществующие карманы сухарями. «Как мог Крузо, — гневно вопрошает Гилдон, — заполнить карманы печеньем, когда он был наг?» В следующем издании Дефо одел Крузо в бриджи. Напрасный труд! «Карман бриджей моряка не больше чем кисет и не может вместить какое-либо количество печенья», — не унимался неистовый Гидеон. По мнению Хаббарда, ошибки такого рода были вызваны тем, что Дефо, используя историю Эль-Хо в качестве основы, время от времени путал Робинзона с его голландским прототипом (версия, не выглядящая достаточно убедительной). Еще одним сторонником приоритета Смикса является Д. Фосетт, автор книги «Удивительные и необыкновенные источники Робинзона Крузо»²¹. Фосетт упрекает исследователей творчества Дефо в том, что они ищут прототипов Крузо исключительно в текстах британских авторов, пренебрегая иноязычными, в первую очередь голландскими источниками. Признавая, что в романе Дефо есть много сюжетных линий и эпизодов, которых нет у Смикса, он высказывает уверенность, что их корни можно найти в голландских журналах, отчетах и архивных документах. Именно хроники плавания кораблей Голландской ост-индской компании в Индийском океане, в частности катастрофы, происшедшие с кораблями «Батавия» (1629 г.) и «Вергулде Драк» (1656 г.), и стали, по его мнению, моделью для романа Смикса и тем самым важным звеном в создании жанра литературных робинзонад.

Еще одна идея исследователя заключается в том, что робинзоны как жанр сформировались под влиянием утопических традиций (стоит вспомнить, что «Утопия» — это название острова из знаменитой книги Томаса Мора «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия»). Свои «утопии» на островах создавали многие писатели того времени, такие, как Невилл, Фойни и Варасс; придумал свое «могучее королевство Кринке Кесмес» и Хенрик Смиск. В его книге, впрочем, утопия и робинзоны существовали как бы сами по себе; Дефо же удалось сделать следующий шаг, объединив обе темы в единый сюжет, что и стало главной причиной успеха его романа.

С этой точкой зрения можно поспорить. Авторы утопических (равно как и антиутопических) трактатов действительно переносили выдуманные ими социумы на отдаленные земли и острова, еще не освоенные европейцами, в ту же Австралию; добраться туда можно было лишь проделав долгое и опасное путешествие, и литераторам трудно было противостоять соблазну оживить фабулу приключениями на море, не говоря уже о том, что для путешественников и мореплавателей той эпохи стало доброй традицией включать в повествование откровенные небылицы (стоит вспомнить истории о людях с песьими головами, которые якобы обитали на просторах не столь уж и далекой Московии). Романы Невилла и Смикса действительно были и робинзонадами, и социальными утопиями, но слияние, а точнее, «пересечение» этих жанров было лишь делом случая, а не закономерностью. Приключения Симплициссимуса, например, которые имеют практически столько же общих черт с Робинзоном, — не утопия, а скорее «плутовской» роман.

²⁰ The Life and Strange Surprising Adventures of Mr. D De F, of London, Hosier, who has lived above fifty years by himself, in the kingdoms of North and South Britain. Charles Gildon.

²¹ Fauset, David. 1994. The Strange Surprising Sources of 'Robinson Crusoe'. Amsterdam: Rodopi.

Логично предположить, что Смикс при создании своей книги изучал отчеты о плаваниях голландских кораблей в южных морях и освоения ими Австралии («Новой Голландии»). Но драматические события, которыми сопровождалась эта эпопея, содержатся в его «Кринке Кесмесе» лишь в «снятом» или, на современном языке, «отмодерированном» виде. Из рассуждений Фосетта остается неясным, кому все-таки Дефо обязан больше — книге Смикса или анналам Ост-Индской голландской компании? И если верно последнее, то какие именно события он отразил в своем романе?

Повествование голландского хирурга, простое и во многом наивное, не лишено обаяния, присущего полотнам талантливых художников-примитивистов, но сравнения с шедевром Дефо оно, разумеется, не выдерживает. Общая идея в нем попросту отсутствует, а основные сюжетные линии (социальная утопия, робинзолада и приключения) связаны между собой достаточно условно. Каннибалы Дефо изображены с высокой степенью реалистичности, в поступках же туземцев Смикса отсутствует какая бы то ни было логика: они появляются неизвестно почему и зачем, внезапно исчезают, забыв о добыче, демонстрируют попеременно то агрессию, то миролюбие, а в эпизоде с нападением всадников Кринке Кесмес — пацифизм и непротивление злу насилеи; мотивы их нападения на убежище отшельника неясны, равно и причины, по которым Эль-Хо становится членом племени и зятем вождя. Могучее королевство Кринке Кесмес изображено не без иронии, но в целом позитивно (не случайно Эль-Хо, довольный полученной им красной шапкой, не собирается возвращаться на родину), однако нападение имперских войск на мирную туземную деревушку — откровенный акт геноцида, который невозможно оправдать.

Наиболее же важное отличие между романами — это образ главного героя. Робинзон попал на остров уже сформировавшимся, взрослым человеком и обладал солидным жизненным опытом, Эль-Хо, в отличие от него, был почти ребенком. Хотя в ту эпоху люди взрослели намного раньше, остается только удивляться тому, каким образом подросток 12–13 лет мог быть в такой степени знаком с наукой выживания. Создается впечатление, что мальчик, отставший от команды ради того, чтобы полакомиться фруктами, и юноша, осваивающий неведомую землю и в одиночку сражающийся с полчищами агрессивных туземцев, — это два разных человека. Эль-Хо упорен, настойчив, трудолюбив, смел, изобретателен и находчив, как это и положено главному персонажу жанра «экшн». Но чувствуется ли за типовым набором качеств супермена реальный характер? Робинзон, как мы помним, тяжело переживал свое одиночество и был на грани помешательства и даже самоубийства; нечто похожее происходило и с реальным отшельником, которого часто называют его прототипом, — Александром Селькирком. Герой Смикса пролил несколько скупых слез, читая письмо товарищей, но в целом отнесся к необыкновенной ситуации, в которую попал, на удивление спокойно, не испытав ни душевных терзаний, ни ностальгии. Наивный подросток в мгновение ока превратился в сурового отшельника, охотника и мастера на все руки, а потом и в отважного рейнджера, сражающегося с дикарями, образцового члена туземного племени и, наконец, в законопослушного учителя словесности в школе для мальчиков. Его метаморфозы удивляют читателя сильнее, чем невероятные приключения, и оставляют странное впечатление «гуттаперчевости» героя, который приспосабливается к любой ситуации с такой легкостью, что становится неотличим от персонажа комикса, весь смысл поступков которого заключается в продвижении повествования от завязки к финалу. Впрочем, проблема часто кроется в деталях — а что касается конкретных фактов и деталей, то применительно к ним сходство историй голландского юнга и моряка из Йорка выглядит слишком уж разительным, чтобы оказаться простым совпадением.

В книгах Гриммельсгаузена, Невилла и Смикса можно найти все основные элементы, сюжетные повороты и коллизии, содержащиеся в островной части «Робинзона Крузо», — сцены шторма и кораблекрушения, описание благодатного острова, на котором обитают птицы и козы, рассказ о жизни отшельника (одиноким или разделяемой с товарищами по несчастью), его повседневная деятельность (строительство жилья, изготовление мебели, заготовка леса, приготовление пищи и др.), охота и досуг, подъем ценностей с затонувшего корабля, домашние животные, календарь, дневник и религиозные занятия, конфликты с туземцами (в которых белые люди сразу же начинали видеть каннибалов) или среди самих потерпевших крушение, землетрясение, появление на острове чужих (туземцев, пиратов или буйных моряков, а в истории Симплиция — призраков), пленение, португальский или голландский корабль, несущий спасение, — или на худой конец свежие вести из цивилизованного мира.

Что же такого было в романе Дефо, чего не было в других книгах? Наверное, самого главного персонажа книги — неподражаемого Робинзона Крузо, чьи удивительные приключения начались еще до того, как он попал на необитаемый остров, и продолжились после того, как он его покинул, и Пятницы — бывшего каннибала, ставшего образцовым христианином и верным другом. История Крузо — это приключения не только тела, но и духа, в которых, быть может, самое интересное — это метаморфозы сознания человека, попавшего в исключительные жизненные обстоятельства и сумевшего не просто приспособиться к суровому и замкнутому миру, в котором он оказался, но и вступить с ним в гармонию и тем самым, используя слова классика, «совершить скачок из царства необходимости в царство свободы».

Не секрет, что деятельность писателя и архитектора во многом сходны. Талантливый архитектор создает свои творения из того же материала и тех же конструктивных элементов, что и его менее даровитый коллега по цеху, но, в отличие от него, действует не в рамках традиции или шаблона, а повинаясь внутреннему голосу своего гения; если результат деятельности первого по большей части предсказуем (пусть и в самом позитивном смысле этого слова), то истинный творец, вечно озабоченный тем, как воплотить абстрактные идеалы в рамки тех форм и ограничений, которые накладывает на замыслы художника низменная реальность, не задумываясь выпускает на волю то, что принято называть творческой стихией. Нечто подобное происходит и в литературной сфере.

Очевидно, что роман Дефо, не являясь первым произведением жанра, названного по имени главного персонажа, стал для него тем, что принято называть «наше все», — каноном, символом, квинтэссенцией и сияющей вершиной литературного направления, а сам Робинзон Крузо, неутомимый путешественник и мудрый отшельник никогда не существовавшего в реальности острова в устье Ориноко, — своего рода «культовым образом», одним из литературных персонажей, которые, по мнению Яна Уатта, оказали настолько сильное влияние на духовную жизнь европейского общества, что стали «мифами западной цивилизации»²².

²² Myths of modern individualism: Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe. Ian Watt. Cambridge University Press. 1996.



ПОРТРЕТ ПОЭТА

Альберт ИЗМАЙЛОВ

«ПРОХОЖИЙ
ЖИЗНИ МОЕЙ...»

*К 140-летию со дня рождения
поэта Серебряного века
Д. М. Цензора (1877–1947)*

Зачем люди пишут и читают стихи? Стихотворение — не хлеб, его не съешь. Оно не вино, его не выпьешь. Стихотворение не девушка и не молодой человек, его (ее) не поцелуешь.

Стихотворение пишут и читают, наверное, потому, что не делать этого нельзя, иначе у человека было бы меньше ресурсов, чтобы поддержать духовные и физические силы. Нам так иногда не хватает сил в труде, любви, борьбе.

Все вышесказанное не относится к творчеству Дмитрия Михайловича Цензора. Созданные им стихотворения... целуют женщины. Созданные им стихотворения читают жадно и аппетитно, как едят хлеб или пьют вино. Его стихотворения в трудную минуту приходят к нам на помощь.

«...Стояла у окна, прислонясь к холодному стеклу, — писала поэту читательница с Выборгской стороны, — за окном белая ночь и белая громадная стена соседнего дома; за спиной крепким сном покоился „он“. Впрочем, я не знала — кто он. Студенческая комната, темная и маленькая, беспорядочно разбросаны вещи и книги... И грустно было мне, больно — сама не знаю от чего. Не то плакать хотелось, стонать... Не знаю. И вот, под руку попала новенькая книга „Легенда будней“. В ней было сказано, как иногда в весеннюю тихую ночь жаждешь непонятого счастья, ищешь неведанные образы, рвешься куда-то в даль, хочешь молодо, сильно, свободно вздохнуть, хочется ласки, любви свободной, обновляющей...

Альберт Федорович Измайлов родился в Ленинграде в 1937 году, житель блокадного Ленинграда, кандидат филологических наук.

И знаете, тогда, когда я припала глазами к Вашей строке, то Вы были во мне и со мной...

Не помню, плакала ли я, но мне кажется — да, и когда подняла голову, увидела на стене незаметную ранее фотографию: бабушка на руках держит мальчика, кудрявого, светлоглазого, в белом костюмчике...

А сегодня шла мимо кинотеатра, прочла Ваше имя, шла „Девушка из подвала“. Смотрела... И вот опять сидя одиноко ночью, вся вернулась к ушедшему. Опять в этом я около Вас: как чутко, как хорошо...

Той весной, когда я познакомилась с Вашими стихами, я встретила человека, которого полюбила. Как-то шла по набережной, навстречу шел студент, вернулся, пошел рядом, заговорили...

Он посмотрел так, что я поняла: прохожий жизни моей... Было счастье, я любила, я страдала, я была одна...»

В конце письма адрес: Выборгская сторона, Тимофеевская улица, д. 30, кв. 91. И приписка: «...передать Тане. Надо ли говорить о том, что буду благодарна, если напишете. Остаюсь ждать...»¹

Вот такое письмо. Сколько их получал Дмитрий Цензор? Писем от незнакомок. Их было много. Писали о впечатлениях о прочитанном, о «Короле Гамбринус», услышанном в авторском исполнении в зале филармонии.

Он опубликовал серию очерков о петроградских женщинах, драму для кинематографа «Девушка из подвала», цикл лирических элегий...

Печальные, с бездонными глазами,
Горевшие непонятой мечтой,
Беспечные, как ветер над полями,
Пленявшие капризной красотой...

О, сколько их прошло передо мной!
О, сколько их искало между нами
Поэзии и страсти неземной!

И каждая томилась и ждала
Красивых мук, невысказанной неги.
И каждая безгрешно отдала
Своей весны зеленые побеги...

О, ландыши, грустящие о снеге, —
О, женщины! У вас душа светла
И горестна, как музыка элегии...

Писала поэту из Киева молодая учительница, с которой, как сказано в письме: «Вы познакомились на станции Новохоперск...»

Актрисы писали ему игриво прагматично.

«...Страстно рада, как дитя, тому, что хоть могу писать к Вам, зная, что Вы так добры, прочтете, может быть, минутку подумаете над моим письмом, и все-таки Вы... со мной тогда! Как будто я с Вами говорю, — писала поэту одна артистка драматической студии в 1925 году, — простите меня, добрый Дмитрий Михайлович, и не примите мои извинения за навязчивость. Боже сохрани, я только хочу, чтоб Вы знали, что питаю к вам искренние и теплые чувства. Надеюсь, милый Дмитрий Михайлович,

¹ ЦГАЛИ СПб. Ф. 531. Оп. 1. Д. 142. Л. 8—11.

что увидимся в четверг у нас... Да и к Вам как-нибудь с вашего разрешения загляну. Но я забыла адрес. Караванная, д. 3, кв. 6, так кажется?..»²

Философы Серебряного века рассматривали категорию любви в русле человеческого бытия, как творение истины: «...послушно и свободно меняется душа, пронизанная силой и ритмом любви». Можно сколь угодно ухмыляться творению художника, отражающего волнения души, но нельзя запретить неприметной былинке каждой весной тянуться к солнцу и каждой капле теплого весеннего дождя смеяться. Под двуединством любви философ Л. П. Карсавин понимал не отождествление двух любящих друг с другом, а незаменимое своеобразие, взаимодополняющее каждого. «Не слияние-отождествление, а слияние в гармоническом единстве... Любовь — восстановление первозданного двуединства, в котором каждый из любящих находит его и ему недостающее, в котором оба вместе вновь сопрягают ими нарушенное единство»³.

Пытаясь проникнуть в тайны явления любви, Дмитрий Цензор все более осознал, что, пытаясь направиться к другому берегу, остается на том же берегу, который покинул, погружаясь все глубже в темную и слепую волну. Он слушал споры поэтов, художников, музыкантов, в его душе возрастали две мировых идеи: идея чуда и идея тайны. Ведь еще Франсиско Гойя утверждал, что воображение совместно с разумом, являются матерью искусств и источником творимых им чудес. Слово рождает воображение, а оно порождает новые законы науки, новые мелодии, новые архитектурные шедевры, новые человеческие отношения. И эти чудные явления и тайны манили, появлялись и исчезали, звали неумолимо, окрыляли трепещущее сердце поэта.

Люблю искать случайность приближений,
Среди людей затерянным бродить.
Мы чужды все, но призрачная нить
Связала нас для жизни и мгновений.

И я иду намеки дня следить,
Вникая в гул разрозненных движений.
Одни таят безумье преступлений,
Другим дано великое творить...

Александр Блок называл Дмитрия Цензора «созданием петербургской богемы», считал пагубным для литературного языка избранный ими жаргон, отмечал, «что ему поется, что он не заставляет себя петь», что ему более всего удаются «картины городской жизни».

Как признавался сам поэт, Максим Горький предостерегал его «об опасности потерять свою творческую индивидуальность, призывал освободиться от чужих влияний»⁴.

Будучи членом многих творческих и литературных объединений, кружков и отделов, он попал в круг писателей-реалистов, большое влияние оказывало на него творчество А. Блока. «Читатель ждет, — писал Дмитрий Цензор, — чтобы поэт раскрылся, обозначил свое личное, не у всех поэтов хватает такой смелости, какая была у А. Блока и С. Есенина»⁵.

Еще одна сторона таланта Дмитрия Цензора помогала ему познать жизнь, выразить себя в... рисовальных образах, помогала как-то заработать на хлеб. Он рисовал

² ЦГАЛИ СПб. Ф. 531. Оп. 1. Д. 174. Л. 1—4.

³ Карсавин Л. П. О личности // Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. С. 86.

⁴ ЦГАЛИ СПб. Ф. 531. Оп. 1. Д. 185. Л. 11.

⁵ ЦГАЛИ СПб. Ф. 531. Оп. 1. Д. 130. Л. 16.

с фотокарточек портреты людей, создал однажды с натуры портрет жены губернатора Ярославля, где тогда жила семья поэта. Он получил художественное образование в Одесском художественном училище, откуда был направлен на учебу в Академию художеств в Санкт-Петербург. Будучи студентом Академии художеств, был одновременно принят вольнослушателем на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета.

Его отец трудился портным, в поисках работы переезжал вместе с семьей из города в город, побывал в Ярославле и Одессе, Ковно и Вильно, где юный поэт весной 1900 года в газете «Северо-западный голос» опубликовал свое первое стихотворение «Перед рассветом».

Отец Дмитрия был одаренным человеком, мечтателем, фантазером, увлекался литературой, искусством, изобретательством. В своем первенце, Дмитрие, он старался развить с самых ранних лет любовь к рисованию, поэзии, музыке. Заставлял заучивать наизусть Пушкина, Некрасова, рисовать, нанимал из своего скудного заработка учителей по грамоте и игре на скрипке.

«Ему, отцу, — писал позднее Дмитрий Цензор, — в большой степени я обязан тем, что сделался художником и поэтом».

Война, Первая мировая, заставила поэтов отойти от псевдопоэтических красот, новаторского трюкачества, от своего вымышленного мирка.

В «Солдатской песне» Дмитрий Цензор писал:

Попрощался с деревней убогой,
Как пришел мой рекрутский черед,
Уходил чужедальней дорогой
Послужить за царя и народ...
Закались, моя воля, как камень,
Жди команду, винтовку готовь.
Отомщу я своими руками
За народную кровь!

Во время Октябрьской революции он находился во Пскове, участвовал в оказании помощи жертвам войны. Летом 1918-го ему удалось тайно, за денежную взятку, уехать в санитарном поезде из оккупированного немцами Пскова в красный Петроград.

Менялась структура общества. Менялись понятия о труде, любви, борьбе. Труд социально осмысливался, облагораживался технически, становился коллективным, творческим, плодотворным. Любовь обогащалась множеством аспектов, заставляя художника тоньше передавать ее свет, печаль, счастье, благоухание. Познавший в детстве и юности полуголодное существование, всегда мечтавший о сытом завтрашнем дне, всегда зависевший от подачек от состоятельной публики, поэт глубоко сознавал, что такое борьба за справедливость, равенство, братство.

Он работал литературным инструктором литературной службы Балтфлота, организовал литературные секции в коллективах балтфлотовских частей, печатал сатиру на фигуры обывателей, нэпманов, бюрократов, писал новеллы, фельетоны, песни, лирические стихотворения о городе. И блуждая над Невою, общаясь с туманной синевой, с бездонными глазами белой ночи, с безмолвием кварталов и дворцов, вдруг постигал поэзию молчанья...

Он переработал либретто и заново написал большинство стихов к оперетте «Марица», которая успешно шла долгие годы на сценах театров страны.

Как и в прежние времена, город на Неве дарил поэтам свой неповторимый образ. Бессоницей болны были старинные дворцы, где, словно вновь, ожили окоронован-

ные безумцы и блудницы, а меж шальных, бродяжных переулков, поблеклых вод каналов, меж синющей реки разводят мост, и сквозь него проходит шхуна, сквозь целый город, воздушно-каменный, который поэт еще проникновеннее любил, любил его непостоянство, непредсказуемость, суровую равнодушность.

И у Дмитрия Цензора рождались строки:

Ах, пусть иные мизантропы,
 Вовек не знавшие отрад,
 Хваля достоинства Европы,
 Поругивают Ленинград.
 Для нас, кто сердцем помоложе,
 Холодный город у Невы
 И совершенней и дороже
 Нью-Йорка, Лондона... Москвы.

Участвуя в дискуссии о современной поэзии в 1940 году, он предлагал учиться у великих русских классиков, называл Александра Блока «поэтом чистейшей творческой совести», призывал поднять общественное значение поэта, который должен «быть барабанщиком, песенником нашего народа», называл творчество В. Маяковского, Э. Багрицкого «выразителем души нового гражданина», их язык — богатым, густым, сочным, ароматным, жизненным. Он приводил слова М. Горького, обращенные к нему как молодому поэту:

Он говорил: неверно спето,
 Берете вы слова не те,
 Одна дорога у поэта
 К большой правдивой простоте...

Среди усвоивших живые традиции прошлого, обозначал имена Н. Тихонова, А. Прокофьева, Н. Брауна, В. Шефнера, А. Чивилихина. Об Ольге Берггольц сказал: «...любящая и мыслящая женщина нашего времени, с большой искренностью говорит о своем интимном и заветном»⁶.

Тяжкие дни ленинградской блокады пришлось пережить многим нашим поэтам. В начале 1942 года Дмитрий Цензор помог эвакуироваться из осажденного Ленинграда своей жене Груздовой Анне Владимировне и приемному сыну Олегу. Он писал ей из Москвы в 1943-м: «Тоскую по Ленинграду, по ком-нибудь из блокадных людей, которых почти не осталось...» В марте 1945-го писал ей: «...включил тебя в списки Союза писателей на возвращение в Ленинград, но разрешение будет не скоро...»

После возвращения в Ленинград послевоенная жизнь складывалась трудно. Дмитрий Михайлович писал рецензии на книги и рукописи молодых литераторов, помогал семье, заботился о пасынке — Олеге Протопопове, который занимался фигурным катанием на коньках, купил ему первые в его жизни коньки.

Он завещал жене, Анне Владимировне Груздовой, все принадлежащее ему имущество, и после его смерти ее материально поддерживали скромные гонорары, которые она получала от публикаций произведений поэта. Получала до поры до времени, до тех пор, когда на Протопопова и Белоусову начались гонения. Анна Владимировна писала Люде и Олегу: «Как никогда надо держаться, я знаю, что трудно, но выхода нет. Надо устоять, как стояли мы на смерть в блокаду и выстояли... нас немного. И убить нас легко. Мы не носим за поясом нож. А эти выпады хуже убийства... Вам

⁶ ЦГАЛИ СПб. Ф. 531. Оп. 1. Д. 130. Л. 1—11.

будет слава за истинно олимпийское мужество, не сдавайтесь, земной вам поклон от матери родины и всего мира...»⁷

В Анне Владимировне жила поэтическая душа, она вела дневниковые записи, писала стихи:

...Прости мне, друг!
Но вдохновенье есть,
Везде и всюду и среди людей
Души не выдержать
Той оболочки малой,
Летит куда-то ввысь,
Летит все к небу, к небу...

Наверное, традиции творчества Серебряного века так живучи, что продолжают вековать, увлекая, завораживая своей искренностью и откровением новые поколения, как эти строки Дмитрия Цензора:

И нет границ меж красотой и злом.
Печаль везде томится беспредельно,
В улыбке глаз, в признании родном.

И сладко мне отдаться ей бесцельно.
Я всех люблю и каждого отдельно,
Живу душой в ничтожном и святом...

Большой писатель и поэт всегда обладают не только совестью, но и большими идеями, которыми они увлекают, выразив их своим художественным словом. Человек всегда будет страдать, радоваться, мыслить, стремиться к гармонии. Его всегда будет будоражить мысль о вечном возвращении, мысль об ощущении мига ясности и радости. Ничто, никто никуда не уходит, все возвращается, все, в сущности, остается, как прежде. Ибо новых форм так мало, как и качеств.

О каждом упомянутом здесь человеке можно сказать: прохожий жизни моей; прохожий, который прошел трудный путь до избранной цели и наконец, кажется, достиг ее, постиг суть пути-дороги, оставил трогательное воспоминание, тронул душу своим словом, поступком, действием, молчанием...

РЕЦЕНЗИИ

САМЫЙ СТРАШНЫЙ «НОЧНОЙ КОШМАР» ИОСИФА БРОДСКОГО

Ася Пекуровская. «Непредсказуемый» Бродский. Алетейя, СПб.: 2017.

...Говорят, он вошел в Саламанку,
да она в него не вошла.

Дон Габриэль дель Корраль, перевод Павла Грушко

Эта книга привлечет внимание как недоброжелателей, так и поклонников Иосифа Бродского. Дело здесь в нескольких значимых моментах, главным из которых я бы поставил ее научность, что призвано создавать комфортное ощущение объективнос-

⁷ Там же. Ф. 531. Оп. 1. Д. 234. Л. 4.

ти — автор окончила филологический факультет ЛГУ, в 1970-х — аспирантуру в Стэнфорде, преподавала там русский язык и литературу, и все ее предыдущие книги написаны в жанре деконструктивистской критики, то есть их основная задача — разрушение стереотипа и/или включение в новый контекст.

В этом смысле последняя из написанных Асей Пекуровой книга «„Непредсказуемый“ Бродский», где прилагательное, взятое в кавычки, не столько цитируемое из некоего первоисточника определение, сколько синоним в ряду «прогнозируемый, ожидаемый», может считаться монографией. Я бы назвал именно этот жанр литературной критики, поскольку автор на протяжении 230 страниц бьет с разных точек в одну цель-мишень, которую она определяет уже в предисловии: «Я демистификатор. И мой источник вдохновения — в изъяне. Но под изъяном я понимаю, скорее, не дефект сказанного, написанного, помысленного, а то, что, как правило, не попадает в поле зрения читателя: аллюзии, оговорки, совпадения, авторские гримасы, высокие мотивы и цели, эмфатические отрицания, т. е. все то, что лишает текст подпитки, говоря языком Лакана».

Как «демистификатор», автор верна себе, переходя от одной написанной ею книги к другой. Практически та же позиция заявлена в издательской аннотации к одной из предыдущих книг Пекуровой «Герметический мир Иммануила Канта»: книга посвящена в числе прочего «демистификации кантовских парадоксов». С тем же вектором и 600-страничная «Страсти по Достоевскому: Механизмы желаний сочинителя», вышедшей в «НЛО» в 2004 году.

Сразу хочу сориентировать читателя: речь не идет в нашем случае о принадлежности к течению, допустим, «новая критика» (по названию книги «The New Criticism» Джона Рэнсона), которая занимается глубоким погружением в структуру повествования, исследованием символики и образной системы, при этом абсолютно не интересуясь ни личностью автора, ни общим историко-социальным контекстом. Напротив, и в этом — другой момент, который притягивает читателя не меньше, чем научная объективность: нередко сквозь вязкий, местами терминологически перегруженный критический дискурс «„Непредсказуемого“ Бродского», проскальзывают личностные, биографические фрагменты, некая женская заинтересованность и понятная вовлеченность, ведь автор книги Ася Пекуровская — бывшая жена Сергея Довлатова, возлюбленная Василия Аксенова и «муза Ленинграда шестидесятых», как ее характеризуют в предисловии к интервью в питерской интернет-газете «Бумага»¹.

Что же касается взаимоотношений Пекуровой и Бродского, то общеизвестно его анонимное упоминание о ней в эссе «О Сереже Довлатове. „Мир уродлив, и люди грустны“»: «Это была зима то ли 1959-го, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженную, миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтоб их тут перечислять, осаду эту мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала».

Кстати, уже после его смерти Довлатов также был «демистифицирован» Пекуровой в книге «Когда случилось петь С. Д. и мне» (по мысли автора, название рифмуется с пастернаковской строкой «Когда случилось петь Дездемоне»). Научного в книге было немало, но и личного — хоть отбавляй. От впечатлений о внешнем облике («Когда-то в молодости на Сережин вопрос о том, как я себе его представляю, я, не задумываясь, ответила: „Как разбитую параличом гориллу“»...) до «о гениальности Довлатова и речи быть не может»².

¹ Анна Косинская. Первая жена Сергея Довлатова — о Петербурге сегодня и сорок лет назад. <http://rarepaper.ru/asya/>

² Ася Пекуровская. Когда случилось петь СД и мне.

Собственно, почему Бродский также не вошел в список гениев по версии Аси Пекуровской, насколько он предсказуем — этому в значительной степени и посвящена ее книга: «Когда я писала „Непредсказуемого“ Бродского», я перевела какие-то его стихи — те, что еще не были переведены: написанные по-русски — на английский язык, написанные по-английски — на русский. При переводе возникает какой-то интимный контакт с автором. Но и в этом случае чувства гениальности Бродского у меня не возникло. Может быть, потому, что к тому времени уже прочла очень недодуманную, но такую модненькую его прозу? Нет, я не считаю его гением...»³

В конце концов, кого считать гением, а кого нет — дело каждого. Пекуровская доказательно отстаивает свою позицию, о чем скажу ниже, но здесь необходимо отметить, что наличие само по себе такого рода критики — знаковый, важный момент, и не только в бродсковедении. По поводу Бродского написаны тома панегириков; оды еще, по-моему, нет, но славословия и дифирамбов более чем достаточно. На этом фоне, нравится это мне, преданному почитателю Бродского, или не нравится, критические, нередко крайне субъективные статьи и рецензии, мемуары и отрицательные оценки просто необходимы. Можно не соглашаться с удручающей, в общем, статьей Солженицына о мастерстве Бродского, где один нобелевский лауреат сожалеет, что другого нобелевского лауреата прежде времени освободили из ссылки, но в ней есть любопытные, литературоведческие, хотя и нехвалебные для творчества Бродского пассажи. Поэтому такие работы, как мне кажется, просто необходимы. Равно как и критический взгляд на Бродского и его поэтические труды писателя Владимира Соловьева, знавшего поэта и по Ленинграду, и по Нью-Йорку. И ряд других публикаций в этом духе, без которых русская культура бесповоротно получила бы еще одно «наше все» и «солнце русской поэзии XX века».

Не будь трехтомной скандальной биографии Лорэнса Томпсона о классике современной американской поэзии Роберте Фросте, культурология и сегодня продолжала бы безоглядно канонизировать философа-фермера и сельского мудреца из провинциального Нью-Гемпшира. То же касается и Уистона Одена — его стихи на родине популярны по-прежнему, но отношение в литературных кругах остается противоречивым. «Я рад, что этому г.ну пришел конец», — заявил знаменитый британский романист Энтони Пауэлл, когда Оден ушел из жизни в 1973 году. Негативное мнение о поэзии Одена американского поэта и литкритика Рэндалла Джаррелла, одиннадцатого поэта-лауреата США (между десятым и двенадцатым — Уильямсом Карлосом Уильямсом и Робертом Фростом), сыграло немалую роль в понимании поздней поэтики Одена. До войны «трансатлантический Гораций», как называл его Бродский, раздражал критиков правого толка своей поддержкой марксизма, а переехав в США, разочаровал и левых, которые не могли понять, как поэт-марксист может уехать за границу и отказаться воевать с фашистами. Правда, страсти в этом лагере улеглись, когда Оден женился на дочери Томаса Манна Эрике, дав возможность еврейке выехать из нацистской Германии.

Из двух основных англоязычных стран в США Бродский снискал уважение и доверие, войдя в американский литературно-либеральный истеблишмент, но оказался под шквалом критики в Великобритании («Бродского-поэта любили в Англии немногие, хотя и нежно. И даже любящие: сэр Исайя Берлин, Шеймус Хини, Джон ле Карре, Клайв Джеймс, Алан Дженсинс, Глин Максвелл любили его с большими оговорками, любили скорее обаятельного и умного собеседника, чем поэта...»⁴). Боль-

³ Владимир Желтов. Сережа — из породы бродяг. <https://nvspb.ru/2014/09/03/sereja-iz-porody-brodyag-55286>

⁴ Валентина Полухина. Литературное восприятие Бродского в Англии. <http://www.stosvet.net/9/polukhina/>

шую часть из написанного им по-английски — и эссе, и поэтические тексты, и переводы — многие английские интеллектуалы не приняли, оценив как старомодное (эссе) и беспомощное (поэзия) — у английского филолога и переводчика Дэниела Уайсборта; «великую американскую катастрофу» — в статье о сборнике «Урания» первого английского поэта Кристофера Рида. Или у одного из ведущих английских поэтов и критиков Крейга Рейна: «репутация, подвергнутая инфляции».

Как пишет известный бродсковед Валентина Полухина, которая исследовала творчество Бродского вдоль и поперек, «Доналд Дэви полагает, что Бродский настолько перегружает свои стихи тропами, что не дает словам дышать... Знаменитый критик и поэт Алфред Алварец убежден, что Бродский не понял сути английской поэтики... Эйнн Стивенсон автопереводы Бродского кажутся просто банальными... Петер Леви считает Бродского второстепенным поэтом, плохим имитатором Одена»⁵.

Эти высказывания и авторитетные мнения дезавуируют «миф Бродского», приглушают блеск его виртуальных бронзовых и мраморных постаментов, созданных адептами, фанатами и безапелляционными последователями; позволяют без лишнего умиления и восторга оценить с разных сторон одного из самых значимых, великих русских поэтов XX века.

Западная традиция нелицеприятной критики в последнее время становится нормой и в критике российской. Книгу Аси Пекуровской имеет смысл рассматривать в этом ракурсе. Ее опорная, отправная точка подталкивает сюжет в сторону детективного романа: автор пытается ответить на известный вопрос, многими оставленный без ответа. Не секрет, что личные и семейные бумаги в архиве Бродского закрыты на пятьдесят лет, а в письме, приложенном к завещанию, Бродский просил не публиковать его письма и неизданные сочинения. Иными словами, вход в личную жизнь посторонним на долгие десятилетия запрещен. Бродский дает понять почему: «Вольно или невольно (надеюсь, что невольно) Вы упрощаете для читателя представление о моей милости. Вы — уже простите за резкость тона — грабите читателя (как, впрочем, и автора). А, — скажет французик из Бордо, — все понятно. Диссидент. За это ему Нобеля и дали эти шведы-антисоветчики. И „Стихотворения“ покупать не станет... Мне не себя, мне его жалко»⁶.

Что скажет «французик из Бордо» — одному Богу известно, а все остальное со ссылками на политическую реальность и некое диссидентство сказано в общем и туманно. Чего же опасается Иосиф Бродский? Что хотел скрыть великий поэт, запретив прикасаться к архиву в течение 50 лет после его ухода из жизни? «Меня давно занимал вопрос: почему наши современные кумиры еще до смерти создавали именные фонды с уставами и табу? — пишет Пекуровская. — Неужели кумиры эти не догадывались, что уход за «заветной тропой» требует бесконтрольной свободной мысли?»

Словно гончар, колдующий над вращающимся гончарным кругом и придающий ладонями симметричную форму глиняному кувшину, критик Пекуровская подводит читателя к единственно логичному, с ее точки зрения, выводу: Бродский делал все возможное, чтобы не развалился его авторский миф, не распалась его мемориальная стратегия, которую он выстраивал и до, и после отъезда из СССР. Он предусмотрительно все сделал для того, чтобы она работала и после его смерти. Деконструкции мифа о себе — вот чего боялся нобелевский лауреат, запрещая вход в свой архив на полвека.

⁵ Там же.

⁶ Яков Гордин. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского. М.: Время, 2010.

Чтобы эту стратегию выстроить и провести в жизнь, убеждена Пекуровская, Иосифу Бродскому нередко приходилось подражать выбранным образцам и быть имитатором — как в жизни, так и в литературе. Здесь крайне важно отметить: Пекуровская прекрасно понимает, что такое «интертекст», и отдает себе отчет, что в наше время постмодерна реминисценция, оммаж, пастиш давно являются общепринятыми приемами, а иллюзорность эпитетов «гениальный» и «самобытный» объявлялась многократно. «Более того, — сообщает критик Бродского, — нам придется снять патину негативности с таких эпитетов, как „подражательный“, „имитаторский“, „эпигонский“, „миметический“. А это значит, что об авторской спонтанности, то есть оригинальности, уникальности, нужно будет говорить лишь в контексте авторского умения скрыть или, наоборот, выпятить сам факт копирования».

Безусловно, в книге речь идет о двух разных Бродских. Один, до отъезда в 1972 году, которого Пекуровская прекрасно знала: богемный, амбициозный и в то же время неуверенный в себе молодой человек, следовавший полюбившемуся ему Одену в поэтических текстах и в манере поведения. Нелюбовь Одена к сборищам, отмеченную еще его переводчиком и другом Бродского Андреем Сергеевым, молодой Иосиф повторил почти вслепую: он появлялся позже других и уходил одним из первых. Можно, безусловно, говорить об определенной позе «загадочного поэта», который и этим хотел показать свою особость и надмирное чувство скуки, но тут Пекуровская добавляет ложку дегтя: «Наряду с Бродским и чаще, чем Бродский, наши сборища посещали и другие „яркие личности“: Евгений Рейн, Анатолий Найман, Сергей Довлатов, наездами Василий Аксенов. Почему же они не порывались преждевременно уйти, а комфортабельно досиживали до позднего часа? Не потому ли, что обладали даром, которым не обладал Бродский? Возможно, они были балагурами и умели развлекать общество, тем самым развлекая и себя?.. Продуманность взятых на себя поз и масок могла не быть уникальным свойством Бродского. Но уникальным было уважение к позе».

Подражание Одену, видимо, должно было как-то компенсировать комплексы Бродского. Среди них, из комплексов, — известный «донжуанский список», созданный по типу списка пушкинского («Донжуанский список я тоже составил: примерно восемьдесят дам», — на что Пекуровская со знанием дела отвечает: «Все, абсолютно все — вранье! Я даже представить себе не могла успеха, о котором он говорил»)⁷.

Несамостоятельность, согласно Пекуровской, была присуща Бродскому в ряде его известных позиций. К примеру, категорическое неприятие Фрейда — потому что Фрейда не любила Ахматова, «и то, КАК Ахматова объясняла свою нелюбовь, отложилось в его памяти как научный факт». А «к мыслям о „Памяти У.-Б. Йейтса“ Одена Бродский пришел в изгнании. Под влиянием этих мыслей и, конечно же, смерти Элиота в 1965 году он пишет стихи „В память Элиоту“ (1966?), подражая Одену, который, как известно, подражал Йейтсу...»

Читая книгу Аси Пекуровской, поначалу чувствуешь определенную неловкость от фраз, вроде «переводчик чужих мыслей», «нес околесицу» и прочее, но постепенно к этому привыкаешь. Особенно в тех главах, которые посвящены Бродскому после отъезда.

Я наблюдал в Нью-Йорке совершенно другого Бродского: едва он начинал говорить, вокруг него собирались многочисленные слушатели, он фонтанировал идеями и поражал эрудицией. Уже одно его присутствие рядом для любителей литературы, как русско-, так и англоговорящих, было счастьем и редкой удачей. Ему не нужно

⁷ Владимир Желтов. И Бродский, и Довлатов были очень амбициозны. <http://gazetastrela.ru/2015/03/03/i-brodskij-i-dovlatov-byli-ochen-ambiciozny/>

было делать ровным счетом ничего, чтобы привлечь к себе внимание, поскольку авторитет его был высочайшим, а достижения — олимпийскими.

Впрочем, мой опыт общения с ним ограничивается двумя-тремя личными встречами и несколькими его публичными выступлениями. Не берусь судить, насколько в жизни он был не тем, кем казался со стороны. Во многом именно этому, при такой расстановке акцентов, и посвящена книга Пекуровской. Публикуясь в самых престижных западных изданиях и издательствах, будучи высокоценим в профессиональной среде, Бродский, как суперлитературная звезда, имел возможность одним телефонным звонком решать судьбы литераторов и их творений. Он восседал на Олимпе, писал пером, вырванным из крыла Пегаса, пил воду исключительно из источника Гиппокрена, но тем не менее ежедневно трудился над выстраиванием образа западного профессора-интеллектуала и реноме гениального поэта. При этом он имитировал массу внешних знаковых атрибутов начиная от одежды и привычек (к примеру, одевался, как Оден, и курил сигареты марки LM, как Оден; в беседе с В. Полухиной, фрагмент которой приводит Пекуровская: «Вы знаете, дело в том, что я иногда думаю, что я — это он (Оден. — А. П.). Разумеется, этого не надо говорить, писать, иначе меня отовсюду выгонят и запрут») до известной традиции ежегодно посвящать стихотворение Рождеству, которую перенял предположительно у обожаемого им Роберта Фроста.

В книге по-научному въедливо препарируется ряд текстов Бродского — с параллельно указанными заимствованиями, от Ходасевича, Мандельштама, Цветаевой до Джона Донна и современных, первого ряда, американских поэтов XX века.

Однако эта «предсказуемость» — никак не открытие из ряда вон. Опять-таки представление об интертексте, да и сказано об этом уже немало той же В. Полухиной: «Все, что было заимствовано из английской поэзии, это был образ романтического героя, Байрон... когда я у него спрашивала о влияниях, он говорил: „Навалом — и ни одного“. Когда я указывала на какие-то конкретные случаи, он говорил: „Валентина, посмотрите на Александра Сергеевича — он крал справа и слева и все делал своим“. Он знал себя хорошо. Он отказывался говорить о своих стихах, но прекрасно понимал, что делает, потому что ум у него был аналитический. И когда что-то у кого-то брал, он знал, для чего он это брал. Кроме того, не забывайте: он преподавал поэзию столько лет — это невозможно делать, не перенося на себя. И если вы составите список тех, кого он преподавал, это все поэты, родственные ему, поэты, у которых он чему-то научился и которым он благодарен. Будь то Рильке, Цветаева, Оден, Фрост, Харди. Это в каком-то смысле его поэтические родители».

Иными словами, ради того, чтобы скрыть от потомков некие литературные «заимствования», Бродский вряд ли запрещал бы открывать архив в ближайшие 50 лет. Как говорится, «секрет Полишинеля», и, видимо, проблема здесь в другом. Во время написания этой рецензии я побеседовал с поэтессой Мариной Темкиной, много лет лично знавшей Бродского и бывшей его неофициальным литсекретарем. По поводу «непредсказуемости» Бродского ее мнение совпадает с позицией Аси Пекуровской: «...„непредсказуемый“ — это частично его поза, претензия на исключительность, мифотворчество; частично его подростковая противительность, оппозиция, нонконформизм ко всему „принятому“. Я уже некоторое время обсуждаю эту проблему на конференциях. Он совершенно предсказуемый, если рассматривать содержание его наследия в перспективе этнической и гендерной идентификации, т. е. истории русского еврея и его семьи, и специфики творчества «белого» (очень хотел ассимилироваться в англо-саксонца) мужчины-европейца между войнами. Его поведение, творческое и человеческое, сформировано многочисленными стилистическими

и поведенческими образцами „отцов“. Бродский был ребенком войны, второй год жизни провел в блокаде, эта травма определяет его психику, выбор занятий и поведение. О Бродском вообще трудно говорить, потому что он „наше все“. Он диссидент и патриот, жертва режима и герой оппозиции, он и про Христа и еврей, и не просто, а мрамор эллинистический; он рыжий с логоневрозом и большим сердцем, тип вечного еврея-странника и неутомимый путешественник, международная знаменитость и уличный мальчик (спичку о подошву зажигает, „смолит“ как паровоз) и обедает „черт знает с кем во фраке“. Вообще, надо сказать, что советское „общество светлого будущего“ было сугубо патриархальным, все держалось на иерархии силы, власти „отцов“, и мифологизация творческих процессов — его неотъемлемая часть в романтизме, как и в модернизме. И Бродский как бы остался таким вечным „сыном“ всего этого....»

Судя по книге «„Непредсказуемый“ Бродский», этого и опасался великий поэт — того, что его сочтут «советским», потомком «отцов» в самых разных смыслах, несмотря на многолетние усилия быть и казаться/выглядеть по самым высоким западным образцам. Об этой «советскости» пишет в недавно опубликованных мемуарах «Без купюр» Карл Проффер, основатель издательства «Ардис» и многолетний друг Бродского в Америке. Прочитав заметки Проффера, Бродский приложил немало усилий, чтобы они не были опубликованы, пригрозил начать в противном случае судебный процесс, но в отличие от собственного архива не мог их после своей жизни к публикации запретить.

Например, в своих мемуарах Проффер пишет, что, общаясь с Бродским и интеллектуалами из его окружения, он был крайне удивлен неприятием ими как догмы главного постулата либерализма — о свободе слова. Таким образом, Проффер дает читателю понять, что во время политических дискуссий на российских кухнях имел дело с советскими людьми, в которых западное мышление и не ночевало. Да, они были «антисоветчиками», но, по сути, это было зеркальным отражением их «советскости». То, о чем писал Довлатов: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов».

Это никак не соответствовало тому образу, который Бродский тщательно создавал на Западе, отрешиваясь от своего имперства и «советского поэта» Евгения Евтушенко, замалчивая тему высылки в деревню Норенское, говоря о предотъездном письме генсеку, перейдя в немалой степени на английский язык в эссе и поэзии (всему, здесь перечисленному, Ася Пекуровская уделяет в книге внимание и посвящает отдельные главы). Столько десятилетий трудиться над имиджем, биографией, карьерой — и в результате узнать о провале отлично продуманного, уже при жизни единственно верного исторического плана. «Бродский был человеком с большими комплексами, неуклюжим, косноязычным, застенчивым, а потому — довольно высокомерным, — сообщает Пекуровская. — Если Довлатов чего-то не знал, он благодаря природному чувству юмора мог себя представить героем-неудачником. Для Бродского признать себя хоть в чем-то неудачником — большая трагедия».

Видимо, в этом и состоял главный «ночной кошмар» Бродского, связанный онтологически с андерсоновской притчей о «Голом короле». Никто не должен знать о том, о чем написал Проффер, никто в ближайшие 50 лет не должен проникнуть в архив, в котором — не в тщательно продуманных эссе, речах и выступлениях, а в частной переписке, «заметках на манжетах» и случайно вырвавшихся искренних репликах — могут обнаружиться многочисленные следы того самого Бродского, человека из убогого, задавленного несвободами имперского СССР, потомка еврея из местечка Броды.

Так подробно об этом, с фактами и свидетельскими показаниями, цитатами и логически выстроенными доказательствами, Ася Пекуровская говорит в бродсковедении, по-моему, впервые. «Бродский-мифотворец, кажется, сознательно направлял свои усилия к тому, чтобы расширить свою аудиторию, верно полагая, что она, скорее всего, клюнет именно на созданный им миф, нежели на «изысканную словесность», под которой он, не иначе как из мифотворческих целей, подразумевал только поэзию, — делает выводы Ася Пекуровская. — Ведь даже такие знатоки его творчества, как Лосев, Волков или, скажем, Гордин (автор предисловия к „Диалогам“), кажется, охотнее говорят не о феномене Бродского, поэта от Бога, а о мифическом персонаже энциклопедических знаний, афористичной и острой мысли, наконец, о создателе мифа о себе, т. е. обо всем том, что было учтено в ходе присуждения Бродскому желанной „Нобельки“».

В этом плане, очевидно, и надо рассматривать эпитет в кавычках «непредсказуемый» к фамилии поэта в названии книги. Он в немалой степени был создателем собственного успеха и был им избалован. Поэтому нетрудно предсказать, что, став суперзвездой среди западных интеллектуалов, самой главной его заботой при жизни, равно и в нобелианском бессмертии, было всему этому соответствовать. Прежде всего — образу либерала, что, судя и по заметкам знаменитой лево-либералки Сьюзен Зонтаг, посвятившей ИБ свой сборник «Под знаком Сатурна», не всегда Бродскому удавалось.

Как известно, Историю пишет последний. В своей тщательно прописанной истории Бродский хотел быть и первым, и последним. После него всем остальным «историкам» в праве на отделение зерен от плевел было отказано. Канонический образ был создан на века, и никто не должен восприятию этого образа помешать.

Предполагаю, что книгу Аси Пекуровской реальный человек и большой поэт Иосиф Бродский с радостью бы запретил, как и книгу воспоминаний Карла Проффера и же с ними. В этом плане нам всем повезло, поскольку сегодня мы можем представлять Бродского не только по той модели, которую он скрупулезно создавал, но и по тем книгам, которые показывают нам другого, «непредсказуемого» Бродского. А уже каждому принимать решение самостоятельно: иметь дело с тщательно охраняемым памятником или же с реально существовавшим человеком, у которого были не только потрясающие достижения, но и досадные промахи, не только уверенность в своей правоте, но и вполне объяснимые сомнения. Дело житейское, хотя в случае нобелевского лауреата Иосифа Бродского — никак не частное.

Геннадий КАЦОВ

ОН УМЕР С БИБЛИЕЙ В РУКАХ

Кантор В. Срубленное древо жизни. Судьба Николая Чернышевского.

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 528 с.

(Серия «Российские Прописки»).

Автор книги — либерал, но не ельцинско-чубайсовского разлива, а либерал подлинный, продолжающий М. Сперанского, Т. Грановского. И. Аксакова, В. Ключевского и других славных сыновей России, ее деятелей и мыслителей, романтиков и реалистов.

Время действия: от заката эпохи Николая I до правления Александра III. Живо, с опорой на документальные свидетельства воссоздается ситуация в стране, ког-

да литература была средоточием интеллектуальной жизни. Среди действующих лиц — извечные противники Тургенев и Достоевский, дерзкий Добролюбов, сумрачный Григорович, начинающий литератор Л. Толстой и многие другие писатели и мыслители, теперь глядящие на нас со стен вузовских аудиторий. И оценивающие нас. И, конечно же, среди них — один из главных героев того противоречивого, взрывоопасного времени: рыцарь русской мечты, увлеченный идеей строительства новой России, — Николай Чернышевский...

Книга читается как увлекательный роман, хотя в определенной мере продолжает недавние историко-философские труды автора: «Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса: К проблеме имперского сознания в России» и «„Крушение кумиров“, или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России)». Но на этот раз пространство концентрируется вокруг одной фигуры, казалось бы, давно известной. Ведь романом Чернышевского «Что делать?» зачитывался Ленин — и название романа давно перешло в разряд самых действенных слоганов революционной агитации. Ан нет!

Перед нами книга не о ниспровергателе устоев, атеисте и безбожнике, призывавшем Русь к топору, а о блестящем молодом «человеке свободы», верящем в реформы и отстаивающем эволюционный путь развития России. Эрудит, полиглот, заядлый книжник-идеалист и — отдавший приказ об его аресте император, оставшийся в русской истории как царь-реформатор, освободитель крестьянства: вот дружина и трагическое противоречие эпохи,двигающее сюжет этого «романа».

Переосмысление личности Чернышевского происходит в контексте суждений В. Белинского, А. Герцена, Н. Добролюбова, Ф. Достоевского, Н. Некрасова, В. Соловьева, В. Розанова и других философов и писателей. Живо, порой с юмором воссоздается литературная обстановка тех лет, когда (ныне забронзовевшие в школьных учебниках) классики весьма вольно обращались друг с другом. И здесь Кантору-писателю помогает собственный литературный опыт, позволяющий без розовых очков сравнить день нынешний и день минувший. Неожиданная подробность: Иван Тургенев, в своей пародии именовавший Достоевского «милым прыщом на носу литературы», высокомерно бросал Чернышевскому: «Вы змея простая, а Добролюбов — очковая». Но разве этими желчными сравнениями остался знаменит Тургенев? В сухом остатке истории Достоевский и Тургенев соседствуют на библиотечных полках, а произведения последнего непредставимы без блестящих статей его критиков — Чернышевского и Добролюбова.

Когда-то Герцен писал: социализм — вот тот мост, на котором западники и славянофилы могут подать друг другу руку. По меткому замечанию Вадима Кожинова, мост оказался шатким. Но в русском литературном пространстве, в Большом Времени и западники, славянофилы идут вместе. Именно к такому выводу подводит новая книга Владимира Кантора.

Пространство ее письма многообразно и информативно: насыщено фактами, именами, датами. Автору удалось избежать обычного для такого рода книг греха — «голой» цитатности. Даже в цитатах мы ощущаем присутствие его литературного почерка. Мировоззренческие и философско-литературные оценки эпохе личностям и судьбам неотделимы от детально прописанной биографии. А это — и детство на Волге в семье отца-священника, и семинария, и Петербургский университет, и неожиданный брак с эффектной Ольгой Сократовной, и литературная деятельность в журнале «Современник», и защита диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», и арест за вольнодумство как ментальное преступление, и написание в Петропавловской крепости романа «Что делать?»...

В противовес герценовскому «Кто виноват?» о разрушенных судьбах русских в центре «Что делать?» — идея духовной полноты. Новые люди Чернышевского, хотя роман его «полон несчастий и бед, траура и печали... тем не менее „счастливые люди“, как их называл Николай Страхов». Знаменитые сны Веры Павловны, хозяйки трудовой артели, воплотили мечту автора, который «хотел в крепостной стране ввести освобождающие человека буржуазные структуры». Увы, улы — идея свободного труда образованщиной того времени была воспринята по-своему.

Ценой невероятной популярности романа «Что делать?» стала... вульгаризация его идей в целях политической борьбы. Вопрос «что делать?» не привыкшая к труду публика поняла как «призыв к революционному действию — стрелять и взрывать». Не понято было и то, что идея свободы сочетается в романе с христианским либерализмом.

Мы привыкли видеть Чернышевского в ореоле негибимой жесткости Ленина или Дзержинского. Но его понимание свободы было иным. Как пояснял он в переписке с Некрасовым: «В том и состоит свобода, чтобы каждый делал то, что требуется его натурой». Свобода понималась Чернышевским не как революционное насилие, но — состояние человеческого духа. Вспомним, что вопрос «что же нам делать?», адресованный народом Иоанну Крестителю, встречается еще в Евангелии. Введенный же в подзаголовок романа концепт «новые люди» впервые появляется как именование христиан в «Повести временных лет».

«Прекрасное есть жизнь!» Отстаивая Жизнь Духа как высшую христианскую ценность, бывший семинарист и потомок священников Николай Чернышевский через собственную жизнь и судьбу пронес идею действенности православия и умер с Библией в руках. Редкий снимок успения Чернышевского с Библией в руках, присланный Владимиру Кантору из волжского музея, неопровержимо доказывает этот вывод писателя.

Алла БОЛЬШАКОВА

ФАЛЬШИВЫЕ НОТЫ — ВНЕ НАС И ВНУТРИ

Франсуа Деблю. Фальшивые ноты. Перевод с французского Николая Бокова. СПб.: Алетейя, 2017.

Писатель и философ Николай Боков, живущий в Париже, перевел книгу швейцарца Франсуа Деблю, о котором в предисловии «От переводчика» сказано совсем немного. Родился в 1950-м в Монтре на Женевском озере, месте, где 17 лет жил и где умер Владимир Набоков. Отец Франсуа был музыкантом, дядя — известным швейцарским писателем, сам автор «Фальшивых нот» имеет на счету 40 книг, среди которых исследование о Рембрандте. Вот и все.

Но понятно, что Боков не случайно взялся за перевод книги своего швейцарского коллеги. Они на удивление похожи. Об этом Боков сам пишет в том же предисловии: «Читая книги Франсуа Деблю, я почувствовал родство: склонность к афористичности, парадоксу, умеренной иронии, надежда на великое „там и потом“, пристальное внимание к сочному эпзоду жизни, — это все мне близко». Эта редкая близость ощущается и теми, кто знает творчество Бокова. В свое время я писала рецензию на его книгу «Фрагментарий». В сущности, у нее точно такая же жанровая форма, как и у «Фальшивых нот».

То же неспешное высказывание, часто философическое. Размышление, вызванное каким-то жизненным эпизодом, впечатлением, пейзажем. Та же размеренность, неторопливость, что в наш скоростной век даже как-то озадачивает. Человек дает себя волю размышлять, откликается на мелочи, фиксирует пришедшую в голову мысль... Похожа и структура. Это фрагменты, мало связанные друг с другом. Посему у книги нет какого-то одного «содержания», нет в ней ни завязки, ни развязки, ни кульминации. Можешь читать хоть с конца, хоть с середины. В принципе ничего особенно нового. Такое мы читали у Василия Розанова («Опавшие листья»), Юрия Олеши («Ни дня без строчки»), Михаила Булгакова («Записки на манжетах»). Назову и любимого мною Сергея Голлербаха, великолепного американского — с русскими корнями — жанрового художника, а также мастера миниатюрных эссе.

У Деблю и Бокова есть и различия. У второго в текстах больше личного, сокровенного. Есть в «Фрагментарии» некая жизненная линия, которая не теряется за другими фрагментами; это история дочери Маши, девочки-инвалида. Параллельно, и тоже в отстоящих друг от друга фрагментах, рассказывается о Бернадетте Субиру, лурдской святой, которой являлась Дева Мария. Рассказы о двух юных существах переплетаются, тем более что Машу возили на излечение в Лурд, к святому источнику. Отдельные фрагменты книги Бокова посвящены его «пощению», многолетнему подвигу странничества и аскезы, отказу от жизненных благ и удобств. Две эти темы безусловно составили некую основную канву книги, их продолжения ждешь.

У Франсуа Деблю тоже есть несколько тем, которые встречаются на протяжении всей книги: впечатления от городов в разных европейских странах, суэта внешнего, клирикалы, забывшие о сути религии, впечатления от книг, ужас возможной войны, а еще — фальшивые ноты, которые автор «слышит», как сказано в эпиграфе, «не только в себе, но и вокруг». Эти фальшивые ноты и дали название всей книге. С них я и начну. Ведь в самом деле интересно узнать, что мешает жить писателю-философу, обитающему в благословенном уголке Европы. Что заставляет его морщиться?

Извольте.

«Желание (любви, денег, славы) удовлетворено; скоро оно возрождается вновь, и так до смерти.

„Дон Жуан“ Моцарта кончается лишь на последней ноте — на протяжном хрипе: самая главная фальшивая нота истории.

* * *

Работа ночных рабочих. Шум лопат и метел. Фальшивые ноты.

* * *

Нескончаемые фальшивые ноты: уличные сирены (в Нью-Йорке. — И. Ч.) Их рев ввинчивается в пролеты между зданиями...

* * *

„Фальшивые ноты“: мои последние отступления».

Впечатляет диапазон «фальшивых нот» — от «главной фальшивой ноты истории», предсмертного хрипа Дон Жуана, через фиксацию ужасающих шумов во время ночных работ в городе и полицейских сирен в Нью-Йорке — к констатации частичной негодности своей писательской работы. Поистине: ищи фальшь не только вокруг, но и у себя.

Любители афоризмов найдут в книге Франсуа Деблю замечательные образчики отточенного парадоксального или острого высказывания:

Нужно иметь смирение, чтобы признаться в своей гордыне.

Подлинный авторитет не авторитарен

От почтенности у него был только возраст.
 Они говорят «плохо шито» о том, что шито не по их меркам.
 Низость не имеет степени.
 Есть лица, которые сами по себе — довод против.
 Быть человеком: сознавать себя пассажиром Времени.

Но лично мне больше по душе лапидарные философские размышления, в которых отражается личность писателя — его наблюдения, вкусы, страхи, обыкновения.

Вот одно из наблюдений, которое показалось мне очень глубоким:

«Какой-нибудь биограф постепенно узнает столько о своем „герое“, сколько тот никогда о себе не знал. Но есть также и такие истины — скрывшиеся или спрятанные, — каких исследователь не откроет, поскольку ничто и никто — ни документ, ни свидетель — не сохранили о них никакого следа».

Как верно сказано: «ни документ, ни свидетель». Далеко не все задокументировано, и часто человек остается наедине с собой в отсутствие свидетелей. И кто может сказать, какие мысли приходят тогда в его голову, какие чувства им владеют?! Плох биограф, который думает, что, имея документы, легко может справиться с задачей. И как правы те, кто, подобно Тынянову, порой строят биографии своих реальных героев, исходя из интуиции...

Вот еще одно маленькое размышление, которое многим покажется очень верным, приложимым к ним:

«Имя нечто большее, чем название, предшествующее социальному имени, „фамилии“.

Имя — уникальное наименование в детстве. Оно дает основание нашей самости — более чем принадлежность к такому-то клану».

Выделила здесь для себя «в детстве». Ведь именно в детстве мы осознаем свое имя и учимся его называть, тогда же мы, как Иосиф в романе Томаса Манна, погружаемся в глубокий колодец памяти поколений, находя в нем все новых и новых носителей своего имени. Их много, но они не я, мое имя определяет меня как единицу и в то же время говорит о моей принадлежности к человеческому роду, к определенной нации, к определенной эпохе...

А вот интересное рассуждение о Швейцарии:

«Я живу — случайность рождения — в мозаичной стране, которая превращает все, что в ней делается, в нечто малое, вторичное, второго плана. Здесь иного плана и нет. Возможно, это достоинство этой страны. Ничего капитального. Провинциальный профессор, киношник, художник, провинциальный писатель. Влюбленный из провинции.

И если в порядке исключения тот или другой выходит за ее пределы, то потому, что другая страна дает ему понять: эта провинция не хуже всех остальных».

Удивительная характеристика! Если вы, дорогие читатели, думали, что Швейцария — это природный рай, приют банкиров, держащих под контролем весь финансовый мир, свободолюбивая республика, придерживающаяся вечного нейтралитета, страна с четырьмя официальными языками, проводящая референдумы по всякому поводу, например, стоит ли правительству выплачивать каждому швейцарцу ежемесячный гарантированный доход, то, прочитав этот фрагмент, вы призадумаетесь... Оказывается, для швейцарского писателя и философа самое важное — это то, что Швейцария — провинция Европы, страна «второго плана».

И знаете, может быть, он прав? Ведь вон сколько писателей «кончали» в Швейцарии свои дни, не считаясь швейцарскими авторами, — тут и Эрих Мария Ремарк,

и Набоков, и Герман Гессе, и Ирвин Шоу, и Генрик Сенкевич, и Томас Манн, и Джеймс Джойс, и Грэм Грин, и Роберт Музиль, и Жорж Сименон...

А кто здесь начинал? Начинали единицы.

Вспоминаются только Жан Жак Руссо, родившийся на берегах Женевского озера, но в итоге ставший французским писателем и мыслителем, ну и Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт, двое истинно швейцарских авторов.

Для «провинциального писателя», живущего в нейтральной стране, Франсуа Дебю подозрительно много думает о войне и ее носителях. Вот выписываю:

«История (человеческая) войн сделана из забвения предшествующих войн — и из злой памяти. Ее абсолютный ужас забывается, и помнятся лишь ужасы, требующие отмщения, — задеты честь и интересы.

Насилие не имеет конца».

* * *

«Парадокс войны: часто ее начинает страх.

Враг тот, кого боятся. И чтобы не бояться, нападают».

И еще вот этот фрагмент, кажется, отвечающий на вопрос: почему о войне?

«В тишине самой полной, когда он, пройдя пешком час или два, воображает себя удалившимся от людей и от всего, — одинокому путнику мирных швейцарских троп обязательно достанется услышать гром пушек, далеких очередей пулеметов и нервных пролетов военных самолетов».

Не уверена, что насилие здесь не метафизическое, не навеянное чтением газет, и, однако, смысл этого высказывания понятен: уйти от угрозы уничтожения, от призраков войны невозможно.

А вот о «профессионалах войны» в мирное время, об инструкторах, готовящих граждан к кризисам, катаклизмам и катастрофам:

«Для них ужас — рутина. Каждую неделю и месяц, перед новой публикой они повторяют все те же ужасы, изображают все те же катастрофы. План неизменен, как и выбранный для примера городской квартал. Вот здесь столько-то раненых, там столько-то обгоревших, столько-то разрушенных зданий. Послушать их — они испытывали все, о чем говорят».

В конце этого фрагмента автор подводит некий важный итог:

«Я всегда спрашивал себя, грешат ли они из-за избытка или недостатка воображения.

Все чаще мне кажется, что верно второе предположение...»

Парадоксальным образом «профессионалы войны» сближаются в сознании автора с религиозными проповедниками. Именно с теми, кто не видит за словами молитвы ее человеческого содержания, превращая церковную службу в «невыносимый театр»:

«Хотелось бы только, чтобы они немного понимали тяжесть вверенных им слов... чтобы они немного уважали смысл и вес, отдавали себе отчет — без пафоса, с минимумом смирения — о серьезности, богатстве и лучистости слов, которые им предстоит произнести...

Конечно, трудно быть профессионалом молитвы. Еще труднее — профессионалом благодати. (И — неожиданный конец, заставляющий задуматься о связи религии и искусства.) Это хорошо знают музыканты, поэты, танцоры».

Книга небольшая, но сколько же в ней того, что хочется цитировать. Вот, например, в одной фразе об итальянском городе (а вообще «впечатления» о городах Европы разбросаны по всей книге):

«Турин. Гений народа в чашечке кофе».

Или о бессоннице, как видно, постоянной ночной спутнице автора:

«Бессонница: особый случай нашего отношения к ночи. А сам он — особенность нашего отношения ко Времени...»

* * *

«Спать: вступить в брак с наступающей ночью. Согласиться с ночью».

Или о музыке: «Огромная власть определенной музыки. Внезапно толпа встает, аплодирует, поет, волнуется, ревет, раскачиваясь ритмично; она в трансе, готова на все — и доброе, и дурное...»

Мне это напомнило толстовские рассуждения о музыке в «Крейцеровой сонате». Конечно же, наш Лев Николаевич, кстати говоря, автор рассказа «Люцерн», написанного по швейцарским впечатлениям, Франсуа Деблю хорошо знаком. И свидетельство тому — его книга.

В ней среди упоминаний имен множества писателей — от Данте до Селина — можно встретить и русских: Толстого, Достоевского, Розанова, Ахматову, Андрея Тарковского.

А под конец мне хочется привести максимум швейцарца, которая страшно мне напомнила одно поразительное место из статьи Блока «Интеллигенция и революция».

У Деблю высказывание звучит так:

«Ждать всего от жизни: конечно, безумие.

Но как жить с меньшим?»

А вот у Блока: «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна».

Наверное, кто-то обвинит обоих авторов — швейцарца и русского — в идеализме, романтизме, отрыве от реальности. Для меня же оба эти высказывания звучат как мелодия, в которой нет ни одной фальшивой ноты.

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

РОДОМ ИЗ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Анастасия Ермакова. «Серьезней последней молитвы»: особенности поэтики Надежды Болтянской. — М.: ИПО «У Никитских ворот», 2017. — 160 с.

Книга прозаика, критика, заместителя главного редактора «Литературной газеты» Анастасии Ермаковой посвящена творчеству московской поэтессы Надежды Болтянской (1963—2015). В ноябре этого года в Малом зале ЦДЛ состоялась презентация издания, на которой присутствовали как родные и друзья Надежды Болтянской, так и поэты, прозаики, критики, представители различных литературных СМИ. Собравшиеся обсуждали вышедшую книгу Ермаковой, творчество Болтянской в целом, говорили о развитии современной поэзии. Отмечалось, что книга написана доступным живым языком и будет интересна не только специалистам, но любому человеку, ценящему стихи, что выгодно отличает ее от множества аналогичных изданий. Как заметила Эмилия Викторовна Болтянская, работа Ермаковой дает полное представление о творчестве ее дочери, отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть во время чтения или при обсуждении стихов Надежды. По ее словам, даже для нее явились откровением разбор и трактовка некоторых стихотворений Болтянской, показанных совершенно в ином свете.

Заслуживает внимания и тот факт, что книга написана человеком не только опытным и искушенным в литературных делах, но и равнодушным. Не будем за-

бывать о том, что сама Ермакова, окончившая Литературный институт, первоначально училась на семинаре поэзии и лишь потом перешла на прозу. И хотя в настоящее время она известна как прозаик, периодически у нее публикуются стихи и выходят небольшие поэтические сборники. Поэтому вместо сухого литературоведческого разбора стихов Болтянской автору удалось создать достаточно любопытное произведение. Это, в общем-то, книга поэта о поэте, а такие издания всегда отличаются эмоциональностью, сочувствием к предмету исследования и своеобразным взглядом на вещи. При этом ни в коем случае нельзя сказать, что это растянутое на 160 страниц лирическое эссе. Ермакова добросовестно разбирает технику Болтянской, образы, говорит о мироощущении поэтессы, объясняет и комментирует многие ее тексты, ищет и находит параллели с творчеством других авторов.

В книге шесть основных глав: «Родом из Серебряного века», «Видеть стержень созиданья: мироощущение как основа построения образов», «Метр, ритм, композиция», «Система образов. Часть 1», «Система образов. Часть 2», «Посвящения друзьям и близким». Уже по названиям можно, наверное, судить о том, сколь скрупулезно подошла Анастасия Ермакова к задаче, стоявшей перед ней. В предисловии она сообщает: *«Разумеется, некоторые моменты этой книги могут показаться спорными. Но, во-первых, в споре рождается истина, а, во-вторых, разговор о Болтянской на этом не заканчивается. Он только начинается. И будет любопытно впоследствии взглянуть на работы других исследователей, которые станут рассматривать творчество этого поэта под иным углом, в ином ракурсе...»* Также Ермакова добавляет в «Заключении»: *«Следует отметить, что настоящая работа — не научное исследование в буквальном смысле этих слов. Книга рассчитана на широкий круг читателей и любителей поэзии... Тематические главы — не прихоть, но необходимость. Каждая из глав несет определенную информацию и может претендовать на статус отдельной статьи...»*

Ермакова убеждена, что Надежда Болтянская — поэт не просто талантливый и замечательный, но и значительный. *«Стихи ее живы, востребованы и еще не раз будут воспроизведены в том или ином виде, — будь то публикация в литературном издании, отдельная книжка или коллективный сборник»,* — утверждает она. Одним из главных достоинств поэзии Болтянской она считает честность, искренность, отсутствие наигранности, искусственности, той самой литературщины, свойственной исписавшимся авторам: *«Настоящая поэзия — это стихи и только стихи. Это внутренний мир автора, который он отразил в своем творчестве. И чем разнообразнее этот мир — тем богаче и ярче будут стихи, тем зримее будет вырисовываться в них картина мироздания. Болтянская всегда стремилась к тому, чтобы как можно полнее отразить в творчестве свой внутренний мир, рассказать обо всех своих чаяниях, волнениях. В этом она была, безусловно, верна заветам классиков. И это, конечно, помогало ей творить настоящую литературу, хотя она и оставалась вдалеке от шумных событий современного литпроцесса».*

Проследивая «родословную» Надежды Болтянской, Ермакова приходит к выводу, что истоки ее поэзии находятся в Серебряном веке. Не случайно же так называется и одна из глав книги — «Родом из Серебряного века». И это крайне удачное и точное наблюдение. Ермакова находит знаковые параллели в творчестве Болтянской и Анненского, Болтянской и Блока, обнаруживает вольные или невольные переключки Болтянской с поэтами прошлого. Однако отмечает, что разговора о подражательстве быть не может: *«...надо признать, что Болтянская очень близка к школам символистов и акмеистов. Вероятно, к символистам она ближе. Но это вовсе не говорит о том, что она сплошь и рядом писала только в русле этих школ. Скорее вышла она, как поэт, из той эпохи, из той стилистики... При этом ее никак не назовешь*

подражательницей. Она как раз продолжательница славных традиций вышеупомянутых школ». И еще: «...речь, повторимся, идет не о стилизации, но о своем стиле. Болтянская совершенно самостоятельный поэт со своим мироощущением, излюбленными приемами и, разумеется, со своей интонацией...»

Ермакова не видит явных точек соприкосновения у Болтянской с советскими поэтами, но объясняет, почему же Надежда не была оценена при жизни, в новых реалиях и в свете изменившегося взгляда на литературу. Это и природная скромность поэтессы, выражавшаяся в том, что она не умела и не хотела навязывать кому-то свое творчество, и тяжелая болезнь, из-за которой не было возможности активно участвовать в литературной жизни, ходить на мероприятия и выступать, и просто боязнь получить негативные отзывы в сетевом пространстве. Дело в том, что Болтянская, как человек чрезвычайно ранимый, не заводила аккаунтов в социальных сетях и не публиковала там стихов, поскольку знала уровень культуры общения в Интернете и понимала, что ей не избежать нападков, колкостей, оскорбительных комментариев от невменяемых личностей. Это может показаться странным, учитывая тот факт, что трудно сейчас найти человека, который не имел бы хоть одной странички на том или ином сайте в Сети. Но в книге и подчеркивается, что поэт — существо особое, он живет только по собственным правилам и мало думает о личной выгоде.

В чем же основная идея данной книги? Ермакова объясняет так: *«Наше время, к сожалению, не способствует тому, чтобы народ читал стихи и интересовался новыми именами... Общество потребителей не особо нуждается в духовной пище. Но это не означает, что нужно прекращать разговор о поэзии. Тем более если есть интересные объекты для такого разговора. Эта работа нужна не Болтянской, она нужна прежде всего нам, ценителям и хранителям прекрасного, тем, кто знает цену Слову».* Здесь особо и не поспоришь. Что ни говори, а от настоящих стихов мы понемногу начинаем отвыкать, часто принимая за них суррогат, разрекламированный и проталкиваемый обросшими мхом «мэтрами». Именно потому и нужны такие книги, в которых непредвзято говорится о современной поэзии, рейтинги которой, увы, давно уже зависят не от читательских предпочтений или мнения независимых экспертов, но от литературных группировок, назначающих гениями и властителями дум людей из своего круга. Доживем ли до той поры, когда поэта будут ценить за его стихи, а не за принадлежность к литературным кланам? Трудно сказать наверняка, но надеяться на это стоит.

Игорь ПАНИН

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Ирина Чайковская. Афинская школа. СПб.: Алетейя, 2017. — 320 с.

Ирина Чайковская, писатель, преподаватель-славист, ныне живущая в США, во время перестройки работала в одной из московских школ, и первые три повести: «Московская баллада», «Убить Мармеладова», «В неведомую глубь» — появились на основе ее личного опыта. «Формально, — поясняет она, — все они касались школы, но только формально, на самом деле речь в них шла о времени и о его сложных коллизиях, ставящих перед людьми — юными и зрелыми — свои трудно-

разрешимые вопросы». Многие проблемы, поднятые в повестях, вневременные. Например, нравы в учительской среде: внутришкольные интриги, система выживания, когда главное — личная преданность авторитарному директору, иначе тебя всегда можно обвинить в профнепригодности, и тогда только два выхода: уйти из школы добровольно, как делают героини И. Чайковской, или по статье. Вникнуть в сложный мир юного человека (а герои повестей — старшеклассники), часто нет ни времени, не желания. Непреодолимая стена непонимания существует между учителями, даже самыми чуткими, и учениками, между родителями и детьми: потоки их жизней расходятся. У них разное мышление, оценки, тревоги. Непонимание мотивов поведения подростков, неверно истолкованные их поступки, приводят взрослых к неверным выводам, неправильным реакциям, конфликтам. Смутное время перестройки накладывает свой отпечаток на неоформившееся сознание юных. Так, общественные дискуссии времен перестройки: о сталинских репрессиях, о национальном вопросе, о фашизме — находят отражение в дискуссии на уроке, посвященном роману Достоевского «Преступление и наказание». Можно ли убить «вредную» старушку, никчемного пьяницу Мармеладова? Кто-то из школьников «прикалывается», кто-то рассуждает на основе собственного небогатого опыта, поверхностных знаний истории древней и новой. Большинство дает положительный ответ. Рефреном через все три повести проходит «национальная тема» в ее «еврейском варианте»: вспышки антисемитизма в стране, листочки в почтовых ящиках и звонки с угрозами с призывами убраться в Израиль, марши юных «борцов» за «Россию для русских», в которых участвуют и любимые ученики, посягательства на жизнь конкретных людей. «Жуткая картина одичания. Смутное время, непонятное, страшное. И все вокруг говорят: надо бежать. И рада бы бежать, да некуда. Здесь, в этой чудовищной стране, мое все. И во всякой другой — даже благополучной, даже сверхцивилизованной, — будет мне худо, неудобно и чуждо», — размышляет одна из героинь повестей. Вопрос национального самоопределения остро встает перед детьми, узнающими, что у них есть еврейская кровь. И тоскует девочка Оля: «дядя Гриша тоже не прав, что разрешает детям уехать: кто же тогда останется, если все уедут? Я уверена: мы нужны этой стране так же, как она нам. Я не хочу, как те испанские евреи, быть вытолкнутой из страны, оставить родину — и всю последующую жизнь тосковать по ней. Но я не хочу чувствовать себя в моей стране без вины виноватой» («Убить Мармеладова»). Та же проблема встает перед Геной Корсаковым, среди предков которого и русские дворяне, и евреи: «А кто же здесь останется, если я уеду?.. Как мне представить, что я наполовину еврей? Как отделить одну половину от другой, и какая из этих двух половин, двух кровей, лучше? Очень просто: лучше та, в которую не стреляют. Так? А может, наоборот?» («В неведомую глубь»). У взрослых — проблемы отъезда из страны, туда, где будет лучше детям. У детей — параллельная насыщенная жизнь: зарождение юной чистой любви, любовные треугольники, светлые, едва намечающиеся романы и дешевые тусовки, где пьют и занимаются неумелым подростковым сексом во временных пристанищах. В повестях достаточно личных драм, трагических эпизодов, любовных историй. Повести различны по форме. «Московская баллада» — монолог закомплексованной сорокапятилетней учительницы английского языка, вынужденной уйти из школы и занимающейся репетиторством. В повести «Убить Мармеладова» рассказчиками поочередно выступают учителя и дети, высказывающие разные точки зрения на одни и те же события. «В неведомую глубь» — дневник суицидально настроенного подростка, надиктованный им на кассету. Завершает сборник повесть «Афинская школа» (СПб, 2013). Героиня ее — учительница Кира (та Кира из пер-

вой повести, что вынужденно уехала из России?), преподающая в Америке русский язык на дому. Среди ее учеников люди разные по возрасту, национальностям, судьбам. Связь с первыми повестями, где герои находят испанский след в своих родословных, есть: изгнанные в XV веке из Испании евреи осели в Голландии. Но и там не забыли своей родины, по вечерам сходились и пели испанские романсы, по крупницам собирали древние тексты и издали в Голландии книгу испанских песен-романсеро. Так и героиня И. Чайковской Кира дарит новым согражданам сокровища русской культуры: «Грузинскую песню» Булата Окуджавы, незаконченную поэму Пушкина «Египетские ночи», наследие Каролины Павловой, русские народные песни... Как и сама Ирина Чайковская, главный редактор журнала «Чайка», который постоянно следит за российской литературой и по ту сторону океана.

Александр Долгов. Рижский клуб любителей хронопортации.

Повесть и рассказы. СПб.: Геликон Плюс, 2017. — 320 с., ил.

Фантастическая повесть, где главная сюжетная линия — перемещение во времени с целью спасения Виктора Цоя. Спасателей двое: студент исторического факультета СПбГУ, по совместительству подрабатывающий внештатным корреспондентом в журнале «Fuzz» и страстный поклонник группы Эмерсона ELP рижанин Шульц. Обоим по восемнадцать лет. Правда, оба прибыли в чуждое для них пространство и время и из разных эпох. Первый — из начала XXI века, второй из 70-х годов века прошлого. Рассказ ведется от лица студента, получившего однажды из далекого будущего интернет-послание от самого себя, в котором ему предлагалось совершить прыжок во времени, отправиться в прошлое, в 1990 год, чтобы попытаться спасти Виктора Цоя, погибшего в автокатастрофе, а может быть, и родителей, летевших на сбитом над Черным морем самолете из Израиля в Новосибирск. Даны необходимые инструкции, прописан алгоритм действий. Остроумно, «отправитель на полном серьезе сообщал мне о существовании портала времени, якобы находящегося в мужском туалете ресторана «Рига» в одноименной гостинице одноименного города». Герои книги — музыканты, музыкальные журналисты, фанаты и меломаны, персонажи вымышленные и реальные. Среди реальных: известный рок-н-рольщик по прозвищу Пиночет, человек из ближайшего окружения В. Цоя, поддерживавший отношения с Цоем со времен, когда тот только начал писать свои первые песни и вплоть до самой смерти музыканта. Последний раз он виделся с Цоем 13 июня 1990 года в гримерной перед концертом группы «Кино» на стадионе «Даугава» в Риге; сам Александр Долгов, с 1991-го по 2008 год бессменный главный редактор культового журнала «Fuzz», отправляющий уже в наше время главного героя в командировку в Латвию, чтобы тот, талантливый журналист, толерантно относящийся к разновозрастной рок-музыке, подготовил материал о последних днях Виктора Цоя. И рок-звезда, солист группы ELP Кит Эмерсон, фанатом которой был юный Шульц в 70-е годы и на концерте которого в начале XXI века побывал рассказчик. Основное действие разворачивается в августе 1990-го, события вымышленные переплетаются с реальными. Происходит смешение времен, рассказчику предстоит встретиться не только с Виктором Цоем, но и с молодым отцом, и с самим собой двухлетним, побывать и на последнем концерте Цоя, и на месте его гибели, на злополучном 35-м километре трассы Слока—Талсы, где произошла автокатастрофа. Замечательна Рига разных времен. Начала XXI века: почти безлюдная будничным вечером, но очень опрятная, полная скверов и парков, со зданиями

в стиле модерн на центральных улицах и контрастирующими с ними редкими двухэтажными облупившимися деревянными домами. Рига 1990 года: «город ожил, людей на улицах стало гораздо больше, все куда-то спешили: должно быть, на работу, весело трезвонили трамваи, битком забитые пассажирами, нещадно чадили выхлопными газами неповоротливые „Икарусы“, на дорогах поубавилось легковых машин. И — о чудо! — я не увидел ни одной иномарки. Да, это был гимн отечественному автопрому — сплошные „Волги“, „Жигули“, „Москвичи“...» И Рига средневековая, о которой рассказывает своему спутнику молодой Шульц, будущий историк, уже с юности мечтающий закончить труд автора «Хроник Ливонии» — Генриха Латвийского, личного летописца епископа Альберта. У героев возникает желание совершить прыжок во времени в средневековую Ригу, останавливает одно: как попасть туда, они знают, но вот как выбраться обратно? Будет ли там столь нетривиальный «портал» для путешествий во времени? (Похоже, в планах автора путешествие в средневековую Ригу есть.) Смещение времен — это и знаковые артефакты, «мигрирующие» из эпохи в эпоху: виниловая пластинка с записями группы «Vanilla Fudge», журнал с портретом Виктора Цоя на обложке, фотоаппарат «Полароид», мобильный телефон, МРЗ-плеер; это и метаморфозы с деньгами: рубли, доллары, латы. И через все времена проходит трепетная любовь поклонников рок-н-ролла к своим кумирам, потому что музыка — тоже очень важный герой этой книги. Удалось ли спасти Цоя? Ответ негативный: прошлое изменить невозможно. В книгу также вошли другие произведения автора, ранее не издававшиеся. И снова музыка, рок-н-ролл определяет судьбы героев: женщины, которой не везло с мужчинами, бывшего металлиста, курсанта военного-морского училища, создателя собственной группы «Рифы», ставшего священником.

Александр Раков. Монашеское царство. Письма-откровения. СПб., 2016. — 255 с.

В основе книги переписка двух зрелых людей, очень разных — по избранному служению, жизненному опыту, характеру. Александр Раков — профессиональный журналист и писатель, многолетний редактор всероссийской газеты «Православный Санкт-Петербург» и четырех ее дочерних изданий. На нем — огромный груз ответственности, он в постоянной нервоотрепке: финансовые проблемы газеты, проблемы ее распространения, кадровая текучка, гонения за не понравившуюся кому-то статью. У него — колючий характер, он нетерпим и нетерпелив. Она монахиня, готовая к бесконечному терпению и бережному вниманию, с 1989 года насельница Пюхтицкого женского Успенского монастыря, живущая в строгом и размеренном монастырском ритме, в отсечении своей воли, в благоразумном уклонении от впечатлений внешней жизни и лишних контактов. Пребывание в уникальной «обители любви» и красоты, основанной в 1891 году на месте, где в далеком XVI веке произошло чудесное явление Божией Матери, а затем иконы Успения, отложило отпечаток на ее мировосприятие, отразилось в ее стихах. «Царицы Небесной избранный удел, // Преддверье небесного рая, // И счастлив, кто здесь помолиться умел, // К иконе святой припадая». Со стихов талантливой поэтессы, посланных в газету и напечатанных там, и началась дружба и переписка, оживленный обмен мыслями и духовными впечатлениями двух столь разных людей. На страницах книги отражены будничные заботы обоих корреспондентов, у каждого немалые. И если редакторские тяготы очевидны, то и монашеские обязанности, послушание не прерываются ни на один час. А. Раков едва ли не в каждом письме рассказывает о своих болезнях, пи-

шет много и о семейных неурядицах. Монахиня Н., согласившаяся на публикацию своих писем, но не благословившая открывать свое имя, о себе пишет скупое, в основном размышляя о проблемах духовных, о смыслах монашества в прошлом и настоящем, о смыслах молитвы, о покаянии, о Боге и путях человека к нему. У ее собеседника сложное отношение к Церкви, к молитве, к посещению храма, к духовникам, к церковнослужителям. «Официальной Церкви ничего не надо, там одна показуха и лизоблюдство, да заигрывание с Западом. По-настоящему горящих православных людей почти нет. Ходим, молимся, пишем что-то, а придет антихристово время, много ли нас останется на Кресте?..» — пишет он. Оба порой критически отзываются о батюшках. Тема актуальная, неоднозначные оценки церковной деятельности и церковников бытуют в общественном сознании. На все сомнения, свои и своего собеседника, монахиня Н. ищет и, пожалуй, находит убедительные ответы. Все люди, и батюшки тоже. «Тоже ведь обычные люди, грешные, разница — что Богу служат, у Престола стоят. А грехи-то у всех есть». И святые имели недостатки, замечает она, без недостатков только Господь. «Церковь прекрасна, она воистину Невеста Христова, — утверждает она. — В любой храм входишь — и удивляешься его красоте. Каждый храм содержит в себе сокровища безценные, каждый храм Дом Божий». Без церкви нет спасения, считает она. Она призывает не трактовать православных христиан узко, в том числе и монахов, отличать схоластические табу от истинного служения Богу. Не страх, но любовь, свободный выбор человека, который предоставляет ему Бог, дает возможность попасть в Царствие Божие. «Здесь, на земле, Господь дает нам полную свободу даже Его, Творца, не признавать. Мы свободны выбрать — и спасение, и погибель. Ничего не стоит Богу всех нас в один миг сделать святыми, но Ему не нужны святые, сделанные насильно. Он любви нашей хочет, нашего сердца, нашего свободного выбора. И жизнь эта — место, где мы выбираем свою вечную участь. Чем мы здесь живем — с тем и туда последуем. Скучно Вам здесь в Церкви стоять — скучно и в Раю будет». «Господь ищет свободного сердца, к Нему повернувшегося, а не мрачное, исковерканное махровым фарисейством подобие веры, в которой духа Божия нет». Рассуждения монахини Н. не абстрактные сентенции, а всегда реакция на конкретные житейские обстоятельства, в ответ на сетования своего собеседника она предлагает православное понимание вопроса. И если сотрудник проворовался, то надо помнить, что человек слаб. «И в каждом круге людей есть свой маленький Иуда, я где-то читала. Это правда. Уж если Господа предали, неужели нас обойдут! Это неизбежно. Вы-то просто сотрудники были, а ведь даже духовных отцов во времена репрессий духовные чада предавали, доносили на них, потом сами же каялись, плакали, тут уж даже не денежный интерес был, а просто непонятно какой». На протяжении всей книги идет «врачевание любовью» (так назвала свою вступительную статью к книге кандидат искусствоведения О. Сокурова), для «пациента» А. Ракова переписка оказалась душевно полезной. Монахиня Н. знает, что «человеку высказаться всегда нужно, а понимальщиков мало, считай, нет», своего собеседника она пытается понять, а не навязать ему свои убеждения. Драгоценный и необходимый опыт труда души и духа, представленный в книге, может оказаться душевно полезным для нашего современника, чей внутренний мир задавлен внешней суетой. «Жизнь непонятная, // Сложная, грешная. // Милостив Бог наш — // Да ближний жесток. // Спи, моя светлая, // Спи, моя нежная. // Трудно у Неба читать между строк» (из «Колыбельной» монахини Н.).

Иван Серов. Записки из чемодана. Тайные дневники первого председателя КГБ, найденные через 25 лет после его смерти. Под ред. с коммент. и примеч. Александра Хинштейна. М.: Просвещение, 2017. — 704 с. (VIP-персоны).

Эта книга вызывает вопросы: фальсификация или нет? Где оригиналы? Мог ли вести тайные дневниковые записи, обнаруженные лишь в 2012 году, один из руководителей НКВД—МВД СССР? А если да, то что утаил едва ли не самый могущественный и информированный человек своего времени? Иван Александрович Серов (1905—1990), парень из вологодской глубинки, мечтал служить в армии. Но после окончания военных учебных заведений и службы в армии неожиданно для себя в феврале 1939 года был направлен в НКВД: после падения Ежова органы испытывали кадровый голод. С этого времени он и ведет свои записи. Меньше чем за год скромный майор артиллерии стал генерал-лейтенантом и наркомом внутренних дел Украинской ССР. Жизнь Серова богата на события и встречи. Он всегда находился в центре того, о чем пишет. Он принимал участие в присоединении Западной Украины и Бессарабии к СССР, в схватках с враждебными поляками и оуновцами. Опыт по «советизации» бывшей польской территории и борьбе с вооруженным подпольем не раз пригодится Серову: в Прибалтике, Польше, на Украине, в послевоенной Германии. Именно он руководил депортацией народов, признанных Сталиным «вражескими»: немцев Поволжья, калмыков, чеченцев, ингушей, крымских татар, карачаевцев. Особых эмоций по этому поводу в его записках нет. Человек своего времени, он привык команды не обсуждать, а выполнять. Современные историки рисуют портрет Серова преимущественно мрачными, негативными красками, в большинстве исследований он предстает узколобым палачом-сталинистом, способным лишь на жестокие расправы. Но история многоцветна. Серов — один из немногих руководителей Лубянки, кто в годы Великой Отечественной войны лично бывал на переднем крае, прорывался из окружения, сам поднимал солдат в атаку, не раз оказывался на волосок от смерти. Выезжал в блокадный Ленинград, в осажденный Сталинград, побывал в знаменитом крымском котле, вырвавшись оттуда под огнем через море. В горах Кавказа лично руководил обороной горных перевалов, нередко заменяя погибших в бою командиров. Во многом именно его усилиями был спасен от сдачи Владикавказ. В своих записках он резко отзывается о некомпетентных и трусливых военачальниках и всегда уважительно о рядовых. На протяжении всей жизни его личным врагом был В. Абакумов, начальник Смерша, а затем и министр государственной безопасности СССР. Нет сведений, что Серов принимал участие в избиениях арестованных, но именно его вмешательство спасло из застенков Лубянки одного из полководцев победы, будущего маршала Мерецкова. Серов — один из инициаторов массовых реабилитаций после смерти Сталина, вместе с Руденко подготовил записку в ЦК с предложением освободить из тюрьмы более 70 генералов, в числе которых были его друзья, боевые генералы. Он сохранял дружеские отношения с маршалом Жуковым до самой смерти последнего, невзирая на опалу Маршала Победы. Был в руководящем составе 1-го Белорусского фронта, с ним дошел до Берлина. Первым нашел сгоревшие тела Гитлера, Евы Браун и Геббельса, участвовал в подписании капитуляции, в Потсдамской конференции, переговорах с союзниками. В Германии занимался формированием новой власти, розыском нацистских преступников и всего, что представляло интерес для оборонной промышленности: ракет, самолетов, радио. Вернувшись в СССР, выполнял сложные хозяйственные задачи. Он сыграл одну из ключевых ролей в венгерских событиях 1956—

1957 годов. Арестовывал Берия, а в июне 1957-го, во время первого заговора против Хрущева, сделал все, чтобы отстоять генсека. Именно при Серове КГБ, которым он руководил с 1954-го по 1958 год, начал превращаться в профессиональную спецслужбу, где главное — не кулаки, а мозги. Наградой за службу стали отставка, а затем и разжалование из генералов, исключение из партии, лишение многочисленных орденов и звания Героя Советского Союза. Наверное, он слишком много знал. Об интригах близкого круга Сталина и Хрущева, о роли самого Хрущева в сталинских чистках, о склоках в верхах, о предательствах. Работа с особым архивом ЦК после ареста Берии, знакомство с «интимной» жизнью членов Политбюро приводили к неутешительным выводам. «Когда читаешь эти записки, то волосы становятся дыбом, как могли так подло поступать руководители страны в отношении своих же товарищей, с которыми годами работали вместе. <Были> записки с Украины за подписью Хрущева такого же характера, видимо, шел в ногу и не хотел отставать. Он пишет всякие гадости о <Косиоре>, Постышеве и других. Такие же записки из Ленинграда от Жданова, что кругом враги, что он борется и просит его поддержать. Нет, я больше не могу писать, нервы не выдерживают. Как можно менять свою совесть за мнительность Сталина. Один сходит с ума, и все его поддерживают». Сопровождая Хрущева в поездках за границу, наблюдая вблизи, Серов разочаровался в человеке, знакомом ему еще по работе на Украине в 1939 году. День за днем он все трезвее и безжалостнее оценивает окружающую его действительность: интриги, наушничество, склоки приближенных к первому лицу государства. Он видел истинную подоплеку разоблачения культа Сталина партийными руководителями, чьи подписи утверждали приговоры к смертной казни в период 1937—1938 годов. Книга, выстроенная в хронологическом порядке, с детективным названием читается как исторический бестселлер.

Пьер Гонно, Александр Лавров. От россов до России: История Восточной Европы (ок. 730—1689)/ Пер. с франц. Некрасова М. Ю., Носовой Е. И. под общей редакцией Гонно П., Лаврова А. С. СПб.: Евразия, 2017. — 816 с.: ил.

Историки-слависты (Париж—Сорбонна) Пьер Гонно и Александр Лавров обобщают материалы исследований по истории Восточной Европы, российских — от до-революционных до новейших времен — и зарубежных. Они рассматривают разные историографические подходы, трактовки современных ученых, и те, что каждому периоду и сюжету давали национальные школы, советская марксистская школа и ее противники. Исходя из постулата «победитель навязывает свою точку зрения», они ищут следы версий и побежденных, противоречащих официальной московской версии: во фрагментах сохранившихся местных летописей, церковных книгах, зарубежных хрониках. Например, во фрагментах летописей сопротивлявшегося Москве почти два века великого княжества Тверского, присоединенных к Москве Ростова и Новгорода. Авторы выявляют раздельное прошлое и различное становление Белоруссии, России и Украины. Они используют археологические наработки, обращаются к рассказам иностранных наблюдателей, советуя относиться к таковым критически. Отстраняясь от любых идеологических догм, рассматривают различные гипотезы, предлагают более или менее правдоподобную реконструкцию того, как могло быть на самом деле. Восточная Европа в данном случае — это русско-европейская равнина: европейская часть России, Украина, Белоруссия, Литва, равноправные, по мнению

авторов, наследники Киевской Руси. Хронологически книга охватывает весь период русского средневековья: от расселения славян и образования древнерусского государства до начала самостоятельного правления Петра I. Рассматриваются все ключевые события российской истории, в том числе отношения с другими наследниками Киевской Руси, с сопредельными странами и народами, дипломатия и войны, территориальный рост. А также политическая система и экономика страны в разные периоды, нестроения, особенности русских бунтов, сословные привилегии и утеснения. И конечно, даны яркие портреты властителей — князей и царей. В книге две части: «Факты», где изложение ведется более-менее традиционно, и «Проблемы», где есть неожиданная постановка вопросов, спорные гипотезы, версии, предположения. Конечно, есть неразрешенная загадка «руси», народа, давшего свое имя новой политической единице — Руси. Момент «упадка» Киевской Руси авторы расценивают как период примечательного динамизма и развития. А так ли уж катастрофично было монгольское нашествие? И был ли razoren Киев? А можно ли считать Новгород русской средневековой республикой? И почему Новгород потерпел поражение в столкновении с Москвой? XVII век: завоевание Украины Москвой или их воссоединение? Одностороннее изъявление украинцами покорности или договор равных партнеров? Мнения русских и украинских историков расходятся. А правда ли, что казаки сыграли важнейшую роль в избрании Михаила Романова на царство? Авторы постоянно сравнивают события русской истории и западноевропейской: проводят параллели между судьбой Новгородского княжества и княжества Прованского; между болезненным разрывом Лондона с папством и более мягким избавлением московского государства от опеки византийской патриархии, не вызвавшим сильного противодействия со стороны духовенства и верующих; между призывами митрополита Макария к борьбе с неверными в Казани и звучавшими когда-то на Западе призывами к крестовому походу. Предложенный вариант русской истории трудно назвать комплиментарным. Можно соглашаться или нет: с тем, что Иван Грозный все-таки убил своего старшего сына; что оценка побед Александра Невского на Неве и на Чудском озере преувеличена; что на каком-то этапе русской Церкви был выгоден русско-татарский симбиоз, союз с «моавитянами» и причина времен Ивана Грозного. Что ж, авторы стремились к объективности. А некоторые их выводы таковы. «Киевская Русь» — общее достояние трех народов трех современных стран: Белоруссии, России и Украины, и культура этих трех стран неделима. И сознание единства русских земель, вопреки монгольскому нашествию и литовской экспансии, упрочивали как религиозная и культурная принадлежность, так и экономика, городская и сельская. Во времена московского государства религиозная принадлежность и политическое подданство подразумевали друг друга, и именно конфессиональный аспект сыграл главную роль в принятии решения установить московский протекторат над Украиной. Да, русские многое позаимствовали у Золотой Орды: боевые приемы и методы управления, систему почтовых станций, терпимость к подданным-«язычникам», — но нельзя принимать за чистую монету разговоры о «русском азиатстве». На белорусов, украинцев, русских неизгладимый отпечаток наложило в первую очередь славяно-византийское христианство, которое, в свою очередь, обогатила и Русь. И если «Повесть временных лет» отвечала на фундаментальный вопрос: «Откуда пошла русская земля», то она же, по мнению авторов, и объясняла куда — по дороге христианской веры, на которой ее ждали многочисленные засады и отречения.

Галина Хвостова. За кулисами петровского парадиза, или История скульптуры Летнего сада в XVIII – начале XXI века. СПб.: Дмитрий Булавин, 2017. – 208 с.: ил.

Галина Хвостова, на протяжении многих лет главный хранитель фондов и скульптуры Летнего сада, Дворца-музея и Домика Петра I рассказывает об удивительных исторических и художественных метаморфозах Летнего сада и его памятников. Сад, в первую треть XVIII века изобиловавший всякого рода устройствами и «курьезами», утратил свой первоначальный вид во время катастрофического наводнения 1777 года, но уже в конце XVIII века обрел новый облик. Менялось многое: состав статуй, именованная скульптур, их местонахождение. От петровской коллекции начала XVIII века из 150 скульптур к 1913 году осталось 54. Сад пережил катаклизмы XX века: наводнение 1924 года, революции, войны. С самого основания он нуждался в особой заботе. Суровый и непредсказуемый климат Северной Пальмиры: влажность воздуха, перепады температуры оказывали вредное воздействие на мрамор. Плохо влияло и соседство взрослых высоких деревьев: после цветения лип на поверхности мрамора появлялись грибы, микроорганизмы, водоросли, превращаясь в темную корку, они «съедали» верхний авторский слой. Загрязненность атмосферы большого города в XX веке резко усилилась. Многочисленные нелепые и жестокие акты вандализма — обо всех «злодейских» акциях автор пишет подробно — были всегда. Больше всего страдали носы и пальцы, кисти рук, атрибуты статуй. Сегодня никто не может сказать, какой по счету серп держит в правой руке богиня Церера, именно эта специфическая деталь во все времена отламывалась или отбивалась. Г. Хвостова поэтапно — от начала XVIII века до дня сегодняшнего — рассказывает об организации хранения и реставрации скульптур и о тех, кто этим занимался. Об экспериментах хороших и неудачных, об уникальных практиках по спасению скульптур от разрушения камня, их восстановлению и копированию, о плюсах и минусах редких технологий прошлого и дня нынешнего. По роду служебных обязанностей она непосредственно участвовала в уникальной реставрационной эпопее скульптур Летнего сада 2009–2011 годов, и находится в курсе всех споров относительно судьбы мраморных скульптур, в результате которых подлинники обрели постоянное место хранения в Михайловском замке. Знает, как принимались решения и как осуществлялись. Она поименно называет имена зрителей и мастеров, скульпторов, реставраторов, специалистов-музейщиков всех времен, знаменитых и безвестных, отечественных и зарубежных, дополняя их творческие биографии малоизвестными фактами. В. Демут-Малиновский, А. Беляев, А. Тербенев, И. Кузнецов, М. Чижов... Каждый из них внес свой вклад в «починку» и «повновление» фигур, в создание пьедесталов и постаментов, в налаживание сохранности. И по сей день лучший способ сохранять мраморные статуи зимой — деревянные футляры, сменившие первоначальные чехлы из рогожи и циновки, предложенный в XIX веке В. Демут-Малиновским. Футляры стеклянные (опыт XX века) признаны неудачными. Она дает «персональное жизнеописание» знаковых памятников петровской коллекции: истории приобретения статуй, проблемы авторства, «личные переживания» скульптур в пространстве Летнего сада, их символическое значение. «Минерва», один из наиболее распространенных мифологических образов петровского времени, символизировала крепость государства и воинскую доблесть. Самые ранние поступления 1707–1708 годов: «Церера», «Аллегория Красоты», «Нимфа Летнего сада», бюсты Яна Собеского и Марии Казимиры. Признанные в XIX веке «негодными к реставрации», но успешно реставрированные скульптуры

«Аллегория Юности» и «Нереида». Превратности судьбы скульптурной группы «Амур и Психея». Не разу не подвергавшейся реставрации загадочный «Вах» в виде гермы, обнаруженный в ходе земляных работ в Летнем саду в 1977 году. И конечно, «Аллегория Ништадтского мира. Мир и Победа», посвященная окончанию многолетней Северной войны, скульптурная группа, заказанная самим Петром I и доставленная в Петербург после его смерти. И это единственный мраморный подлинник после реставрации на месте без демонтажа, оставшийся на территории Летнего сада. Колоритны подробности создания и бытования памятника И. Крылову скульптора П. К. Клодта, с натуры воспроизводившего зверюшек на пьедестале; «Чайного домика», редко-го памятника деревянного зодчества (архитектор Л. Шарлемань). Г. Хвостова рассказывает и о памятниках, не дошедших до наших дней: «Царь-плотник» (скульптор Л. Бернштам) и серия его двойников в Петербурге в 1910-х годов; часовня Святого благоверного князя Александра Невского в ограде Летнего сада (архитектор Р. Кузьмин). Часовня, построенная в 1866—1867 годах в память спасения Александра II при покушении на него на этом месте, была снесена в советские годы, литературы о ней мало, по малоизвестным документам Г. Хвостова дает не просто описание интерьера, но приводит и список находившихся в часовне образов. Малоизвестных фактов, обращений к малоизвестным темам и документам в книге много, и о многом становится известно впервые.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит за предоставленные книги
Книжную Лавку Писателей
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,
www.lavkapisateley.spb.ru)

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ПАЛЕСТИНСКИЕ ОБИТЕЛИ И РОССИЯ

Часть 2

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО КРЕСТА

*Крест — хранитель вся вселенная, крест — красота Церкви.
Радуйся, треплаженное древо, на нем же распялся Христос, Царь и Господь!*

В 1855 году при монастыре была учреждена Богословская школа патриаршего Иерусалимского престола (на втором этаже) и при ней школьная церковь во имя Св. Иоанна Дамаскина и Св. Варвары. Ремонт и перестройка всего комплекса монастырских построек сделали его пригодным для новой роли, но при этом существенно изменился весь облик монастыря. Монашеские кельи были переделаны в лекционные помещения, трапезная была перестроена в соответствии с новыми требованиями. Библиотека пополнилась сотнями новых томов по различным отраслям знания, энциклопедиями, словарями и богословскими трудами. Она стала одной из крупнейших в то время библиотек в Палестине.

Отечественный паломник Виктор Каминский в первый раз посетил Крестный монастырь в 1851 году. В 1857 году он снова побывал в этой обители. «Бывши, потом, на поклонении в Крестном монастыре — я удивился его перемене во всех отношениях, — пишет Виктор Каминский. — Монастырь этот обратился как бы в ученую академию. Дух воспитанников открытого там училища вполне студентский — умный и солидный. Классы, камеры, все службы, покои для приезда патриарха, устроены в европейском вкусе; прибавлены этажи, расширены террасы и устроены башенные часы. Св. Церковь оживляется пением юных своих питомцев, которые обещают ей хороших проповедников»¹.

В 1858 году тогдашний начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Леонид (Кавелин) осматривал новоучрежденную богословскую школу Крестного монастыря; он составил подробное описание увиденного.

Во втором ярусе устроены вновь здания, служащие собственно для помещения духовного училища: классы, комнаты для занятий вне классов и спальни вос-

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 495.

питанников отдельные, большая зала для экзаменов и актов и столовая. Все заведение содержится в неукоризненном порядке и чистоте, по точному образцу Халкинского богословского училища, один из воспитанников коего и заведует училищем в звании ректора оно; ему помогают трое учителей, из которых один вместе и помощник его по надзору за воспитанниками, число коих не превышает 40 человек. Все они одеты в подрясники, рясы и камилавки, как наши рясофорные послушники, потому что все готовятся и действительно поступают на служение Церкви. Большинство воспитанников состоит из природных греков, но есть между ними и несколько арабов. Преимущество в пользу греческих юношей объясняется стремлением к национальным интересам, как и в Константинополе, хотя нельзя не заметить, что здесь оно извинительнее, чем там. Если арабы не могут забыть, что Иерусалимский православный Патриархат был некогда в руках их племени, то и греки справедливо могут ссылаться на то, что время это было самое бедственное в его истории. По неискусству в делах церковного управления и от злоупотреблений, проистекавших из права наследства в имуществе духовных лиц их родственников, при врожденной как бы арабскому племени алчности к деньгам, — арабские патриарх и их клир довели святогорскую казну до крайнего оскудения, которым не преминули воспользоваться латины и армяне; к этой-то бедственной эпохе относится отторжение у православных разных св. мест, из которых одни с тех пор и остались навсегда во владении латин и армян, а возвращение других стоило грекам больших усилий и тревог. Это-то и понудило одного из греческих патриархов Св. Града (Германа) обязать своих преемников клятвой не принимать в патриархи иноков арабского племени. Такая исключительность хотя и готовит в будущем Иерусалимской греческой Патриархии те же самые затруднения, в каких теперь находится Константинопольская Патриархия (по причине ее распри с болгарями), но зато, повторим причины, на которых основана она здесь, более справедливы: она оправдывается, как мы видели, историческим опытом, тогда как в Константинополе она не оправдывается ничем, кроме своекорыстных стремлений греков к церковному преобладанию в пользу своего племени и несбыточными мечтами о восстановлении Византийской империи, — идея, могущая назваться скорее обширной, чем великой².

Библиотека Крестного училища богата старинными рукописями; о некоторых из них сообщает архимандрит Леонид (Кавелин). «В одном из соборных (упраздненных) приделов хранится собрание грузинских рукописей (остаток древней монастырской библиотеки), между которыми без сомнения есть драгоценные материалы церковной, а может быть и исторической письменности; они свалены грудой на каменном полу, без всякого порядка, покрыты пылью веков, — пишет о. Леонид. — Роясь в них из любопытства, с разрешения моего проводника, я отыскал здесь две-три славянские рукописи и между ними одно на пергамене четверо-Евангелие Апракос XIII в., болгарского письма; ближайшим следствием моего внимания к этой рукописи было то, что она получила более сохранное место в библиотеке Крестного училища, которая состоит из нескольких сот номеров книг преимущественно греческих»³.

Во время своего паломнического путешествия по Святой Земле архимандрит Леонид (Кавелин) в октябре 1858 года побывал в селении Рамле, где познакомился с ректором Халкинского богословского греческого училища епископом Типальдосом. «Он по приглашению Иерусалимского патриарха гостил целое лето в Иеру-

² Архимандрит Леонид (Кавелин). Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника а. Л-а. М., 1873. С. 320—321.

³ Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника а. Л-а. М., 1873. С. 320.

салиме, занимаясь устройством здешнего богословского училища, основанного патриархом Кириллом в Крестном монастыре (за $\frac{1}{4}$ часа ходу от Иерусалима), — пишет о. Леонид. — Старец епископ считается одним из ученейших людей в греческом духовенстве, но, к сожалению, известен в то же время, как ненавистник славян»⁴.

В 1859 году местную богословскую школу посетил выпускник Санкт-Петербургской духовной семинарии Н. А. Благовещенский. Его записки грешат неточностью, и в сопоставлении с сообщениями других авторов это легко выявляется. «Много денег убито на так называемый Крестный монастырь недалеко от Иерусалима, — пишет этот автор. — Здесь греки в широких размерах устроили духовную академию с богатой библиотекой, и выписали учеников для этой академии, — *греков же, с островов Архипелага; а местные арабы только издали любят на эту академию...*»⁵

Еще один отечественный пешеходец побывал на Святой Земле в том же 1859 году, и его повествование о Крестном училище более объективно. «В Крестном монастыре находится православное училище, в роде семинарии, устроенное по образцу училища на острове Халки от Константинопольской патриархии, откуда присылаются ректоры. Учащиеся более греки, но **есть и арабы**, — пишет князь Михаил Волконский. — Училищем этим Иерусалимская патриархия очень хвалится и содержит учеников хорошо; по крайней мере, постели у них прекрасные, перины и стеганые, теплые одеяла, которых достаточно бы было и для нашего климата. Классы помещены в больших светлых комнатах и в самом классе цистерна, т. е. колодезь, откуда достают свежую воду, накопившуюся в продолжение зимних дождей. Библиотеки не видал, потому что зрителя не было дома»⁶. Впрочем, как отмечал А. В. Елисеев (1884 г.), «кто знает программы Патриаршей школы и семинарии при Крестном монастыре, которая считается чуть не Духовной Академией или, по крайней мере, богословским факультетом в Палестине, тот поймет, что палестинские богословы стоят по образованию немного выше самых заурядных наших священников»⁷.

Отечественные палестиноведы проявляли большой интерес к учебному процессу в новообразованной богословской школе. Так, один из них, Б. П. Мансуров, в своей книге «Православные поклонники в Палестине» (СПб., 1858), пишет: «Крестный монастырь, построенный, как говорит предание, на том месте, где росло дерево, из которого срубили Животворящий Крест, орудие Христовой страсти, несколько лет тому назад обращен в помещение для новой Иерусалимской Духовной академии. Здание отделано вновь весьма хорошо и красиво, церковь монастыря обновлена и украшена колокольней, в которой построены **русским монахом Стефаном** славные боевые часы. Одним словом, монастырь этот в цветущем состоянии и обещает быть зародышем развития новой деятельности греческого духовенства, если только добрые начинания патриарха Кирилла будут продолжаемы. На Крестный монастырь затрачены Патриархией большие деньги, и вообще на это дело иерусалимское духовенство смотрит с особенной любовью и видит в нем сильное нравственное средство для утверждения своего влияния против католицизма. К сожалению, в новой Духовной академии учат латинскому, французскому и немецкому языкам и говорят уже по-французски, но о славянском языке, столь необходимом для греческого духовенства, если бы оно более заботилось о подчиненных оному единоверных славянских племенах, нет и речи»⁸.

⁴ Там же. С. 468.

⁵ Благовещенский Н.А. Среди богомольцев. Афон. Путевые впечатления. Изд 2-е. СПб., 1872. С. 297.

⁶ [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 125.

⁷ Елисеев А. В. С русскими паломниками на Святой Земле весной 1884 года. СПб., 1885. С. 230.

⁸ Цит. по: Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 77.

Б. П. Мансурову возражал бывший член Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Феофан (Говоров) (впоследствии — епископ Феофан Затворник): «Укор за необучение русскому языку в богословском Иерусалимском училище неоснователен. Местная Церковь Палестинская — вся из арабов. Если там не будут учить арабскому языку — худо; а русский им не столько нужен. В Константинопольском богословском училище это крайне нужно. Впрочем, и в Иерусалиме Блаженнейший Патриарх имел в виду открыть класс славяно-русского языка, когда найдет для того надежного учителя»⁹.

В 1861 году в монастыре Св. Креста побывал А. С. Норов. Вот его отзыв о тамошнем богословском училище: «В Иерусалиме посетил я монастырь Св. Креста, который получил теперь совершенно новое устройство и образует высшую духовную школу или семинар, снабженную хорошими учителями, из коих можно указать особенно на ученого молодого араба, обладающего весьма хорошо французским языком, хорошей библиотекой и самым удобным помещением. Честь этого устройства принадлежит патриарху Кириллу, которого деятельные и полезные работы заслуживают полной благодарности Православной Церкви, которой он служит одним из твердых столпов на Востоке. Им воздвигнуты новые церкви на Фаворе, в Рамалле, Джифне и Петцале, близ Вифлеема. Кроме того, им же устроена в Иерусалиме довольно полная типография, в которой, сверх учебников и литургических книг, печатаются некоторые творения св. греческих отцов и, между прочим, в первый раз напечатаны глубоко назидательные сочинения архиепископа Фессалоникского Григория Паламы, жившего в половине XIV века»¹⁰.

В начале 1870-х годов богословская школа претерпевала кризис, о чем сообщал тогдашний начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин) в письме к российскому послу в Константинополе графу Н. П. Игнатьеву от 13 апреля 1873 года.

В числе прискорбных обстоятельств, сопровождавших низложение патриарха Иерусалимского Кирилла, было и восстание против него им основанной Богословской школы иерусалимской. Подстрекаемые наставниками питомцы ее (из греков) позволяли себе неистовые заявления ненависти против своего попечителя и благодетеля. Их предосудительное поведение не разделяет и прямо порицает один и единственный ученик, некто Анастасий Марков Антониадис, уроженец острова Кипра, первый в своем (в 4-м) отделении, по особенностям своего предшествовавшего образования имевший мужество стоять один против всех. В наказание за его измену общему делу его выгнали с бесчестьем из фанатизированной семинарии. По примеру стольких других гонимых того времени, он приютился на время в наших заведениях. Проживая здесь, любознательный юноша, не теряя напрасно времени, ознакомился с русским языком и, наконец, обратился ко мне с просьбой исходатайствовать ему поступление в одно из высших учебных заведений России, для довершения своего образования. Имея близкое знакомство с Киевской Духовной Академией, я предварительно снесся с ректором оной, осведомляясь, есть ли возможность поместить в оную просителя на правах стипендиата. О. архимандрит Филарет недавно уведомил меня, что в настоящее время есть в Академии две вакантные стипендии, открывшиеся за выбытием на Восток двух студентов-иеродиаконов из греков, и что со стороны академического начальства к поступлению на одну из них Анастасия Антониади не встречается никаких препятствий, лишь бы на то последовало разрешение г. обер-прокурора Святейшего Синода.

⁹ Там же. С. 77.

¹⁰ Норов А. С. Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на Восток. СПб., 1878. С. 52—53.

Вследствие всего вышеизложенного я принимаю на себя смелость покорнейше просить Ваше Превосходительство благоволить войти в сношение с Его Сиятельством графом Д. А. Толстым и рекомендовать ему на одну из вакантных стипендий при Киевской Духовной Академии бывшего воспитанника иерусалимской патриаршей Богословской школы Анастасия Антониади, ручаясь вполне за его нравственный и политический характер. Владея теперь уже пятью языками при замечательных способностях и редком прилежании, я надеюсь, что он со временем будет весьма полезен нам в наших сношениях с Востоком <...> Рекомендуемый мною юноша испытан мною хорошо в течение долговременного пребывания его под одною кровлею и бок о бок со мною. Он весьма тихий, умеренный и благонамеренный человек. В похвалу его говорит уже то одно, что он 5 лет пробыв в школе лазаристов, учась там французскому языку, и вышел из нее цел, яко голубь (и, конечно, мудр, яко змия). Его можно бы рекомендовать и в другое какое-нибудь недуховное заведение русское, но там нет надежды быть ему стипендиатом. А человек-то он не из крзев. Греческий язык он, разумеется, знает в совершенстве. По-арабски говорит и пишет. Говорит по-турецки, знает по-итальянски.

<...> С такой же просьбой о дозволении учиться в России обратится на днях в здешнее консульство один молодой араб, тоже бывший питомец Крестной школы и в последнее время учитель арабской школы в Акре. Филарет оный видел его лично во время пилигримства своего в Палестине, и сам предлагал ему проситься доучиваться в Россию. Так юноша ему понравился. Я не видал его и ничего не могу сказать о нем больше сказанного. Помогите и ему быть человеком и в свое время помочь своей родной стороне¹¹.

Архимандриту Антонину (Капустину) принадлежит заслуга по выявлению старинных манускриптов, которые впоследствииполнили рукописное собрание Крестной обители. В 1868 году архимандрит Антонин помогал монахам составить первый научный каталог манускриптов библиотеки монастыря Св. Саввы Освященного. Вскоре после этого все наиболее ценные рукописи были перевезены в Иерусалим, о чем сообщалось в «Путеводителе по святым местам града Иерусалима»: «В башне Юстиниановой помещается монастырская библиотека, некогда бывшая знаменитой по обилию драгоценных древних рукописей, уцелевшие остатки коих ныне перенесены в библиотеку Богословской школы, что при монастыре Честного Креста Господня»¹².

К середине 1870-х годов у Иерусалимской патриархии не осталось средств на поддержку богословского училища. Архимандрит Антонин в письме графу Н. П. Игнатьеву от 14 октября 1874 года сообщал об этом: «На днях закроется Крестная школа. Содержать ее нечем, говорят <...> Что же касается школы, то закрытие ее (на время, конечно) блестящим образом посрамит блаженной памяти славную комму-ну и не вызовет, по крайней мере во мне, ни малейшей слезиночки. Ректор ее „Жером“¹³ отправляется куда-то не то в Англию, не то в Германию настоятельствовать какой-то церковью»¹⁴.

Вскоре богословское училище было закрыто, о чем пишет отечественный пале-стиновед Г. А. Муркос: «При вступлении на престол, в 1875 году, патриарха Иерофея не было уже денег в кассе Патриархии. Между тем патриаршество блаженного Прокония рассеяло на ветер все накопленные его предшественником суммы. Верно так-

¹¹ Переписка архимандрита Антонина (Капустина) с графом Н. П. Игнатьевым 1865—1893. М., 2014. С. 210—212.

¹² Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 187—188.

¹³ Жером — прозвище, данное о. Антонином архимандриту Епифанию, ректору Крестной семинарии, впоследствии епископу.

¹⁴ Переписка архимандрита Антонина (Капустина) с графом Н. П. Игнатьевым 1865—1893. М., 2014. С. 253.

же и то, что блаж. Иерофей нашел доходы с русских имений задержанными, по причинам, о которых мы не находим удобным говорить здесь. Но ни пожертвования поклонников не прекращались, ни доходы с принадлежащих св. местам в Османской империи и в иных местах, а равно не было у нового патриарха никакой необходимости в особенных тратах, когда он зараз закрыл все учреждения под предлогом безденежья. Его Блаженство нашел нужным закрыть богословскую школу Св. Креста, которая ныне стала конюшней для лошадей его архидиакона; закрыл типографию, из которой выходило столько полезных греческих и арабских книг»¹⁵.

Вот еще несколько слов Г. А. Муркоса по поводу упраздненной богословской школы: «Впрочем, что говорить о воспитании под руководством Братства Св. Гроба, когда в учрежденной достопамятным патриархом Кириллом школе Св. Креста, ныне уже упраздненной, уроженцам Палестины не позволялось оканчивать полный курс учения, под предлогом, что им, законным чадам Иерусалимского Патриархата, не дозволяется вступать в монашество и принимать высшие иерархические степени; вероятно, их считали неспособными принимать преподаваемую им Братством Св. Гроба в школе Креста мудрость»¹⁶.

Другой отечественный палестиновед Ф. Палеолог придерживался тех же взглядов на эту проблему, что и Г. А. Муркос: «Греки боятся просвещения своей арабской паствы, боятся, что, с приходом просвещения, умственная слепота арабов пройдет, и тогда их господству над последними наступит конец. Впрочем, греки себя не забывали и имели близ Иерусалима, в Крестном монастыре богословское училище, в котором учились преимущественно дети местных греков и откуда этих детей впоследствии посылали для дальнейшего образования в протестантские и католические университеты Европы. В этих университетах греческие богословы набирались либеральных идей и возвращались оттуда в Св. Землю с полным презрением к той пастве, которой они призваны были управлять»¹⁷.

...Прошли годы, кризис миновал, и 9 сентября 1893 года богословская школа снова была открыта, когда Иерусалимскую церковь возглавил новый патриарх. «Патриарх Никодим закрыл ее под предлогом неимения средств к поддержанию ее, а преемник его, теперешний патриарх Герасим опять открыл школу, в которой в настоящее время уже три класса»¹⁸, — сообщал епископ Сухумский Арсений (Изотов), посетивший эту обитель в 1894 году.

Герасим (Константин Протопапас; 1839/41–1897) — патриарх Антиохийский (1885–1891), патриарх Иерусалимский (с 28 февраля 1891 г.). Он обучался в школе Крестного монастыря, затем на математическом факультете Афинского университета. По возвращении в Палестину (1866 г.) преподавал в Крестной школе. В 1870 г. он принял монашеский постриг с именем Герасим и был возведен в сан архимандрита, занимал различные должности в Святогробском братстве. В 1877 г. хиротонисан в титулярного митрополита Филадельфийского. В 1882–1883 гг. выдвигался кандидатом на патриаршество, активно выступал против кандидатуры Никодима, считавшегося сторонником России. После избрания патриарх Никодим отозвал Герасима из Константинополя и в 1884 г. возвел в его сан митрополита Скифопольского. 30 мая 1885 г. Герасим был избран на

¹⁵ Муркос Г. А. Интересы России в Палестине // Православный Палестинский сборник. М., 2003. вып. 100. С. 95.

¹⁶ Там же. С. 92–93.

¹⁷ Палеолог Ф. Русские люди в Обетованной Земле. СПб., 1895. С. 226.

¹⁸ Арсений (Изотов), епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 87.

Антиохийскую кафедру. 28 февраля 1891 г., после отставки Иерусалимского патриарха Никодима, он был избран на освободившуюся кафедру. В годы управления Иерусалимской Церковью он вновь открыл семинарию в Крестном монастыре (закрытую в 1874 г.), упорядочил финансы Святогробского братства. Вместе с тем он противодействовал многим начинаниям Императорского Православного Палестинского Общества в Палестине и подозрительно относился к деятельности других российских организаций на канонической территории своей епархии¹⁹.

Вот один из отзывов о деятельности «Крестного училища» на ниве духовного просвещения: «Богословская школа была основана патриархом Кириллом для подготовки священников, но патриарх Никодим нашел это излишним и закрыл училище. Преемник его, патриарх Герасим не спешил восстановить учреждение патриарха Кирилла, хотя и сам получил в этом заведении образование, dokonчив его в Афинском и немецком университетах. Нынешний настоятель монастыря, архимандрит Фотий Старший, был ректором Крестного училища»²⁰.

В последних строках было упомянуто имя архимандрита Фотия. Он недолго возглавлял богословскую школу; в 1894 году его сменил архиерей Герман (Василаки). «На место начальника богословского училища в Крестном монастыре, опустевшее со смертью архимандрита Фотия Александрида, Иерусалимский патриарх пригласил, с разрешения Вселенского патриарха и Синода великой Церкви, Германа Василаки, святогробца и преподавателя в Халкинской академии, — сообщалось в российской церковной печати. — Новый начальник родился в Алацате, близ Чесмы в Малой Азии, окончил в 1873 году курс наук в Халке и оставался там преподавателем с 1876 по 1881 гг., затем в 1881—1884 гг. читал лекции в училище св. Креста, а с 1884 г. был учителем Адрианопольской гимназии и окружным инспектором училищ Адрианопольской епархии. В 1889—1892 гг. он был в Германии и приобрел там диплом доктора философии, а после сего читал в Халкинском духовном училище герменевтику, христианскую нравственность и катехизис»²¹.

...Владыка Арсений (Изотов) в своих записях уделил большое внимание возрожденной богословской школе, и его наблюдения представляют большой исторический интерес.

Крестная богословская школа имеет быть устроена по образцу Халкинской богословской школы Константинопольской Патриархии с семью классами. Ученики из греков, только очень малая часть туземных арабов, которым греки по большей части не дают оканчивать курс, посылая их учителями в отдаленные уголки. Как-то странно видеть солидных с бородами учеников, изучающих сокращенную Священную историю и т. п. Довольно оригинален был акт и экзамен этой школы в 1894 году; стоит сказать о нем. Все ученики школы носят монашескую одежду и живут в монастырских зданиях, которые без них были бы совсем пусты, потому что других монахов здесь не обретается. Учителя и *схоларх*, или, что то же, ректор, имеют пребывание здесь же. Между учителями есть один, окончивший курс в Московской Духовной Академии, — иеродиакон Николай Христулос, а *схоларх* — молодой архиерей Германос, получивший образование в Западной Европе. Для собраний есть обширное и очень приличное зало, в котором у передней стены устроена эстрада и на ней, на несколько ступеней выше, патриаршее место, именуемое троном, а по сторонам — места для публики.

¹⁹ Переписка архимандрита Антонина (Капустина) с графом Н. П. Игнатьевым 1865—1893. М., 2014. С. 448—449. Примеч. 627.

²⁰ Соловьев М. П. По Святой Земле (1891 г.). СПб., 1897. С. 239.

²¹ Иерусалимские известия // Сообщения Православного Палестинского Общества, июнь 1894 г. (СПб.). С. 339.

Когда вошли посетители с патриархом во главе и заняли места, схоларх, стоя на эстраде, начал читать отчет о состоянии богословской школы, восхваляя начальствующих, учащих и учащихся в таких выражениях, что посторонние посетители, между которыми были чины русского консульства и лица, принадлежащие к Русской Духовной миссии и Православному Палестинскому Обществу, имели полное право ожидать солидных знаний от солидных учеников. Но когда вслед за тем начали экзаменовать воспитанников по богословским наукам, то оказалось, что их знания по главному предмету ограничивались изучением сокращенной Священной истории; вопросы об Аврааме, Моисее, Давиде и т. д. были самые простые, детские. Потом экзаменовали из географии, спрашивая только про Палестину, ее границы, горы, реки и т. д. Учитель или схоларх вопрошает: северная граница какая? Ученик отвечает: Сирия. Учитель и схоларх замечают: хорошо. Продолжают: западная граница? Ученик: Средиземное море. Экзаменаторы замечают: очень хорошо... Или: где гора Елеон? Ученик отвечает: близ Иерусалима. На это опять тоже — очень хорошо. Странно слышать подобный экзамен таких учеников, которых большое число с окладистыми бородами.

Хорошо здесь только то, что учитель, упомянутый Николай Христодулос, преподает русский язык очень успешно, так что ученики его, в продолжение одного года слушавшие уроки русского языка, делали этимологический разбор переводимых статей очень удовлетворительно и показали гораздо больше знания русской грамматики, нежели сколько замечалось в Халкинской школе Константинопольской Патриархии назад четыре года. Желательно развитие и процветание этой богословской школы, чтобы все духовенство арабских селений достаточно подготовлялось в ней к исполнению священнослужительских обязанностей. Мимо этого монастыря прежде пролегал та тропа, по которой паломники отправлялись в **Горнюю** пешими или верхом; но в настоящее время устроено туда очень хорошее шоссе, пролегающее правее, по которому с удобством ездят не только верхом, но и в экипажах²².

В те годы поддерживались тесные связи местной богословской школы с Московской духовной академией. Об этом свидетельствует посещение богословской школы Крестного монастыря питомцами школы «у Сергия» во главе с ее тогдашним ректором — епископом Волоколамским Арсением (Стадницким). В записках владыки Арсения этому событию уделено большое место.

В 8 часов утра мы отправились в Крестный монастырь, где находится единственная в Палестине греческая Духовная семинария. В этой семинарии на сегодняшний день был назначен торжественный акт по случаю окончания выпускных экзаменов. На него преосвященный со своими спутниками уже давно получил приглашение от Иерусалимского патриарха. Крестный монастырь находится на расстоянии получаса езды от Иерусалима. Он называется так потому, что основан, по преданию, на том самом месте, где росло то дерево, из которого был сделан Крест Спасителя. В левом приделе храма Крестного монастыря до сих пор показывают в полу в серебряном круге отверстие, к которому благоговейно прикладываются паломники, как к месту, где росло Животворящее Древо.

Вскоре после нашего приезда в Крестный монастырь там началась торжественная литургия. Ее совершал сам патриарх при участии многочисленного духовенства и восьми диаконов, питомцев школы. Пели семинаристы: довольно стройно, хотя и не особенно привычно для нашего «русского» уха. Апостол и Евангелие были прочитаны на трех языках — греческом, славянском и арабском. По

²² Арсений, епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 138–140.

окончании литургии сам патриарх раздавал антидор всем присутствующим при богослужении, среди которых было много лиц из высшего иерусалимского общества.

Акт начался не сразу по окончании богослужения. Сначала нас пригласили в архондарик семинарии, где собрались патриарх, митрополиты, русский и греческий консулы в Иерусалиме и несколько других высокопоставленных лиц. Из архондарика после обычного восточного угощения глико и кофе все снова отправились в церковь, где и состоялся акт. Он начался молебном, который совершил патриарх. После молебна был прочитан отчет о состоянии семинарии в истекшем учебном году. Из отчета видно, что этот год школы — седьмой по восстановлению ее в 1893 г. Она содержится на средства Иерусалимской патриархии, от имени которой материально-экономическим бытом школы заведует скевофилак Св. Гроба архимандрит Евфимий. Ректором школы с 24 января 1900 г. состоит грек, иеродиакон Хрисостом Пападопуло, окончивший курс Петербургской Духовной академии. Попечителем же школы, или почетным схолярхом, — архиепископ Иорданский Епифаний. В отчетном году в школе обучалось 58 воспитанников. Окончило курс 11 человек (8 из них в сане диакона).

В продолжение года ученики школы занимались прохождением разных общеобразовательных и богословских курсов по установленным программам. Курс школы семилетний. Программы очень обширны и разнообразны. Задача школы состоит в том, чтобы готовить разносторонне образованных кандидатов священства, почему наряду с богословскими науками очень много места уделяется и светским. Успеху учебно-воспитательного дела школы много содействовала новая программа преподавания в ней наук, окончательно выработанная лишь в минувшем учебном году. С целью расширения умственного развития учащихся введено изучение истории, философии и метафизики; также ученикам даются письменные работы философского характера и при их участии устраиваются философские беседы по сократическому методу. Выпускные, кроме того, представили нечто вроде кандидатских работ. Вот темы некоторых из этих сочинений, написанные воспитанниками последнего выпуска и выставленные для обозрения публики на стол: «Учение христианства о начале зла», «О возможности и необходимости молитвы», «Вечность мучений», «Вопрос о трехчастном составе иерархии», «Недействительность Флорентийской унии», «Обличение учения о главенстве папы», «Учение о Божестве Иисуса Христа», «Правильные отношения между Церковью и государством».

Отчет отмечает большое образовательное влияние на учеников богословских наук, программы которых стоят наряду с программами по тем же предметам Халкинского богословского училища и Богословского факультета университета в Афинах. Преподавателями школы состоят по преимуществу воспитанники-греки, обучавшиеся в русских Академиях. Из Московской Академии, между прочим, есть два преподавателя. Воспитание учеников ведется в духе Православия и церковности.

По прочтении секретарем отчета почетный схолярх школы архиепископ Иорданский Епифаний обратился к окончившим воспитанникам с приветственной речью. Затем началась раздача воспитанникам дипломов. В порядке разряда, по вызову ректора подходили они к архиепископу Епифанию, который, вручая каждому диплом, произносил следующее: «Богословская школа выдает тебе через меня это свидетельство как награду за твое трудолюбие и доброе поведение во все время учения, ты же постарайся показать себя достойным служителем Церкви и верно сохранять то, что здесь воспринял и чему научился».

Каждый из воспитанников, получая диплом, произносил следующую присягу, подписывая ее потом на особом листе: «Так как священная для меня богословская школа удостоила меня избрать в разряд дидаскалов православного христианского богословия, то я, считая себя обязанным Блаженнейшему о. Дамиану и остальному почтенному Святогробскому братству, перед тобой, честный отец, перед всеми обучавшими меня преподавателями и перед лицом Бога публично исповедую во всю жизнь хранить веру чистую и неповрежденную, как я получил ее

и научен ей, и верно служить Церкви; пусть мне во исполнение этого обещания будет — в жизни Помощником Бог».

Чтение этой присяги производило сильное впечатление на всех присутствовавших, так как многие из учеников читали ее сквозь душившие их слезы, а некоторые просто плакали навзрыд при мысли о важности обетов, даваемых ими, ответственности и трудности предстоящего им служения и при мысли о разлуке со школой. Получив свидетельство, каждый лобызал десницу блаженнейшего патриарха, почетного схиарха, всего честного собора и покровителя школы архимандрита Евфимия.

После выдачи свидетельств к окончившим курс обратился с речью патриарх Дамиан, выразивший свою радость по поводу их успехов в науках и окончания ими курса и преподавший им ряд отеческих наставлений. После него произнес длинную речь ректор школы иеродиакон Христом Пападопуло, говоривший о характере и трудностях служения Сионской Церкви со стороны новых ее деятелей — питомцев Иерусалимской школы. Речь эта, прекрасная по содержанию и произнесенная с ораторским искусством, была выслушана всеми с большим интересом, а у многих учеников вызвала обильные слезы. В заключение торжества от лица окончивших воспитанников произнес сквозь слезы благодарственное слово патриарху и всему Святогробскому братству иеродиакон Климент, родом с о. Кипр.

По окончании акта всех присутствующих пригласили на обед в общую семинарскую столовую. Тут же присутствовали и окончившие курс. Греческое духовенство во главе с патриархом за обедом ело мясную пищу; для преосвященного и сопровождавшего его монашеского духовенства была приготовлена постная пища. Обед был очень обилён и разнообразен и прерывался многими речами. Говорил патриарх, поздравивший воспитанников и преподавателей семинарии с окончанием учебного года, ректор семинарии, благодаривший патриарха и гостей, и другие.

После того как за преосвященного Арсения был предложен тост, он сказал речь, отмеченную на следующий день греческими, арабскими и турецкими газетами. Выразив чувство радости по поводу присутствия на торжестве школы и благодарность за гостеприимство, преосвященный указал на ту борьбу, которую деятели Сионской Церкви, выходящие, главным образом, из стен школы Св. Креста, должны постоянно вести с многочисленными ее врагами. «Слезы, обильно лившиеся из глаз окончивших курс, — говорил, между прочим, преосвященный, — слезы ли это радости при представлении предстоящих радостей и утех жизни или слезы скорби при представлении тех тяжелых условий пастырского служения, о которых церковные деятели, трудящиеся в благоденствующей России под скипетром православного Государя, и представления не имеют?» В заключение преосвященный пожелал процветания этой школе, а окончившим курс — твердости, мужества и терпения даже до смерти, если это будет потребно для дела Христова, в непрестанном уповании, что *претерпевый до конца, той спасен будет*. Воодушевленная речь преосвященного вызвала всеобщее одобрение, и ему было несколько раз пропето многолетие по-русски и по-гречески.

Обед с речами и тостами затянулся. После обеда гости начали разъезжаться, а о. ректор пригласил нас познакомиться со школой. Она помещается в вековых монастырских зданиях, совершенно не предназначавшихся для этой цели, поэтому говорить о школьных удобствах помещения можно только весьма относительно. Можно только удивляться любви греков к духовному просвещению, ради которого они мирятся со многими внешними неудобствами. Осмотрели мы и библиотеку. Ее нельзя назвать богатой книгами, но она и не бедна. Есть тут и русские книги, а по распоряжению нашего Св. Синода в прошлом году было бесплатно выслано семь богословских периодических изданий. Отец Христом тут же попросил преосвященного ректора прислать все богословские сочинения,

выходящие под цензурой Московской академии, равно как выслать и все святоотеческие творения, переведенные и изданные ею. Преосвященный с готовностью обещал в скором времени исполнить просьбу. В истекшем году библиотека приведена в порядок, составлены каталоги, книги расположены по шкафам.

Затем мы пришли в одну из комнат, занимаемую воспитанниками школы, которые все собрались около нас и предложили нам от себя обычное угощение. Тогда Н. Ф. Каптерев, обратившись к окончившим курс воспитанникам школы, заявил, что он, как старый профессор, как учитель их учителей (двое из учителей школы — воспитанники Московской Духовной академии и ученики Каптерева), желает сказать им несколько слов.

«Вот вы, молодые люди, — говорил Н. Ф. Каптерев. — закончили свое образование в воспитавшей вас школе и скоро вступите в жизнь, заняв в ней то или другое общественное положение. Но, вероятно, если уже не все, то большинство из вас пожелали бы продолжить образование в какой-либо высшей школе. Это тем более необходимо, что в будущем вам придется постоянно жить и действовать среди инославных представителей, нередко очень сильных своими научными занятиями и образованием, опираясь на которые, они стараются совращать православных. Вам придется бороться с ними, но вы, как воспитанники только средней школы, научно будете вооружены слабее их. К сожалению, — у православных греков ни здесь, в Иерусалиме, ни в других местах нет своей высшей богословской школы, нет греческой Духовной академии.

Конечно, некоторые из вас высшее богословское образование могут получить, и действительно получают, в Духовных академиях России. Но ведь Россия далеко, не всякий из вас может и хочет туда поехать: в русские Академии из вас попадают редкие единицы. Ввиду этого православным грекам необходимо иметь свою собственную греческую высшую богословскую школу, свою — греческую — Духовную академию. Когда-то, в конце XVII в., к нам, русским, явились два ученых грека, братья Лихуды, которые устроили в Москве Славяно-Греко-Латинскую академию, сделавшуюся потом рассадницей богословского образования на Руси. Теперь Россия, обязанная грекам устройством своей первой школы, душевно рада будет заплатить им свой старый большой долг.

Пусть окончившие курс этой школы юноши едут получать высшее православное богословское образование в русских православных Духовных академиях, и особенно в Московской как — прямой продолжательнице той Академии, которую основали в Москве ученые греки братья Лихуды; и затем пусть они возвращаются домой, но с тем, чтобы уже трудиться и работать в своей родной греческой православной Духовной академии, которая здесь будет основана. Поэтому я желаю всем вам, чтобы каждый из вас, оставив воспитавшую вас школу и заняв в жизни то или другое положение, никогда, однако, не упускал бы из виду той мысли, что на нем лежит нравственный долг всячески стараться об устройстве высшей православной богословской школы — греческой Духовной академии, Академии строго православной, которая бы служила прочной опорой Православия на Востоке, рассадником высших богословских знаний для всех его православных народностей».

На эту речь Н. Ф. Каптерева ответил один из окончивших курс воспитанников школы, сказавший приблизительно следующее: «Вы, профессор, подслушали наши собственные мысли, выразили наши собственные горячие желания, так как устройство высшей богословской греческой школы составляет нашу всегдашнюю заветную мечту, на осуществление которой мы готовы употребить все свои силы и старания, а потому с особенной сердечной благодарностью мы принимаем, профессор, Ваш прекрасный завет и благодарим Вас за внимание и расположение к нам»²³.

²³ Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. М.; СПб., 2014. С. 315–320.

Одним из последних русских паломников, побывавших в стенах богословской школы, был иеромонах Серафим. «В 1855 году при патриархе Кирилле Крестный монастырь преобразован в Богословскую школу, которая и *поныне существует* как высшая духовная школа во всей Палестине. При школе имеется богатейшая библиотека и интересный музей»²⁴, — отметил о. Серафим в 1908 году. В том же 1908 году богословская школа была закрыта в связи с финансовыми трудностями патриархии. С закрытием богословской школы для монастыря Св. Креста снова наступил период упадка и безвестности. Многие десятилетия здесь не было других насельников, кроме настоятеля, который одновременно исполнял обязанности сторожа. В начале XX века богословская школа переехала на Сион, где существует до сих пор²⁵.

Во время первой арабо-израильской войны 1948–1949 годов монастырь был ограблен, поврежден стрельбой, и из-за порчи крыши многие книги пострадали от сырости²⁶. Полное восстановление зданий, реставрация мозаичных полов и частичная консервация стенных росписей проводились Иерусалимской патриархией в 1970–1973 годах. По решению патриарха Диодора церковь и остатки когда-то богатых владений обители стали доступны публике и служат приходским музеем²⁷. Сегодня в двух помещениях сохраняется богатая библиотека школы, где святоотеческая, богословская, историческая и философская литература представлена на многих языках, в том числе и на русском. Самое большое помещение в монастыре было переоборудовано под музей. Это был первый музей в Иерусалиме, где среди других экспонатов были выставлены многочисленные археологические находки и разнообразные памятники истории Палестины, а также чучела представителей фауны этого края.

Архитектура. Живопись

Монастырь Св. Креста по внешнему виду напоминает обители Афона. Монастырь очень похож на крепость: выложенные из крупных блоков стены, небольшие окна, единственный вход — низкие и узкие ворота. «Находясь вне стен Иерусалима под угрозой частых в прежнее время разбойничьих нападений, монастырь снаружи выглядит скорее крепостью, чем мирной обителью, — отмечалось в „Путеводителе по святым местам града Иерусалима“ (Одесса, 1908). — Это большое четверугольное здание, обнесенное высокой стеной с обычным в таком случае на Востоке низким, т. е. недоступным для наездника входом»²⁸.

Принимая во внимание уединенное положение в средние века, неоднократные захваты и разрушения обители, не приходится удивляться, что она по внешнему виду больше похожа на крепость. Прямоугольная в плане, окруженная мощными стенами с контрфорсами, с редкими узкими окнами в верхних этажах, она выглядит неприступной. Соображениями безопасности объясняется и то, что попасть внутрь можно через единственную дверь, такую низкую и узкую, что кажется, входишь в пещеру, а не во внутренний дворик монастыря. Пройдя этот дворик, изогнутый под прямым углом, мы входим в церковь²⁹.

Церковь четырьмя столбами разделена на три придела; алтарь увенчан небольшим куполом. Построенная по типу трехнефной базилики (с широким нефом посе-

²⁴ Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 85.

²⁵ Занемонец Александр, диакон. Русские на Святой Земле. Иерусалим, 2015. С. 55.

²⁶ Спутник паломника по святым местам. Париж, 1968. С. 11.

²⁷ https://ru.wikipedia.org/Монастырь_Святого_Креста

²⁸ Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 154.

²⁹ Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 158.

редине), церковь представляет в интерьере типичный православный храм. «Самым замечательным по древности сооружением в настоящее время есть соборный храм, сооруженный, как следует предполагать по сохранившимся еще на стенах рисункам, изображающим грузинских царей, не позже XI века, — пишет В. Н. Хитрово. — Мозаичный пол его еще древнее и на нем замечаются сохранившиеся на многих местах его темные пятна, остатки крови не раз замученных здесь иноков»³⁰.

О грузинских мучениках, умерщвленных мусульманами, пишет архимандрит Леонид (Кавелин): «Пол храма выложен каменной мозаикой; на ней показывают кровавые полосы; по преданию, это следы крови избитых здесь сарацинами иноков. Время этого события положительно неизвестно, но еще доселе совершается в монастыре св. Креста общая память св. мучеников из грузин, бывших в Иерусалиме и одновременно пострадавших там за православную веру; имена некоторых из них внесены в прологи Грузинской Церкви, каков, например, один из настоятелей Крестной обители священномученик Лука из рода князей Абашидзе, который, будучи взят турками по некоторому маловажному происшествию, случившемуся в его монастыре, и отказавшись принять предлагаемые ему почести, богатство и звание эмира, если он отречется от веры, по многих истязаниях был усечен мечом во главу»³¹.

Паломники, посещавшие монастырь Св. Креста, неоднократно обращали внимание на темные пятна — остатки крови замученных иноков. Иеромонах Серафим, побывавший в этой обители в 1908 году, пишет: «Здесь в храме на стенах на память всем грядущим векам заметны темно-красные пятна; они свидетельствуют об изверстве мусульман над неповинными христианами, и Промысл Божий блюдет эти кровавые пятна до страшного судного дня. Ибо много было пролито в сем храме неповинной крови ни в чем неповинных страдальцев-мучеников»³².

Архитектурной доминантой обители является барочного вида колокольня, строительство которой завершили в 1850-е годы. Достоянием монастыря являются настенные изображения. Монастырь расписывался неоднократно. Древнейшие фрески, сохранившиеся до наших времен, относят к концу XII — началу XIII века. Стены украшены древними фресками с изображениями библейских и евангельских событий, ликами угодников Божиих, царей — благотворителей храмов и даже мудрецов древности (Платон) и греко-грузинскими надписями. Здесь же находится фреска с изображением грузинского поэта Шота Руставели, украшающая обитель во имя Св. Креста с рубежа XII—XIII веков.

Представляют интерес записки архимандрита Леонида (Кавелина) (1859 г.), посвященные старинным грузинским фрескам.

Соборный храм остался почти в том же виде, и как был при грузинах. На стенах его написаны изображения (фрески) грузинских царей: Мириана, Вахтанга, Баграта III, Карталинской царицы Марии, урожденной княжны Дадиановой, Шоты Руставели, Мингрельского владетеля князя Льва Дадиана с супругой, нескольких преосвященных (католиков, грузинских и абхазских), преподобных отцов Грузинской Церкви и достойных особой памяти настоятелей сего первенствующего из грузинских, иерусалимских монастырей; словом, фрески этого храма представляют целую живописную летопись из истории многострадальной и вместе (с тем) верной Православия Грузинской Церкви. Желательно, чтобы кто-нибудь из грузинских князей, по ревности к своей национальной старине, снял верные

³⁰ Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. Вифлеем, Хеврон, Горняя. СПб., 1898. С. 30.

³¹ Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника а. Л-а. М., 1873. С. 320.

³² Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 85.

фотографические снимки с этих изображений, которых уже коснулась отчасти разрушительная рука времени. Греки неоднократно указывают на это русским посетителям, говоря, что если кто-либо из *могущих* не возобновит уже значительно попорченную стенную живопись, они будут вынуждены закрасить ее вовсе. Тут же изображено сказание о происхождении крестного древа, или о так называемом «Лотовом знамении», послужившее поводом к основанию обители во имя св. Креста Господня³³.

Самое подробное описание монастырского храма содержится в книге М. П. Соловьева «По Святой Земле» (СПб., 1897). С того времени многое из грузинской церковной живописи, украшавшей храмовый интерьер, было утрачено «благодаря» новым насельникам-грекам, и поэтому сведения, приводимые этим автором, представляют особый интерес.

Явились откуда-то три молодые черноризца и отперли собор. Мы были приятно удивлены его православным, *русским* видом, напоминавшим наши старинные соборы. Соборная церковь, единственная в монастыре, представляет продолговатый прямоугольник с тремя апсидами на восток, но полукружия устроены внутри и не выступают наружу: восточная стена — гладкая, как во многих древних соборах Грузии. Внутри длина 11 саж. 2 арш., ширина $6\frac{1}{2}$ саж. Четыре столба, по два в ряд, разделяют церковь на три нефа, из них средний вдвое шире боковых. У второго правого столба стоит патриарший трон. В левом, северном приделе, за жертвенником пещера, где росло крестное древо. Перед входом в церковь находится крытая паперть, *нарфикс*, по сторонам которого два помещения, выступающие за линию стен храма, пристроены позже. Внутри храм высок и светел. На четырех массивных столбах поднимаются высокие, *островерхие* арки, а на них большой купол, барабан которого прорезан окнами, а в своде изображен Господь Саваоф, Старец ветхий денми: вокруг Него ангелы. Островерхие арки похожи на ранние готические, но на Востоке они были известны с незапамятных времен. Византийское искусство, восприв в себя много элементов древнеазиатских, не усвоило себе таких арок, но ими широко воспользовались армяно-грузинская, персидская и арабская архитектура. Внутри церковь покрыта живописью сверху донизу. Высокая алтарная апсида отделена от церкви низеньким каменным средостением, на котором устроен иконостас. По сторонам иконостаса, выше его, на стене изображены слева Христос, справа — Богоматерь в колоссальных размерах. Обе иконы могут служить образцом превосходного византийского стиля и для современных иконописцев. Эти величавые образы владычествуют надо всей церковью и составляют ее лучшее украшение. Каменный иконостас похож на древние иконостасы Грузии в церкви св. Нины и соборе в Мцхете, в Сионском тифлисском соборе и в Гелатском монастыре близ Кутаиса. На нем утверждены два ряда икон, не различающихся по содержанию, но только по размеру; все они древнего письма. Система размещения икон в иконостасе, установившаяся в России в конце XVII века, здесь не соблюдается. Среди местных образов замечательна икона Иоанна Крестителя: он изображен в молебном положении, с золотыми крыльями, и у ног лежит отрубленная голова его. По сводам и в верхней части северной и южной стен изображены чудеса Христовы. Западная стена занята картиной Страшного Суда. Нижний ярус наполнен изображением святых: эта иконопись, по справедливому замечанию архимандрита Леонида (Кавелина), «составляет целую живописную летопись из истории многострадальной и вместе верной Православной Грузинской Церкви». На стене при входе изображены: Мириан (265—342 г.), первый христианский царь Грузии; воинственный Вах-

³³ Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника а. Л-а. М., 1873. С. 315—316.

танг Горгасал (446—499 г.), строитель многих грузинских монастырей в Святой Земле; Баграт IV Куропалат (XI века), восстановитель монастыря в половине XI века, после мусульманского разорения; все в длинных двойных одеждах, в коронах, а Мириан с *лором* (омофором). Над входом изображение строителя монастыря, игумена Прохора (XI век). Внутри храма: Карталинская царица Мариам (1680 года), известная своей красотой и благотворительностью, Шота Руставели, автор знаменитой поэмы «Барсова кожа» («Витязь в тигровой шкуре». — *Авт.*), придворный поэт и казначей прославленной царицы Тамары, который расписал и обновил соборную церковь в XII веке: поэт, одетый в богатое платье, изображен на коленях перед Иоанном Дамаскиным, величайшим из церковных поэтов. Предание гласит, что безнадежно влюбленный в прекрасную царицу, Шота Руставели искал забвения своей страсти в иноческих подвигах и скончался в Лавре Саввы Освященного.

Дадиан Лев и супруга его Нестан-Дареджана (XVII в.), написанные на стенах, были обновителями собора в 1643 году, исполнителем их воли был игумен метехский (замок в Тифлисе, ныне военная тюрьма) Никифор; он изображен здесь же рядом с преосвященным Феодосием Манглиским. Тринадцать сирских отцов, устроившие Грузинскую Церковь в VI веке и пользующиеся великим уважением в Грузии, изображены также тут: преп. Иоанн, Сисой, Давид Гареджийский и другие, равно как и некоторые из настоятелей монастыря, достойные особой памяти. Многие грузинские иноки в Палестине запечатлели кровью мученичества свое исповедание веры во Христа. Таков, например, настоятель обители, священномученик Лука из рода князей Абашидзе. Привлеченный по какому-то маловажному событию, случившемуся в монастыре, к турецкому суду, Лука отказался перейти в мусульманство и принять за это почести, богатство и звание эмира и после многих истязаний был обезглавлен. На стенах собора изображено сказание о крестном древе, на месте которого воздвигнут монастырь. Это сказание, очевидно, идет из глубины первых веков христианства и в течение столетий до того обросло различными подробностями, что первоначальная основа его едва ли может быть выделена из разнообразных редакций <...> В начале XII века игумен Даниил говорит, что церковь велика и «исписана есть добре вся». Реставрации живописи происходили в половине XII в. и в 1643—1646 гг. Конечно, от иконного украшения до XVII в. уцелело очень мало. Проф. Цагарели сомневается, чтобы под новой живописью можно было найти более древние изображения, тем не менее, можно различить две эпохи, как, например, и в Гелатском монастыре. Старейшие остатки отличаются теплым, желтоватым колоритом телесных частей, строгим и правильным рисунком, гармоничным, скромным подбором красок и плоской раскраской, без сильного рельефа; лучший фрагмент этой иконописи виден в упомянутых иконах Спасителя и Божией Матери; позднейшая живопись мутна, беловата, плохого рисунка и очень близка к живописи армянского собора на Сионе.

Иконное расписание в упадке и обветшало, как все, попадающее в руки святогробских греков. Проф. Цагарели подробно исследовал Крестный монастырь и снял кальки с изображений и надписей³⁴. Греки указывают на состояние орнаментации русским богомольцам и говорят, что если кто-нибудь из «могущих» не возобновит попорченную живопись, то они будут вынуждены ее закрасить. Так было тридцать лет тому назад; желающих дать им деньги на обновление живописи не оказалось: может быть, к лучшему; греческие иконописцы так бы поправили живопись, что ее и совсем нельзя было бы узнать, а вернее — совсем бы не поправили. В северном приделе многие изображения исчезли, оставив только контуры, начерченные гвоздем на сырой известке. Осыпается и живопись главной церкви. Там, где фигуры целы, видны греческие надписи, процарапанные по ико-

³⁴ Цагарели Ал. Памятники грузинской старины в Святой Земле и на Синае // Палестинский Сборник, т. IV. выпуск I. СПб., 1888.

не до штукатурки, насколько могла достать рука. Никто из провожатых не мог прочесть грузинских надписей, помещенных над изображениями <...>

Между прочим, в коридоре северного придела я нашел интересное, полуизглаженное изображение св. Христофора. В Крестном монастыре палестинский неподобный Христофор изображен с Христом-Младенцем, сидящим на левом плече³⁵.

Во второй половине XIX века греческие монахи, желая вытравить память о прежних владельцах, замазали изображение Руставели черной краской. И лишь в 1959 году, во время визита в Иерусалим делегации Академии наук Грузинской ССР, фреска была найдена и расчищена. Но тем не менее изображения грузинских царей и святых по-прежнему сохранялись, и в начале XX века отечественный палестиновед И. П. Ювачев смог видеть их под сводами монастырской церкви. «Мы вошли в просторный храм с тремя приделами. Внутри все стены покрыты живописью. В верхних частях изображены евангельские события, а на стенах — сказание о Крестном древе, — пишет этот автор. — Памятники грузинского происхождения монастыря сохранились во множестве до сих пор. На стенах изображены грузинские цари и святые, например, Мириан, Вахтанг Горгослан, Баграт IV Куропалат и др. Осмотрев внимательно стенную живопись и приложившись к отверстию в серебряном круге, где, по преданию, росло честное древо Животворящего Креста Господня, мы поспешили вернуться в Иерусалим»³⁶.

Богато украшенный иконостас закрывает алтарь; стены и квадратные столпы покрыты фресками, изображающими апостолов и вселенских святых. Возле иконостаса сохранился древний мозаичный пол с геометрическим и растительным орнаментом и несколькими рыбами — символом ранних христиан³⁷. Есть много очень древних икон, например, икона Воздвижения св. Креста (над входом), Иоанна Крестителя (изображен с крыльями); замечательна икона — рука Спасителя, держащая души людей. Много древней мозаики (XII в.)³⁸. Место, где произросло древо Креста, сохраняется позади главного алтаря, куда существует проход слева.

...Проходим притвором, расписанным сценами, иллюстрирующими историю Животворящего Древа, обогнув алтарь, подходим к серебряному диску с крупным отверстием в середине, точно за алтарной апсидой. На этом серебряном диске изображен Авраам, дающий Лоту три дерева. По преданию, это — то самое место, на котором росло честное древо, срубленное на Крест Господень. «Под престолом в полу сделано отверстие (рупа) обложенное серебром, к которому прикладываются богомольцы, а сквозь него показывают место, где росло древо, посеченное на крест Господень, — пишет о. Леонид. — Желаящие сходят со свечами в самую пещеру, находящуюся под алтарем, но там кроме камней, означающих то место, ничего не видно»³⁹.

Архитектурное оформление святыни напоминает такой же заалтарный придел Неопалимой Купины в Преображенском соборе Синайского монастыря. Сходство объясняется как единым архитектурным подходом (оба храма построены зодчими Юстиниана), так и богословско-литургическим содержанием: на Синае престол — над корнем Неопалимой Купины, здесь — над корнем Крестного Древа⁴⁰.

³⁵ Соловьев М. П. По Святой Земле (1891 г.). СПб., 1897. С. 240—244.

³⁶ Ювачев И. П. Паломничество в Палестину к Гробу Господню. СПб., 1904. С. 276, 279.

³⁷ Лисовой Николай. Указ. соч. С. 158—159.

³⁸ Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 77.

³⁹ Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника а. Л-а. М., 1873. С. 320.

⁴⁰ Лисовой Николай. Указ. соч. С. 159—160.

Монастырь Св. Креста в записках паломников

Арсений Суханов (1652 г.): «Патриарх поехал в монастырь иверский честного Креста Христова; на том месте, сказывают, посечено древо кипарис, из него же сделан крест, на нем же распят бысть Христос Бог наш, нашего ради спасения; и то место, идеже пень был того древа, и ныне в алтаре под престолом, обложено мраморы драгими, и над ними под престолом кандило с маслом горит. Церковь велика гораздо и прекрасна, подписана вся вновь, пол вымощен разными мелкими цветными мраморы узорчато, келий без числа много, ограда яко город высокой, все ново; во всем Иерусалиме другого такого нет монастыря, чтобы таков был цел и строен, а живут в нем иверы, сиречь грузины, а патриарх ими не владеет. Дорога в тот монастырь из Иерусалима в Давидовы врата, прямо на запад»⁴¹.

Иеромонах Арсений Каллуда (1670-е гг.): «К западом, яко две версты, в юдоли есть монастырь иверов, во имя честного Креста, с храмом краснейшим, огражден стеной крепкой; храм с шатром живописанным, и помост писанный камиками, одержится тремя камарами и шестью столпы. Во святом алтаре под святой трапезой (престолом) есть скважня кругла, и есть место, идеже насадися и возрастé жизнодательный сад всесвятое древо честного Креста, еже прежде царь Соломон вложи во един мост, да преходят человеци, горят над скважней кандила 10 пред иконой Креста»⁴².

Иеромонахи Макарий и Селиверст (1704 г.): «Пошли до монастыря Воздвижения Честного Креста, великая наша будет миля от Вифлеему, а от Иерусалима тот монастырь Воздвижения Честного Креста недалеко, как бы едина верста; а монастырь тот зделан на том месте, где те деревья стояли, из которых зделанной крест Христов под час страсти (страданий) его святей, а тот монастырь великий и стены каменные сильные и высокие, тако ж и церковь великая и хорошая, вся вымалеванная, а престол во той церкви на том месте, где те дерева стояли, из которых крест Христов сделан, то и поныне под престолом та ямка, где то древо стояло. И как пришли мы до того монастыря, приняли нас честно, и мы в том монастыре ночевали, на завтрашний день отслушали службу Божию, вынесли нам Животворящего Креста Господня древо, и паки мы возвратились во Иерусалим, благодаряще Бога»⁴³.

Священник Андрей Игнатъев (1707 г.): «Пришли в полудни в Крестный монастырь; той монастырь построен такожде, яко же и прочии, от святой Елены, и владаху им несколько лет грузинцы, ныне паки владеют греки, а построен на том месте, идеже израсте древо, на нем же распяся Христос, его же возрасти Лот, водрузив голову за свое прегрешение, ношаше воду от Иордана, то есть часов за 12; и в том монастыре Крестном есть церквей 4-ре: первая настоящая Воздвижения Честного Креста, пределов 3-ри: Архангела Михаила, Иоанна Предтечи, Успения Пресвятой Богородицы»⁴⁴.

⁴¹ Проскинитарий. Хождение старца Арсения Суханова во Иерусалим и в прочия святые места для описания святых мест и греческих церковных чинов // Православный Палестинский сборник. т. VII. вып. 3. СПб., 1889. С. 175—176.

⁴² Арсений Каллуда, иером. Проскинитарий святых мест святого града Иерусалима (1679 г.). СПб., 1883. С. 60.

⁴³ Путь нам иеромонахам Макарию и Селиверсту из монастыря Всемилоственного Спаса Новгородка Северского до святого града Иерусалима поклониться гробу Господню 1704 году // Чтения в Обществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. кн. 3, отд. V. С. 11—12.

⁴⁴ Путешествие из Константинополя в Иерусалим и Синайскую гору, находившегося при российском посланнике, графе Петре Андреевиче Толстом, священника Андрея Игнатъева и брата его,

Священник Иоанн Лукьянов (1711 г.): «Приидохом в монастырь к честному Кресту, где честное древо росло. В том монастыре церковь зело предивна; письмо стенное в той церкви; под святой трапезой пень того древа, с которого ссечено животворящее древо, из которого и сделан Крест Христов, на нем же распят бысть Господь наш Иисус Христос — мы же, грешные, тот пень ломахом. Да в той же церкви выносили часть от животворящего древа, на нем же распят Господь наш Иисус Христос; крест сделан; мы же, грешные, лобызахом той крест <...> И ходихом мы по церкви и смотрихом здания церковного; потом позвали нас на трапезу; и трапеза была пространныя и вина много было для того, чтобы охотно богомольцам деньги давать; и тут Дорофей поп да старец арап брали деньги по вышеписанному, как и в прежних местах и в книгу записывали. И тут, едши хлеба, ночевали и гуляли по тому монастырю; вверху ходили по кельям. Удивительный монастырь, а пуст весь; только два старца или три живут для ради службы и для богомольцев: водят по святым местам да деньги собирают. И утре рано на первом часу поднесли по финжалу раки; и поидохом во Иерусалим»⁴⁵.

Иеромонах Варлаам (1712 г.): «Ведут путников на поклонение в монастырь Честного Креста Господня. Сей монастырь вне града, аки бы на полунощь от Иерусалима, полчаса шествия. В том монастыре древо Животворящего Креста Господня возросло, и ныне есть место во алтаре под престолом, идеже все путницы, выслушавшие литургии божественной, прикладываются оному месту и любезно его со благоговением и со страхом лобызают. В том монастыре пещер есть много, идеже прежде отцы святые обиташа в них; монастырь под горой каменный древний, имущ кругом себе маслин множество»⁴⁶.

В. Г. Барский (1726 г.): «Приспешу дню шестому месяца ноеврия, ходихом посещати монастырь Честного Креста. Тогда изшедше из града на страну запада солнечного, враты Давидовыми, идохом садами маслинными и полем, равный путь и землю добру имущим, идеже еще и камения много суть, но больше мягкости и к растению древес и жить место. Тогда созирахом и гробовища турецкие, вне града стоящие, и пророка Илии монастырь, далече в горах отстоящ, и иные прочие места, яже поведана нам мерхадзей (проводник). Шествовахом же тогда час един равниной, поверху гор, таже спустихомся в дол и приидохом в монастырь Честного Креста. Монастырь оный есть первее создан от царя Иверского Татияна, таже прочие иверяне и патриархи иерусалимские ктиторововаху о нем. Есть же строением ветхий и величеством широты и долготы доволен; много же в себе келий и зданий содержит и стеной высокой окрест огражден, и вне окрест себе много древа маслинного имат. Стоит же в едином ровном роздолу, между горами, на месте оном, идеже израсте честное древо, на нем же распятся Христос Господь, грех ради наших. Тогда мы пришедше в обитель ону, яко 220 врат во всех зданиях обретаются, обаче здания едины верху других высоко строение; вхождение же в монастырь чрез три врата: чрез двое железные и едины деревянные.

Идохом первее в церковь и воздахом должное поклонение честным иконам, таже ведомы бехом внутрь алтаря и покланяхомся древу Честного Креста, идеже место оное ныне стоит под престолом мраморным, камением покровенно, в нем же

Стефана, в 1707 году // Чтения в Обществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. кн. 3, отд. V. С. 33.

⁴⁵ Путешествие в Святую Землю московского священника Иоанна Лукьянова, 1710—1711. М., 1862. С. 68.

⁴⁶ Перегринация или Путник, в нем же описуется путь до святого града Иерусалима и вся святая места Палестинския, от иеромонаха Варлаама, бывшего тамо в 1712 году // Чтения в Обществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. кн. 3, отд. V. С. 67.

просеченна дыра, в глубину на локоть, и окованна, якоже и на Голгофе, в знамение и память бывшего тамо древа. Тамо три кандила висят серебряные непрестанно светящие. Последи же слушахом божественной литургии, и по окончании ее изнесе священник служащий от алтаря крест святой, от животворящего древа соделанный, величеством больший от полпяди, шириной же и толстотой яко палец человеческий, серебром позлащенным окрест окован, на нем же колор перцовый зряшеса быти, якоже и в Иерусалиме, в великой церкви Воскресения Господня. Тогда ему с благоговением и страхом поклоняющеса вси хаджее (паломники), лобызаху, с ними же и аз грешный сподобихся недостойными моими прикоснуться устами. Последи созирахом здание и красоту церкви, яже аще отвне мало лепоти имат, но внутрь зело благозрачна, иконостас бо велик, не художелан имат, вся же списанна есть иконами различными благо сверху даже до земли; сама же от сеченного великого камене зданна, шесть столпов в себе имущая, такожде от камене сложенных, иже поддержат всю тяготу церкви; подножие же ее некогда бяше мраморное, ныне же каменцами простыми белыми, подобящимися мрамору, резанными на четыре угла, в меру едину, дробно, яко мушкатный орех, насажденно есть лепо и удивлению достойно. Тамо престол токмо един, идеже божественная совершается литургия, и врата такожде едины входа церковного, пред ними же и паперть, такожде от камене созданна. Во всем изрядная церковь, расположением, красотой, высотой, долготой и шириной, в ней же, егда поется правило, глас расходится мног и к слышанию внимателен. В долготу имат сажений 14, а в широту седмь и пол, и строением во всем подобится церквам, яже суть в горе Афонской, идеже кандилов всех в церкви повешенных суть 40, а несуспаемых 7.

Тамо видехом царей Иверских и патриархов иерусалимских изображенных, иже приложиша попечение и тщание о обители той, и многая такожде пописания и писмена, на стенах под иконами изображенная, иже подобятся мало славенским, но много от тех различна суть, их же никтоже от нас не можаше прочести. Видехом же паки на двух местах черные знаменья на подножии церковном, яже (якоже от летописцев повествуется) сотворишася от крови иноческой, идеже эфиопы, единою нападе на монастырь, заклаша инок числом внутрь церкви, аки агнцов незлобивых, и разграбиша вся, их же и иконы изображени суть на стене, над местом тем, и свещи тамо вжигаетса всегда во время правила церковного. Живяху же тамо иногда иноков множество, ныне же мало, якоже и в прочих монастырях иерусалимских, потребы ради церковной суть, да не попустится запустети место святое. Последи иные малые храмы посещахом, яже в монастыре обретаются их же суть числом четыре. Таже званны бехом игуменом обители той в гостиницу, иже учреди нас трапезой зело довольной и честной, лучшей нежели в патриаршем монастыре внутри града. Тогда при окончании трапезы, во время прошения милостыни на монастырь (якоже есть обычай), лучшего ради умягчения сердец поклонников, мерхаджей, си есть той, иже показывает места святыя, повествова нам о честном древе историю вкратце греческим простым языком, его же аз разумеях в то время.

<...> Таковая аз тогда слышавши, много чудихся прекрасной повести оной и благодарствовах Богу в сердце своем, яко сподоби мя самовидцем быти столь преславных и достослышанных вещей. Тогда, кто хотяша и можаше от хадзеев, ущедри милостыней обитель святую. Таже, воставше от трапезы и воздавше благодарение Богу, отъидохом оттуду и возвратихомся в Иерусалим на свои места»⁴⁷.

Инок Серапион (1749 г.): «Недалеко от святого града Иерусалима, яко на две версты на запад, есть еще монастырь изряден, красен и похвал достоин, зовется же

⁴⁷ Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885, т. 1. С. 333–338.

он греческим языком *ставрос*, а по-нашему крест <...> Бо на том месте, идеже сие возрасте древо, поставлен, и где самое тое росло древо, там теперь престол и трапеза, на ней же приносится жертва, выну (всегда) хваления пожершемуся нас ради на оном древе Христу. Там, где корень оного древа бысть, сущее древо, животворящий крест Господень, стоит под престолом, затворен за стеклом, и пред ним неугасимое всегда горит кандило, и когда туда хажеи, си есть, поклонники в монастырь приходят, тогда, по литургии божественной, служащий иерей вынимает его оттуду, и изнасит его на главе, предыдущим двум со свечами братиям, протчим: „Спаси, Господи, люди своя“, поюшим, и полагает его иерей со страхом на столпце, среди церкви поставленном и украшенном, и тогда идут по два, и поклоняются, и лобызают крест Господень. В том монастыре я многократно был и видел, где тое древо росло и где ныне есть, сподобихся же и лобызати и поклонятися пречестному сему и животворящему древу, кресту Господню. В том монастыре великая церковь зело украшенна, вся иконным изображением списанна, и монастырь сей прежде был грузинский; бо все в нем иконы, и подписи на иконах, и книги, многое множество, грузинские и до днесь имеются, а теперь сей монастырь держат греки. Тамо, среди церкви великой, много на земле крови и теперь есть; бо там, пред сим несколько лет, разбойники, или варвары, всю братию в церкви избили, и теперь тое довольно знать, идеже варвары пролияша кровь их, яко воду; теперь в нем мало братии, разве только на пять будет, а келий пустых в монастыре довольно имеется, церкви такожде четыре имеются»⁴⁸.

Кир Бронников (1821 г.): «Заходили в Крестный монастырь, который от Иерусалима отстоит менее часа пути. Оный монастырь находится на равнине, построен грузинскими царями, стенами высок и крепок, келий довольно; в нем соборная церковь просторная и красивая. Сказывают, будто бы то древо, на котором Христос был распят, срублено на сем месте, которое и показывают под престолом; состоит оно из обложенной серебром круглой скважины, к коей и прикладываются»⁴⁹.

А. Н. Муравьев (1830 г.): «Обитель Креста обнесена высокими столбами с обширными террасами, которые соединяют все части здания и тянутся кругом стен несколько ниже их зубцов для прикрытия ратных. Келий и трапез (престолов) довольно, но теперь все пусто; там обитают только два монаха, и монастырь оживляется изредка поклонниками, наипаче из армян и грузин. Приделов четыре: во имя Богоматери, апостолов, Предтечи и Георгия, исключая обширного и величественного собора, отдельно стоящего посреди двора. В алтаре, под престолом, показывают остаток корня от крестного древа, окованный серебром. Все иконы древней грузинской живописи, и на хорах есть грузинская библиотека, богатая рукописями. Но всего достойнее внимания помост соборный: он весь испещрен мелкой мозаикой из круглых белых и желтых камней, изображающих цветы и птиц в своенравных узорах; нигде на Востоке не встречал я подобной мозаики. Монастырь сей был бы одним из самых великолепных в Палестине, если бы владеющие им ныне греки могли его поддерживать»⁵⁰.

Виктор Каминский (1851 г.): «Я пошел с русскими поклонниками в Крестный монастырь, построенный грузинами неподалеку от Иерусалима, к западу, на том самом месте, где, по преданию, срублено древо для Креста Господня, — и после

⁴⁸ Путник или путешествие во Святую Землю Матронинского монастыря инока Серапиона 1749 года // Чтения в Обществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. кн. 3, отд. V. С. 112—114.

⁴⁹ Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Кириллом Бронниковым. М., 1824. С. 147.

⁵⁰ Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 213—214.

пути, продолжавшегося не более часа, мы вступили прямо в церковь, где отец Августарий, пришедший с нами, отслужил вечерню. Монастырская церковь обширна, дышит древностью. Этот оттенок наводит на нее живопись в самых огромных размерах, какой нигде не встречаешь в Палестине, а также мозаичный пол из мелких камешков.

После вечерни настоятель принял нас очень ласково, пригласил к ужину, который состоял из нескольких вкусных блюд. Сумерки и часть ночи провели мы в дружеской беседе, на просторных кровлях монастыря, под роскошным палестинским небом; потом отдыхали в самых приличных помещениях. Перед рассветом звонок позвал нас на церковное служение, которое было исполнено русскими посетителями. После обедни вынесли, для богомольцев, на середину церкви крест с частицей Животворящего Древа. Крест этот, обыкновенно, помещается в главном алтаре, под престолом, с восточной стороны, и против того места, на земле, где срублено было Древо, к которому принадлежит и его частица. Напоследок все мы пошли особенным ходом, с левой стороны церкви, под своды алтаря, в темный подвал, освещенный только лампадой, и там поклонились тому месту, где срублено Крестное Древо»⁵¹.

Игумен Антоний (Бочков) (начало 1850-х гг.): «Крестный монастырь отстоит на полчаса ходу от Иерусалима. Около него и возле него почва земли гористая с мелкими камнями на красноватой и желтой земле. Изредка между слоями пробивается невысокая трава. Эта кайма святого града простирается кругом во все направления верст на десять. Мы дошли до Крестного монастыря, и там насладились христианским, непышным, но обильным угощением от временного настоятеля Крестного монастыря, иеродиакона патриаршего дома. Он предложил нам вечернюю братскую трапезу, иерусалимское вино, прекрасные диваны для ночлега, а утром, за обедней, в маленькой церкви, пели наши странники. Церковь велика, расписана в греческом стиле и походит на древние наши соборы. Ее окружают многие дворники с апельсиновыми деревьями, террасы и кельи»⁵².

Иеромонах Иерофей (1858 г.): «С некоторыми из поклонников пошли в Крестный монастырь, отстоящий от Иерусалима на 5 верст к западу. Монастырь в долине, окружен высокой каменной стеной и обстроен хорошо и красиво. Церковь большая старинной постройки, с полом, выложенным мозаикой. На полу видны, как будто кровавые знаки; в объяснение этого рассказывают, что назад тому лет 40 или более, арабы однажды сделали нападение на монастырь. Видя над собой неминуемую смерть, монашествующие все собрались в церковь, где варвары избili всех их. Печальное событие это заставило поднять выше каменную стену, и вместо ворот сделать в стене маленькую железную дверь. При монастыре учреждена духовная семинария. Возле монастыря, за оградой, много деревьев масличных и несколько виноградных садов. Монастырь назван крестным, как говорят, потому, что он выстроен на том месте, где росло дерево, на котором распят был Спаситель мира. Престол храма стоит именно на том самом месте, где росло это дерево: есть и вход под престол, где были корни древа: теперь там только яма, и из этой ямы богомольцы берут песок на память»⁵³.

Схимонах Селевкий (конец 1850-х гг.): «Пошли мы в Крестный монастырь, (в 12-ти верстах от Иерусалима), где и приняли нас очень ласково; повели в собор и вынесли нам части мощей, а потом повели нас в алтарь и показали нам под

⁵¹ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 176–177.

⁵² Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь–декабрь 1874, кн. 4, ч. II. С. 64–65.

⁵³ Дневные заметки во время путешествия по святым местам Востока, Киево-Печерской Лавры иеромонаха Иерофея, в 1857 и 1858 годах. Киев, 1863. С. 96–97.

престолом яму, где росло древо Животворящее, на нем же распяся Христос, Царь и Господь. Собор очень велик, и пол в нем из маленьких камешков, четырехугольных как *муссия*; и я взял несколько камешков. Из собора нас повели на архондарик и угощали; и мы им пожертвовали довольно, а я записал родителей и себя и дал им талер. Потом дали нам пообедать чечевички и масличек, и по кружке винца; после обеда мы отдохнули. В полночь встали и пошли в церковь, и отстояли утреню и обедню; пели очень хорошо, по-гречески. Я вошел в алтарь, упал на колени подле престола и поцеловал то место, где росло древо нашего спасения. Какое благоухание исходит оттуда! я взял с этого места, земли — на благословение»⁵⁴.

Князь Михаил Волконский (1859 г.): «Крестный монастырь построен грузинскими царями на том месте, где, по преданию, росло древо, из которого сделан был крест Господа нашего Иисуса Христа; место это указывают под престолом главной церкви и прикладываться подходят от задней стороны престола; под самым престолом есть пещера, куда сходят со свечой и где показывают оставшиеся корни древа креста. Я видел трещины в скале, в которые могли проникнуть корни растущего наверху дерева, но теперь их не заметно»⁵⁵.

Иеромонах Павел (Вертоградов) (1862 г.): «Заходили в Крестный монастырь греческий, где, удостоверяют, делан был крест Господень, и показывают место, где будто бы и древо крестное росло; но розыск святителя Димитрия Ростовского (часть 2. гл. 24), говорит о древе иначе: три древа — кипарис, кедр и певка, слитно выросли на Адамовом место-погребении из данных 3-х зерен ангелом Сифу, ищущему врачевства в болезни отца своего. Сиф по возвращении нашел отца уже умершим, и по указанию ангела посадил сии три зерна над Адамом; место же погребения Адамова полагают в Хевроне, а о деревьях в розыске сказано, что они были срублены на постройку Соломонова храма, но почему-то оставлены, и лежали в Овчей купели, ради коих ангел возмущал в ней и воду»⁵⁶.

Русская странница (середина 1860-х гг.): «Мы ходили в Крестный монастырь, в то время, когда были, в находящейся там семинарии экзамены. Там присутствовала тогда вся патриархия: потому по окончании уже экзамена, мы попросили церковного служителя повести нас в церковь. Здесь показывают на полу кровь преподобных отцов, убиенных сарацинами, как бы оставшуюся в память того страшного события. Потом нам дали свечи и повели темными сводами к тому месту, где росло животворящее древо Креста Господня. Корень его до сих пор виднеется под алтарем храма <...> Это место освещено неугасимой лампадой. Здесь берут землю для исцеления верующим от различных болезней. Храм Крестного монастыря, весь расписан прекрасно древней живописью, а пол мраморный, выкрашен мусией. Монастырь этот основан грузинскими царями, первый царь Мариан, второй Баграт Куропалат Багратион. Храм прекрасно расположен: мы ходили здесь по террасам, которые округляют весь монастырь. Посещали также покои патриарха и покои учеников греческих»⁵⁷.

Д. Д. Смышляев (1865 г.): «Мы отправились с 5 поклонницами в Крестный монастырь, к которому полчаса ходу. Храм древнейший и весь он расписан, только во многих местах от давности времени живопись изгладилась. Весь пол вымощен с узорами, мелким камнем, мозаикой. В нем под престолом корень того древа, из кото-

⁵⁴ Рассказ святогорца, схимонаха Селевкия о странствовании по святым местам. СПб., 1860. С. 118–119.

⁵⁵ [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 125.

⁵⁶ Павел (Вертоградов), иером. Путешествие по святым местам на Святой Земле, во Святую Афонскую гору и в Палестину в 1862 году, ч. 1. М., 1866. С. 72.

⁵⁷ Путешествие в Иерусалим на поклонение святым местам (Путевые записки странницы). СПб., 1866. С. 178–180.

рого приготовлен был крест для распятия Спасителя; а из храма опускаются в подземную пещеру, где указывают самую глубину того корня. Замечательно, что как на иконостасе, так и на стенах храма, все благословящие десницы изображены с именословным благословением, а двуперстного нет ни одного, между тем этому монастырю 1500 лет. Это не средняя старина раскольников!»

В. Н. Хитрово (1880-е гг.): «Основателем монастыря считают грузинского царя Мириана, крещенного святой просветительницей Грузии равноапостольной Нинной. С тех пор почти до начала XIX столетия он составлял собственность грузин; монастырь неоднократно переделывался и не только переделывался, но и совсем вновь перестраивался. Ныне в нем помещается православная патриаршая духовная семинария. Но самым замечательным по древности сооружением монастыря является в настоящее время его соборный храм, построенный, как следует предполагать по сохранившимся еще на стенах рисункам, изображающим грузинских царей, не позже XI века. Мозаичный пол его — еще древнее, и на нем замечаются сохранившиеся на многих местах темные пятна: остатки крови не раз замученных здесь иноков»⁵⁸.

«Мы отправились в Крестный монастырь, построенный на том месте, где, говорят, росло древо, из которого сделан был крест, на котором распяли Иисуса Христа. Крестный монастырь принадлежит православным, и как все монастыри в Святой Земле, обнесен высокой стеной, в которой только одна низкая маленькая дверь, обитая железом. Церковь старинная, по стенам нарисованы грузинские цари, выстроившие этот монастырь⁵⁹. В церкви прикладывались мы к части Животворящего Креста, а за алтарем — к месту, где росло Живоносное Древо»⁶⁰.

«С громогласным пением партия проходит прямо в церковь, где ставит свечи, получаемые при входе; затем следует поклонение месту, где росло, по преданию, древо, послужившее для изготовления орудия крестного страдания Христа Спасителя, причем путеводитель рассказывает нескладную историю о преступлении Лота и его дочери. Несмотря на то, что место, где росло древо, находится в алтаре, по древнему обычаю прикладываться туда пускают все-таки даже женщин. Из алтаря богомольцев ведут в пещеру, где показывают пустоту, образовавшуюся на месте пня и корней прославленного древа, причем монахи одевают богомольцев песочком и камешками, взятыми из этой ямины. Свои пожертвования на обитель паломники кладут на выставленное блюдо, отделяваясь и тут медяками и паличками; за свечи, впрочем, платится особо, и эти последние остаются обыкновенно у поклонника на память об обители. Из церкви монахи ведут своих гостей, по обычаю, в гостинную, где им предлагается ракичка, смоква, вода, а в заключение всего запись для пожертвований»⁶¹.

Г. В. Белов (1887 г.): «С зажженными свечами паломники спускаются в самую пещеру, которая устроена под алтарем и в которой, по преданию, хранились корни честного древа Животворящего Креста Господня. На основании этого предания, греки и устроили монастырь Св. Честного Креста, в котором ныне помещается также и высшее греческое богословское училище. Монахи в этом монастыре дали нам оловянные иконы, на которых изображен патриарх Авраам, дающий Лоту три дерева»⁶².

⁵⁸ Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 160.

⁵⁹ На одном из столпов изображен великий грузинский поэт Шота Руставели, окончивший свои дни в Крестном монастыре.

⁶⁰ Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 131—132.

⁶¹ Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. Лавры свв. Саввы, Феодосия и Харитония. СПб., 1898. С. 146.

⁶² Белов Г. В. Иерусалим и Святая Земля. Варшава, 1889. С. 152.

Архимандрит Мефодий (1892 г.): «Отстоит сей монастырь от Иерусалима на четверть часа пути и расположен среди масличной рощи в красивой местности. Называется он монастырем Крестным потому, что построен на том месте, где, по преданию, произошло древо, употребленное впоследствии на Крест, на коем распят был Господь наш Иисус Христос. Соборный храм замечателен своей обширностью и древностью; стены его украшены живописными изображениями (фресками) святых Грузинской Церкви и грузинских царей. Пол выложен мозаикой из мелких камешков; на этой мозаике показывают кровавые полосы: это, по преданию, следы крови избитых здесь сарацинами грузинских иноков, пострадавших за Христа. Под престолом, в полу сделано обложенное серебром отверстие, к которому прикладываются: это, по преданию, то самое место, где произошло честное древо, срубленное на Крест Господень.

Приложившись с благоговением к сему месту, мы с зажженными свечами спустились в пещеру, находящуюся под алтарем. Монастырь сей весьма древен: он, по греческим преданиям, основан в первых веках христианства, и постоянными владельцами его были грузины. С утратой Грузией силы и значения, Крестный монастырь перешел во владение греков и, после продолжительного запустения, возобновлен заботами Иерусалимского патриарха; до последнего времени в нем помещалось высшее греческое училище»⁶³.

А. А. Дмитриевский (начало XX в.): «После монотонно-сучного жаркого лета, в осеннем паломническом сезоне день 14 сентября — память всемирного движения Креста Господня, обретенного св. царицей Еленой (13 сентября 335 г.), празднуется в Иерусалиме весьма торжественно и собирает под своды Святогробского храма и в подземелье пещеры во имя обретения Животворящего Креста Господня, созданной, по преданию, виновницей этого радостного для всего христианского мира торжества, все святогробское многочисленное духовенство и всех богомольцев, проживающих в это время в Иерусалиме⁶⁴. <...> Благочестивые русские поклонники не ограничивают, однако, своего паломнического подвига в этот день только пребыванием в храме Воскресения за богослужением и созерцанием торжественной литании и умиленного обряда воздвижения Креста Господня Патриархом в пещере его обретения и на Голгофе, но считают своим неперменным долгом побывать и в **Крестном монастыре**, основанном грузинским царем Мирианом в XIII в., отстоящем от Иерусалима на час пути, чтобы там в алтаре под престолом облобызать место, где, по преданию, росло дерево, из коего был сделан Животворящий Крест Господень. Паломничество в Крестный монастырь совершается в этот день толпами богомольцев с раннего утра до позднего вечера»⁶⁵.

Александр, епископ Рязанский и Егорьевский (старобрядческий) (1914 г.): «Мы взяли карету и трое (епископ Мелетий, я и о. Каллист) проехали в Крестный монастырь, за горой близ Иерусалима. Путь около стены Иерусалимской: дорога, ближе к монастырю каменистая, плохо расчищенная. В этом монастыре ранее была греческая семинария, по недостатку средств и по другим причинам закрыта и переведена в другое место. Основан монастырь грузинами в XI веке. Обнесен стеной каменной, как крепость. Игумен встретился нам, — ехал на ослике с узлом в руках в город, но ради нас возвратился; имя его Елевферий. У него горло болит, и он страшно кашляет, говорит с трудом. Осмотрели церковь. Порядочная. Хорошо сохранилась фрески, в особенности хороши на столбах иконостаса, между дверей, — Спаситель во весь рост, больше обыкновенного, с правильным двуперстным сложением, и Влади-

⁶³ Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 71–72.

⁶⁴ Дмитриевский А. А. Праздники Святой Земли. М.; СПб., 2013. С. 283.

⁶⁵ Там же. С. 286.

чица такого же размера, на другой стороне иконостаса. На столбах в церкви фрески с изображением святителей: Николы, Кирилла Александрийского и других с дуперстием. Есть и с именословным, но поправленные и вновь переписанные. На правой стене развешаны „праздники“, вершков 6–7, русского древнего письма. В иконостасе Спаситель — тоже. В нижней церкви показывают место (углубление), где, по преданию, произошло древо, из коего сделан был крест Спасителю»⁶⁶.

Александра Гаврилова (1945–1946 гг.): «Старинный монастырь. Вход очень старинный, маленький, низенький, чтобы всадник на коне не мог проникнуть внутрь. Стены и старинные, и новые. Свод церкви, как у очень старинных церквей, например, Иоанна Крестителя при Иордане — продолговатый округлый свод вверху, как в туннеле. Место, где росло Древо для Животворящего Креста Господня, совсем внутри, в притворе. Здесь скала, расселина, камень и это не мешает тому, что у входа в церковь на такой же почве (с насыпанной землей) растут два гигантских кипариса с настоящими «мачтовыми» стволами. Праведный Лот не только мог насыпать земли, но и привозил воду для поливки из Иордана!

Теперь в монастыре водопровод и за стеной оливковая роща и по ней водопровод в открытом цементном ложе. Во внутренней части церкви — другая церковка-часовенка более древняя. По стенам иконы — история трехсоставного Древа Креста: Авраам и Лот сажают три сухих отростка; Лот возит воду из Иордана; лукавый препятствует, выпивает воду; а Лот все-таки возит на осликах в кувшинах целых 30 лет! Выросло могучее трехсоставное древо; справа налево: масличное, кипарис и кедр; делают крест; распинают.

Живопись, надписи свидетельствуют о владении грузин этой обителью; потом она была приобретена греками. Обитель, хотя и выглядит крепостью, много раз разорялась и монахи избивались. У входа в церковь, под циновками темные пятна на мозаике пола — следы крови избитых здесь монахов. Сарацинами ли? Хозроем ли? **В церкви русские иконы: плащаница в раме на стене и образ Казанской Божией Матери, кажется, золотой.** Отец Григорий — игумен монастыря, дал мне корец земли из отверстия от корней Древа (ничего, если она насыпана теперь; я не спрашивала — я рада, что эта земля там полежала); флакончик масла из лампы; иконку святителя Спиридона (т. к. раньше о. Григорий был в Спиридоновском монастыре) и я взяла свечу, с которой обходила храм. Здесь была греческая Богословская школа, которая «закрыта на неопределенное время». Монахов нет, а помещения сдаются семьям поляков. У о. Григория много интереснейших окаменелостей из окрестностей монастыря»⁶⁷.

Архимандрит Пимен (Хмелевский) (1955 г.): «Мы поехали в Крестный монастырь (в 3 км от Миссии). Возглавлял обедню отец Василий. По сторонам стояли отец Михаил и я. Всю службу пели, конечно, по-гречески. После Евангелия говорили: „Яко да под державою...“. На Херувимской завешивают завесу. Отвешивают в момент входа. Некоторые ектении я говорил по-гречески. В храме, особенно в алтаре, очень много пыли. Предметы на престоле стоят кое-как, на престол кладут очки, служебники, записные книжки, Апостол и другие вещи. Стены храма ободранные, грязные. Бедность ужасающая. Храм этот не достроен. Видны остатки старинной живописи. На этом месте, по преданию, росло Древо Креста Господня. После обедни совершался вынос Креста, был крестный ход трижды внутри храма и воздвигался Крест, при пении: „Кирие, елейсон“. Затем был банкет, заключающийся в чаепитии одной чашечки крепкого кофе и вкушении одного печенья.

⁶⁶ Кир Александра, епископа Рязанского и Егорьевского (старообрядческого), Дневник путешествия в Палестину. М., 1916. С. 71.

⁶⁷ Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945–1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 123–113.

Ввиду того, что этот монастырь недалеко от границы, сюда люди пускаются очень редко. В этот день было около 75 молящихся. У входа в монастырь — несколько еврейских солдат с оружием»⁶⁸.

Тот же автор (1956 г.): «Ездили в Крестный монастырь смотреть Шота Руставели на колонне и грузинские надписи»⁶⁹.

Инокния Наталия (Горненский монастырь, 1983 г.): «Сам монастырь из древнейших, происходит от первых веков христианства. Похож на огромную (да так и есть) крепость с неприступными стенами, а внутри со множеством этажей, переходов, келий. Здесь раньше была семинария, а теперь (увы!) живет один монах. Это ревностный батюшка (отец Наркисс), он сделал сам большой ремонт в монастыре, и вот теперь, подобно воину едет в другой монастырь на послушание. Для него это была прощальная служба. Можно лишь догадываться, что он переживал. Служил архимандрит Тимофей, который учился у нас в Ленинградской семинарии и поэтому хорошо знает русский язык и очень любит русский народ. Служил он тоже много по-русски, глубоко, искренно. Все-таки что значит молитва — как она действует на всех людей, когда горячо молится священник. Литургию пели мы (сестры). Стояли у самого святого места. Рядом молились и греки и арабы, и румынские монахи. Какая это была запоминающаяся служба. Русское пение здесь любят. Как укрепляет взаимная молитва, какую силу и спокойствие разливает в душе, чтобы твердо стоять в православии и монашестве. Страстное сердце, равнодушное — и оно ощущает действие благодати. Вот что значит — и пить и есть не хочется и оставить место не хочется — такое утешение и небесная пища в душе. Родину любишь душевно, потомственно, вспоминая и деревья и цветы, и травку, а Святую землю можно полюбить только духовно»⁷⁰.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Дмитрий Урушев. Кощунство на Святой Земле // НГ-Религии, № 13 (143), 21.07.2004. С. 2.

В последние годы Грузинская православная церковь неоднократно обращалась к Иерусалимской церкви с просьбами вернуть иерусалимский монастырь, но греки игнорировали эти обращения. А когда осенью 2003 года настоятелем обители был назначен архимандрит Клавдий, в монастыре началось целенаправленное вытеснение всего грузинского. Но, похоже, архимандрит переусердствовал, и в обители произошел возмутительный акт вандализма: уникальное изображение Руставели было уничтожено. Неизвестный острым предметом тщательно стер изображение лица поэта и затер часть подписи на древнегрузинском языке. Обнаружила порчу во время посещения монастыря Мзия Гачечиладзе, супруга посла Грузии в Израиле Реваза Гачечиладзе.

4 июля 2004 года в Тбилиси состоялся чрезвычайный брифинг, посвященный небывалому акту вандализма. Министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти Израиля как можно скорее начать расследование инцидента. «По-

⁶⁸ Пимен (Хмелевский), архиеп. Дневники. Русская Духовная миссия в Иерусалиме 1955—1957 гг. Саратов, 2008. С. 133—134.

⁶⁹ Там же. С. 262. Известный грузинский поэт XII века Шота Руставели окончил свои дни в Иерусалиме, в Крестном монастыре, который принадлежал тогда Грузинской церкви. Еще в XVIII веке грузинский митрополит Тимофей видел в церкви Святого Креста, построенной грузинскими царями, могилу и фреску с изображением Руставели.

⁷⁰ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.) СПб., 1996. С. 59—60.

теря фрески нанесет серьезный ущерб мировому культурному наследию», — заявила г-жа Зурабишвили. Вечером того же дня по телеканалу «Рустави-2» выступил глава Грузинской церкви, Католикос-Патриарх Илия II, заявивший: «Мы выражаем сожаление и возмущение по поводу свершившегося акта вандализма и отмечаем, что это не первый случай. Ранее грузинские фрески из Крестового монастыря продавались на территории Европы. Часть из них мы скупили для того, чтобы хранить в Грузии до тех пор, пока не найдется возможность вернуть их в родные стены». Илия II выразил надежду, что Иерусалимский патриарх Ириней уделит должное внимание этому чрезвычайному происшествию и предпримет меры для обнаружения и наказания лиц, виновных в вандализме.

Свои глубокие сожаления в связи с повреждением фрески выразило правительство Израиля. Оно отдало распоряжение незамедлительно приступить к расследованию. На начальном этапе археологической полиции поручено установить, было ли повреждение случайным или преднамеренным. Но грузинская общественность уже обвинила в злонамеренном уничтожении фрески греческих монахов и архимандрита Клавдия. С 5 июля возмущенные деятели грузинской культуры и искусства провели несколько акций протеста перед зданием посольства Греции в Тбилиси. А 12 июля неподалеку от здания консульства Греции в Иерусалиме прошла акция протеста представителей общины грузинских евреев. По мнению Неки Себискверадзе, ведущей израильского телеканала, вещающего на грузинском языке, установить виновника будет нетрудно, поскольку случайных людей в Крестовом монастыре не бывает, ведь доступ в него открыт только для греков либо под их бдительным присмотром. Монахи не пускают в обитель не только журналистов, но и сотрудников МИД Грузии.

Между тем эксперты израильской археологической полиции пришли к предварительному выводу, что восстановление фрески возможно. С этим мнением, однако, не согласны грузинские эксперты, один из которых заявил: «Нам обещают, что будет принято решение о восстановлении фрески. Но практически восстановить эту фреску сегодня уже невозможно, и если кто-то хочет заново нарисовать Шота Руставели — это его право». Тбилисская газета «Ахали таоба» (Новое поколение) выступила с объяснением причин кощунственного уничтожения фрески Руставели. По мнению газеты, одной из возможных причин вандализма является намеченный на конец июля (2004 года) визит в Израиль президента Грузии Михаила Саакашвили. Во время визита планируется обсудить вопрос о передаче грузинских монастырей Святой Земли в юрисдикцию Грузинской церкви. «Не исключено, что столь примитивный способ уничтожения фактов, свидетельствующих о грузинском происхождении обители, преследовал цель воспрепятствовать этому процессу», — заключает газета.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НЕВА» ЗА 2017 ГОД

Проза

- Арро В. Три истории из подворотни. *Для одного спектакля*. III, 7. Будни Офелии. *Пьеса в двух действиях*. X, 126.
- Аширов В. Рубинштейн. Набоковщина. Трафарет. *Рассказы*. VII, 145.
- Гамаюнов И. Шопот дождя. *Повесть*. II, 94.
- Горюнова И. Сказки для Фонарщика, Стрелочника и других взрослых детей. XII, 62.
- Евсюков А. Черный Орел. *Рассказ*. I, 90.
- Епифановский М. Лодка до Берлина. *Повесть*. X, 10.
- Ершов А. В начале четверти. Люди и ангелы. Среди могил. *Рассказы*. I, 102.
- Заморин В. Дневник воображаемого президента. Взгляд идиота. *Рассказы*. III, 83.
- Заньковский А. Zuber Mensch. *Повесть*. X, 102.
- Здоровцова И. Графиня Задунайская. *Рассказ*. I, 119.
- Кантор В. Нежить, или Выживание на краю подземного мира. *Странная повесть, фантазия в духе Босха*. VIII, 7.
- Катков И. Над гнездом синицы. *Повесть*. VII, 7.
- Красин Б. Поручик Л. *Не написанная повесть*. V, 8.
- Кругосветов С. Третья встреча. *Повесть*. II, 120; Каждый может получить свой Рудис. Фуа-гра — сломанное крылышко. *Рассказы*. X, 62.
- Крюкова Е. Евразия. *Фрагмент романа*. IX, 7.
- Кудимова М. Бустрофедон. *Повесть*. II, 7.
- Ласкин А. Мой друг Трумпельдор. *Документальный роман*. IV, 10.
- Леснянский А. Нецелованные. *Роман*. XI, 7.
- Ломтев А. Очень средняя Азия. *Повесть*. V, 99.
- Мелихов А. Благая весть. *Роман*. VIII, 85.
- Немодрук И. Выстрел. *Рассказ*. III, 69.
- Немышев В. Юбилей. *Маленькая повесть*. III, 36.
- Никитин Д. Гоголевский парк. Изгнание. *Рассказы*. VII, 157.
- Пименова А. Отсчет обратно. *Рассказ*. I, 81.
- Ратников А. Йетство. *Роман*. I, 7.
- Ринейская М. В плену своих маний... *Рассказ*. VI, 181.
- Рыбаков В. Последний из. *Рассказ*. XI, 111.
- Рябов О. Смерть старика. Губы русалки. *Рассказы*. VIII, 132.
- Савеличев М. Республика Земшара. *Альтернативно-историческое повествование в отмеренных сроках*. XII, 10.
- Светланин Е. Убежать от тени. *Повесть*. V, 47.
- Скрудндзь Т. Первая женщина. Эдельвейс. *Рассказы*. V, 119.
- Тарасов Д. Мой знакомый убийца. *Рассказ*. III, 61.
- Тюжин А. Канны для ванны. *Романчик*. VII, 23.
- Хасавов А. Лучшая половина. *Роман*. VI, 9.
- Чайковская И. Симонетта Веспуччи. *Рассказ*. IV, 119.
- Шмитке Э. Когда я отвернулся (Анжела и Анджело). *Рассказ*. IX, 118.
- Шуляк С. Европа, черт побери! Мансарда. *Рассказы*. XII, 44.
- Шумейко И. Теодицея. *Роман*. VI, 84.

Поэзия

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Алейников В. VIII, 80. | Городницкий А. II, 3. |
| Андреева О. VIII, 3. | Грантс Я. II, 91. |
| Беневич Г. XII, 41. | Дмитриев А. X, 160. |
| Болтянская Н. Останутся
лишь многоточья... <i>Пре-
дисловие и подготовка
текста А. Ермаковой</i> . | Добровольский А. I, 86. |
| VIII, 125. | Дударев В. X, 3. |
| Габриэль А. XI, 107. | Жигулевский М. I, 3. |
| Газизова Л. IX, 127. | Зубарева В. Тень города, или Поэма
о нашем времени. IX, 114. |
| Година Н. III, 58. | Ионова Е. VII, 21. |
| | Иофф Е. I, 116. |
| | Каминский Е. IV, 3. |

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| Косоков В. I, 77. | Скорикова А. XII, 95. |
| Кравченко Н. V, 3. | Сташков Ж. VII, 141. |
| Кушнер А. IX, 3. | Степанов Е. VI, 3. |
| Морозов Г. XII, 91. | Харитонов М. IV, 115. |
| Немировский С. XII, 3. | Шацков А. V, 41. |
| Нечаев А. VI, 79. | Шевцов А. VII, 3. |
| Пеньков В. II, 117. | Шемшученко В. XI, 3. |
| Полянская Е. III, 3. | Шепелева Т. X, 121. |
| Попов Е. VIII, 139. | Ширали В. V, 95. |
| Синельников М. X, 58. | Эрастов Е. X, 97. |
| Скобло В. XII, 58. | |

Публицистика

- Амусин М. Русская революция: реальность и варианты. IV, 128.
- Бачинин В. Теология и социология зла (*Несентиментальное путешествие из Петербурга на Уралмаш*). VIII, 157.
- Беркович Е. Прощание с Европой. Альберт Эйнштейн в гостях у командора. II, 167. Альберт Эйнштейн на перепутье. Великий физик о Германии и России. IV, 151.
- Гачева А. Художник, спасающий мир. XII, 98.
- Гофман Е. Ускользя от самих себя. I, 142.
- Ефимов И. Войны за независимость. VIII, 142.
- Жданов А. Прости, брат. IX, 131.
- Ильченко С. Штурм Зимнего как зеркало советского кино. XI, 126.
- Ковалёв Г. Граната за пазухой (*в штрафной роте. 1943 год*). II, 153.
- Кураев М. Битва за историю. XI, 137.
- Лукин Е. Три богатыря — три брата, три врага. Опыт русского национального самосознания. VI, 188.
- Муратов П. Сказ про развитой социализм. Воспоминания о незабываемом периоде истории нашей страны. III, 103.
- Рыбин А. Ненужная независимость. I, 128; Это просто наша работа. VII, 164.
- Степанян К. Фрагменты из дневника (2016—2017). VI, 199; (2017). XI, 158.
- Фрумкин К. Русская революция на фоне глобальных тенденций. К 100-летию 1917 года. IV, 140.
- Яковенко И. Интеллектуальное мужество. V, 137.
- Клятва Ганнибала. XII, 122.

Критика и эссеистика

- Балод А. Литературные проторобинзонады. XII, 170.
- Бачинин В. Экзистенциальная контроверза Гольбейна—Достоевского (*Размышления о картине «Мертвый Христос»*). XI, 200.
- Белодубровский Е. Князь Добра, или Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Нефамильярные записки. IV, 175.
- Василькова И. Умные девочки. III, 161.
- Влащенко В. «Прощальные песни» Николая Рубцова и «повести прощания» Валентина Распутина. III, 139.
- Глазунова О. «Нобелевская лекция» Иосифа Бродского: монолог или скрытая полемика? XII, 139.
- Зубарева В. Встречи с Беллой Ахмадулиной. История одного автографа. IV, 165.
- Набоков Н. Главы из книги «Старые друзья и новая музыка». Перевод с английского и примечания М. А. Ямицкова. Предисловие и публикация Е. Б. Белодубровского. XII, 148.
- Синдаловский Н. Немецкие страницы русской истории в петербургском городском фольклоре. II, 182; Время в петербургском городском фольклоре. VIII, 165; Деньги в истории России и в городском фольклоре Санкт-Петербурга. IX, 155; Легенды и мифы петербургского театрального закулисья. X, 171.
- Щербинина Ю. Богиня деталей. Критика как мифология и мифотворчество. I, 153; «Ощущаем и неверующим в него». Заметки о богохульстве. VII, 186; Нагрянувший и грядущий (*Эволюция хамства*). XI, 186.

Переводы

Аллева А. Стихи Иосифу Бродскому. *Перевод
Сергея Стратановского*. X, 165.

Русский тезаурус — XXI

Елистратов В. Неопавшие листья русского языка. *Предисловие А. Мелихова*. I, 163; II, 203; III, 169; IV, 185; V, 193.

Из архива

Гладков А. Дневник. 1975 год (январь—июнь). *Публикация и комментарии М. Михеева*. V, 163; 1975 год (июль—декабрь). VI, 204; 1976 год (январь—апрель). X, 193.

Ласкин С. «Я еще опишу это всё, но первое чувство — чувство потрясения и счастья!». *Ва-*

сий Калужнин и его наследие в дневниках 1985—1991 годов. IX, 179.

Хренков Д. Советско-финская война. *Из записных книжек. Предисловие и подготовка текста Ю. Д. Михайловой*. VII, 202.

Круглый стол. Столетие Русской революции. Десять оттенков красного

Участники: Лев Аннинский, Владимир Елистратов, Вера Зубарева, Борис Колоницкий, Елена Крюкова, Михаил Кураев, Роман Сенчин,

Евгений Степанов, Константин Фрумкин, Игорь Яковенко. *Материалы Круглого стола подготовили А. Мелихов и Н. Гранцева*. XI, 164.

Особый ракурс

Арно С. Записки странствующего писателя. *Сиа-м—Таиланд*. VIII, 240.

Ахматов А. «По мордасам, но не сильно». III, 229.

Петербургский книговик

Аникина О. Сердце кухарки. VII, 215.

Аннинский Л. Бродский. VIII, 184.

Бачинин В. К биографии модерности. *Часть первая*. Ренессанс и Реформация. II, 217; *Часть вторая*. Данте и Лютер. III, 183; *Часть третья*. Данте — Лютер — Мандельштам. IV, 201.

Беркович Е. Необразованщина, или Невыносимая легкость невежества. IX, 225.

Большакова А. Он умер с Библией в руках. XII, 206.

Ботова А. От «красного цветка» до царя народа. I, 187.

Бухвал Л. Женская доля. I, 200.

Бушуева М. Игра видимого и невидимого. X, 221.

Влащенко В. Загадки и тайны в художественном мире Достоевского (*Трагическая судьба Мармеладовых*). XI, 224.

Горячевская К. «Все хорошие. Всех жалко». I, 189.

Гранцева Н. Шекспир и проблемы единоборств. IV, 213.

- Елифёрова М. Служба понимания. III, 223.
 Зиновьева Е. Судьба поколения. V, 220.
 Зуева Е. «...И слово это нам напели». I, 185.
 Измайлов А. «Чем проще стих, тем он труднее...». V, 208; «Прохожий жизни моей...». XII, 194.
 Кацман Р. Учиться ходить. V, 217.
 Кацов Г. Самый страшный «ночной кошмар» Иосифа Бродского. XII, 199.
 Книжный остров. Публикации Елены Зиновьевой. I, 210; II, 235; IV, 225; V, 222; VI, 237; VII, 225; VIII, 203; X, 228; XI, 246; XII, 214.
 Коврижкина А. Женщина, маски и стыд. I, 208.
 Козлов К. «Холода... Россия... Первый снег...». X, 223.
 Косоогов В. Неживая вода и живая музыка. I, 180.
 Кривошеева С. Неведома зверушка. I, 202.
 Мелихов А. Красота зримая и незримая. X, 216.
 Минаков С. «Железный день» Бабки Лидки. III, 215; «Мети, мети, моя метель!». VI, 233.
 Моисеева И. Кентавр петроградский. VIII, 200.
 Морозова А. Girl power: антигероиня в современной женской прозе. I, 197.
 Панин И. Родом из Серебряного века. XII, 212.
 Папуткова Е. Медовый Париж, или Аллергия на сладкое. I, 194.
 Сафронова Е. Жалеющая камень. III, 211.
 Сергеев А. Репрезентация архетипа Трикстера. VII, 219.
 Скобло В. Мука и другое. IX, 217.
 Соколова А. О(б)суждая женщин. I, 205.
 Усанова Н. Толкает маленький Сизиф по горлу каменное слово. I, 176.
 Филатова Е. Увидеть свой Париж. I, 192.
 Харченко В. Работник музея: скрытые смыслы профессии. II, 229; Всегда по-своему. V, 214; О документах октября—ноября 1917-го, и не только о них. XI, 217.
 Чайковская И. Бостонские чаепития поэтов. VIII, 192; Томас Манн и «неарийская физика». X, 225; Фальшивые ноты — вне нас и внутри. XII, 208.
 Чигрин Е. Запах войны. VIII, 190.
 Чисников В. По следам перлюстрированных писем... (Лев Толстой и «черные кабинеты»). III, 194; «...Я под присмотром тайной полиции» (Лев Толстой и спецслужбы). IX, 194.

Пилигрим

- Архимандрит Августин (Никитин). Святых Елеона (по запискам русских паломников). Часть 1. I, 220; Часть 2. II, 244; Часть 3. III, 238; Часть 4. IV, 233; Часть 5. V, 231; Часть 6. VI, 242; Часть 7. VII, 234; Часть 8. VIII, 211; Часть 9. IX, 236. Палестинские обители и Россия. Часть 1. X, 237; Часть 2. XII, 224.

Contents

Prose and Poetry

- Sasha Nemirovsky.** Poems • 3
Mikhail Savelichev. The Republic of Zemshara. *Alternative-Historical Narrative in Measured Terms* • 10
Grigory Benevich. Poems • 41
Stanislav Shulyak. Europe, Damn It! Mansard. *Stories* • 44
Valery Skoblo. Poems • 58
Irina Goryunova. Fairy Tales for Lamplighter, Switchman and Other Adult Children • 62
Gennady Morozov. Poems • 91
Anastasia Skorikova. Poems • 95

Publicistic Writings

- Anastasia Gacheva.** The Artist Saving the World • 98
Igor Yakovenko. Oath of Hannibal • 122

Criticism and Essays

- Olga Glazunova.** „Nobel Lecture“ by Iosif Brodsky: Monologue or Latent Controversy? • 139
Nikolay Nabokov. Chapters from the Book „Old Friends and New Music“ • 148
Alexander Balod. Literary Robinsonades • 170

Petersburg Bookman

- Portrait of a Poet.** *Albert Izmailov.* „A Passer-by of My Life...“. **Reviews.** *Gennady Katsov.* The Most Terrible „Nightmare“ of Iosif Brodsky. *Alla Bolshakova.* He Died with the Bible in His Hands. *Irina Chaykovskaya.* False Notes Outside of Us and Inside. *Igor Panin.* Origin from Silver Age. **Book Island.** *Elena Zinovyeva's publication* • 194

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Palestinian Monasteries and Russia. *Part 2* • 224
Contents of „Neva“ for 2017 • 251

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 30.11.2017. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 288
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28